

1984

ДЖОРДЖ ОРУЭЛЛ

1984

Джордж Оруэлл

Аннотация
Джордж Оруэлл. 1984
Часть первая
Часть вторая
Часть третья
Приложение. Принципы новояза

Аннотация

Что будет, если в правящих кругах распространятся идеи фашизма и диктатуры? Каким станет общественный уклад, если власть потребует неуклонного подчинения? К какой катастрофе приведет подобный режим?

В государстве Океания у граждан нет прав, а значит, власть партии абсолютна. Повседневная жизнь героев проходит в условиях страха и постоянных потрясений. Здесь перечеркнуты свобода слова, свобода печати, свобода выбора, свобода любви и даже свобода мысли. Нарушить порядок невозможно, ведь Старший Брат смотрит за каждым.

Ужасы преступлений государственной машины зафиксировал Джордж Оруэлл в своем главном творении – «1984». Этот роман-предупреждение об опасности тоталитаризма стал одной из самых известных антиутопий XX века, которая стоит в одном ряду с «Мы» Замятина, «О дивный новый мир» Хаксли и «451° по Фаренгейту» Брэдбери.

Джордж Оруэлл
1984

George Orwell
1984

Перевод с английского *Дмитрия Шепелева*

Иллюстрация в марке серии:
© lelevien / Shutterstock.com
Используется по лицензии от Shutterstock.com

© Д.А. Шепелев, перевод на русский язык, 2021

© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2021

Часть первая

I

Был апрельский день, ясный и холодный, и часы отбивали тринадцать. Уинстон Смит вжал подбородок в грудь, пытаясь укрыться от злого ветра, и проскользнул за стеклянные двери жилого комплекса «Победа», впустив за собой завиток зернистой пыли.

В вестибюле пахло вареной капустой и старыми половиками. На дальней стене висел цветной плакат, непомерно большой для помещения. Плакат изображал огромное лицо, шириной более метра: мужчина лет сорока пяти, с густыми черными усами, грубовато-привлекательный. Уинстон направился к лестнице. Про лифт нечего было и мечтать. Даже в лучшие времена он редко работал, а сейчас в дневное время электричество отключали. Действовал режим экономии в преддверии Недели Ненависти. До квартиры было семь лестничных пролетов, и Уинстон с варикозной язвой над правой лодыжкой в свои тридцать девять лет поднимался медленно, то и дело останавливаясь. На каждом этаже со стены

напротив лифта на него пялился тот же плакат. Его специально так разместили, что, где ни стой, глаза усача все равно будут смотреть на тебя. Надпись внизу гласила: «БОЛЬШОЙ БРАТ СМОТРИТ ЗА ТОБОЙ».

В квартире сочный голос зачитывал цифры, как-то связанные с производством чугуна. Звук раздавался справа от входа — из вделанной в стену продолговатой металлической пластины, похожей на помутневшее зеркало. Уинстон повернул на ней ручку, и голос стал тише, хотя слова остались различимы. Звук теле-экрана (так называлось устройство) можно было убавить, но не убрать совсем. Уинстон подошел к окну: невысокая, щуплая фигурка, еще более тщедушная в синем комбинезоне, отличавшем членов Партии. Волосы у него были совсем светлыми, на лице играл природный румянец, а кожа загрубела от хозяйственного мыла, тупых бритвенных лезвий и зимних холодов, только недавно отступивших.

Внешний мир даже сквозь закрытое окно отдавал холодом. Внизу, на улице, маленькие смерчи кружили пыль и бумажный мусор. И хотя светило солнце, а небо отливало резкой синевой, все казалось каким-то бесцветным, кроме повсюду развешанных плакатов. Усач взирал

с каждого приметного угла — и с фасада дома прямо напротив. «БОЛЬШОЙ БРАТ СМОТРИТ ЗА ТОБОЙ», — гласила надпись, а темные глаза смотрели в лицо Уинстону. Ниже, на уровне улицы, еще один плакат трепетал на ветру оторванным краем, открывая и закрывая единственное слово: «АНГСОЦ». В отдалении скользил между крышами вертолет: завис на миг, точно трупная муха, и взмыл прочь по кривой. Это полицейский патруль заглядывал людям в окна. Но патрули — ерунда. Не то что Мыслеполиция.

За спиной Уинстона голос с телеэкрана продолжал бубнить о чугуне и перевыполнении Девятой Трехлетки. Телеэкран одновременно передавал и принимал информацию. Он улавливал любой звук громче тихого шепота, который издавал Уинстон. Более того, пока тот находился в поле зрения металлической пластины, его могли не только слышать, но и видеть. Конечно, никогда нельзя было сказать с уверенностью, следят за тобой в данный момент или нет. Никто не знал, как часто или по какой системе Мыслеполиция подключается к его каналу. Разумнее было считать, что следят за всеми и всегда. Так или иначе, к твоему телеэкрану могли подключиться в любой момент. Приходилось так жить — и ты жил,

свыкаясь на уровне инстинкта с ощущением, что каждый звук в твоей квартире слышат, а движение — видят, особенно при свете.

Уинстон стоял спиной к телеэкрану. Так было на-дежнее, хотя он хорошо знал, что даже спина выдает человека. В километре от дома над обшарпанными зданиями высилась белая громада Министерства правды, место его работы. «Вот он, Лондон, — подумал Уинстон с какой-то смутной неприязнью, — главный город Первой летной полосы, третьей по населенности провинции Океании». Он постарался припомнить, обратившись мыслями к детству, всегда ли Лондон был таким. Всегда ли так же тянулись вдаль вереницы трущоб девятнадцатого века: стены подперты бревнами, окна залатаны картоном, крыши — рифленым железом, а дикие заборы палисадников кренятся во все стороны? И прогалины от бомбежек, где в воздухе кружится известка, а по грудам обломков расползается кипрей; и более обширные пустыри, где бомбы расчистили место для отвратительных скоплений дощатых хибарок, похожих на курятники? Но его старания были тщетны, он не мог вспомнить из детства ничего кроме ярких обрывистых сцен, возникавших без всякого контекста и по большей части

невразумительных.

Министерство правды — Миниправ на новоязе [1] — разительно отличалось от всего, что его окружало. Это исполинское пирамидальное сооружение, сиявшее белым бетоном, вздымалось терраса за террасой, на триста метров ввысь. Уинстону были видны из окна квартиры три лозунга Партии, выложенные на белом фасаде элегантным шрифтом:

ВОЙНА – ЭТО МИР
СВОБОДА – ЭТО РАБСТВО
НЕЗНАНИЕ – ЭТО СИЛА

Министерство правды насчитывало, по слухам, три тысячи комнат над поверхностью земли и столько же в «корневой системе». Над Лондоном возвышались еще три сооружения подобного вида и размера. Они так явно доминировали над окружающим ландшафтом, что с крыши жилкомплекса «Победа» было видно сразу все четыре. В них размещались министерства, составлявшие весь правительственный аппарат. Министерство правды занималось новостями, досугом, образо-

[1] Примечания: 1

Новояз был официальным языком Океании. Для сведений о его строении и этимологии см. Приложение. (*Прим. авт.*)

ванием и изящными искусствами. Министерство мира заведовало войной. Министерство любви поддерживало закон и порядок. А Министерство изобилия решало вопросы экономики. На новоязе они назывались Миниправ, Минимир, Минилюб и Минизоб.

Министерство любви внушало страх. Это было здание без окон. Уинстон обходил его за полкилометра и никогда не был внутри. Туда пускали только по официальному делу, а вход защищало хитросплетение заборов с колючей проволокой, стальных дверей и скрытых пулеметных гнезд. Даже улицы, граничившие с Министерством любви, патрулировала гориллоподобная охрана в черной форме, вооруженная складными резиновыми дубинками.

Уинстон решительно отвернулся от окна. Он придал лицу выражение тихого оптимизма, наиболее уместное перед телеэкраном, и прошел через комнату на крохотную кухню. Покинув министерство в обеденный перерыв, он пожертвовал походом в столовую, хотя знал, что дома нет еды, кроме ломтя бурого хлеба, который надо оставить на завтрак. Уинстон снял с полки бутылку бесцветной жидкости с простой белой этикеткой: «ДЖИН ПОБЕДА». Из горлышка пове-

яло тошнотворным маслянистым духом, как от китайской рисовой водки. Он налил почти полную чашку, внутренне собрался и выпил залпом, точно лекарство.

Тут же лицо его покраснело, а из глаз потекли слезы. Как будто он глотнул азотной кислоты, а по затылку ему вмазали резиновой дубинкой. В следующий миг, однако, жжение в животе улеглось, и мир показался Уинстону более радостным. Он вытянул сигарету из мятой пачки с надписью «СИГАРЕТЫ ПОБЕДА» и нечаянно повернул ее вертикально, отчего табак высыпался на пол. Со следующей удалось справиться лучше. Вернувшись в гостиную, Уинстон сел за столик слева от телеэкрана. Из выдвижного ящика он достал перьевую ручку, пузырек чернил и толстую тетрадь большого формата с красным корешком и обложкой под мрамор.

Телеэкран в его квартире располагался почему-то в нестандартном месте — не на торцевой стене, откуда было бы видно всю комнату, а на длинной, напротив окна. Сбоку от экрана находилась неглубокая ниша, задуманная, вероятно, для книжных полок — там и сидел Уинстон. Вжавшись в нишу, он становился недосягаем для телеэкрана, по крайней мере, визуально. Его,

разумеется, было слышно, но не видно, пока он не менял положения. Отчасти необычная география комнаты и побудила его когда-то к тому, чем он собирался заняться.

Но не в меньшей мере тому способствовала и сама тетрадь, которую он вытащил из ящика. Вид у нее был необычайно красивый. Такой гладкой кремовой бумаги, чуть пожелтевшей от времени, не выпускали уже лет сорок. Уинстон чувствовал тем не менее, что возраст этой тетради намного больше. Он приметил ее в витрине грязноватой лавки старьевщика где-то в районе трущоб (где именно, он уже не помнил) и немедленно загорелся всепоглощающим желанием заполучить ее. Членам Партии не полагалось заходить в обычные магазины (это называлось «отовариваться на свободном рынке»), но правило частенько нарушалось, поскольку некоторые вещи, такие как шнурки и бритвенные лезвия, невозможно было раздобыть иначе. Быстро скользнув взглядом по улице, Уинстон прошмыгнул внутрь лавки и купил тетрадь за два с половиной доллара. Тогда он еще и сам не знал, для чего она может понадобиться. Уинстон принес ее домой в портфеле, обуреваемый чувством вины. Тетрадь, даже чистая, компрометировала владельца.

А собирался он, собственно, вести дневник. Это не было запрещено законом (просто потому, что никаких законов больше не существовало), но если бы тетрадь обнаружили, то Уинстон мог поплатиться жизнью или получить как минимум двадцать пять лет лагерей. Он приладил к ручке перо и облизнул его для верности. Архаической перьевой ручкой мало кто пользовался даже для подписей, и он приобрел ее тайком и не без труда, просто по ощущению, что прекрасная кремовая бумага заслуживает настоящего пера, а не царапанья химическим карандашом. Вообще-то Уинстон не привык писать от руки. Не считая коротеньких записок, он обычно все надиктовывал в речепис, что в данном случае было, разумеется, невозможно. Он обмакнул перо в чернила и помедлил секунду. От волнения у него забурлило в животе. Оставить на бумаге след — это решительный шаг. Он вывел мелким неуклюжим почерком:

4 апреля 1984 года.

И выпрямился. Им овладело ощущение полной беспомощности. Для начала он даже не был уверен, что сейчас действительно 1984-й. Во всяком случае, что-то близкое к нему, поскольку Уинстон

почти не сомневался, что ему тридцать девять, а родился он в 1944-м или 45-м; но теперь на любую дату можно было положиться лишь с погрешностью в пару лет.

Он вдруг задумался, для кого вообще собирался писать дневник? Для будущего, для тех, кто еще не родился. Его разум покружил секунду над сомнительной датой на странице, а затем наткнулся на слово из новояза «двоемыслие». Впервые он осознал, на что замахнулся. Как можно обращаться к будущему? Это по самой своей природе невозможно. Либо будущее станет походить на настоящее, и тогда никто не станет его слушать, либо оно будет другим, и невзгоды Уинстона покажутся ему чуждыми.

Какое-то время он сидел, тупо уставившись на бумагу. Телеэкран заиграл бравурную военную музыку. Что за ерунда: казалось, Уинстон не только лишился способности к самовыражению, но и вообще забыл, что намеревался сказать изначально. Несколько недель он готовился к этому моменту, и ему ни разу не пришло на ум, что потребуется нечто большее, нежели храбрость. Вести дневник — дело нехитрое. Нужно только перенести на бумагу неумолкаемый беспокойный монолог, звучащий в голове уже не первый

год. Однако же сейчас иссяк и монолог. К тому же нестерпимо зазудела варикозная язва. Он не смел почесать ее, потому что от этого язва всегда воспалялась. Секунды проходили одна за другой. Он не осознавал ничего, кроме пустой страницы перед собой, чесотки над лодыжкой, гавканья военной музыки и легкого хмеля от джина.

Внезапно он принялся строчить, как в бреду, едва понимая, что именно пишет. Его мелкий, по-детски неровный почерк вихлял вверх-вниз по странице, потеряв сперва заглавные буквы, а затем и точки:

4 апреля 1984. Вчера смотрел кинокартины. Все про войну. Одна очень хорошая как бомбили корабль полный беженцев где-то в Средиземном. Публику весьма забавляли кадры с огромным толстяком уплывающим от вертолета, сперва ты видел как он плещется в воде точно рыбина, затем смотрел на него через прицелы вертолета, потом его изрешетили пули и море вокруг стало розовым и он погрузился так резко словно набрал воды через раны, публика кричит и хохочет когда он тонет. потом ты заметил лодку полную детей и кружащий над ней вертолет. на носу лодки сидела женщина средних лет возможно еврейка с трехлетним мальчиком на руках. ребенок кри-

чал от страха и прятал голову между ее грудей словно пытался зарыться внутрь а женщина обнимала его и успокаивала хотя сама посинела от страха, все время прикрывала его как могла словно думала защитить руками от пуль. затем вертолет сбросил на них 20 кг бомбу огромная вспышка и лодка разлетелась в щепки. потом был отличный кадр с детской рукой взлетающей выше выше выше прямо в воздух должно быть вертолет снимал ее фронтальной камерой и с партийных мест много аплодировали но женщина снизу из рядов пролов вдруг подняла хай и стала шуметь и кричать что не надо такое показывать не перед детьми им этого нельзя не перед детьми это пока полиция не забрала ее вывела ее не думаю что с ней что-то сделали никому нет дела что говорят пролы типично пролская реакция они никогда…

Уинстон перестал писать отчасти от спазма в руке. Он не знал, зачем выплеснул такой поток белиберды. Но интересный факт: пока он писал, у него в уме проявилось совершенно другое воспоминание, и так ясно оформилось, что хоть бери и записывай. Он теперь понял, что как раз это происшествие и побудило его так неожиданно пойти домой и начать дневник именно сегодня.

Оно произошло утром в министерстве, если слово «произошло» вообще применимо к чему-то столь туманному.

Было почти одиннадцать ноль-ноль, и в Отделе документации, где работал Уинстон, вытаскивали стулья из кабинок и расставляли посередине холла напротив большого экрана, готовясь к Двухминутке Ненависти. Уинстон как раз занимал свое место в одном из средних рядов, когда неожиданно появились два человека — их лица были ему знакомы, но и только. Девушка постоянно встречалась ему в коридорах. Уинстон не знал ее имени, но был в курсе, что она работает в Художественном отделе. Ему случалось видеть ее с гаечным ключом и замасленными руками, так что предположительно девушка числилась механиком по обслуживанию одной из романных машин. На вид лет двадцати семи, волосы густые, лицо в веснушках, держалась она заносчиво, а двигалась проворно и по-спортивному. Талию комбинезона перехватывал несколько раз узкий алый кушак, подчеркивая крутые бедра — знак молодежной лиги Антисекс. Уинстон эту девушку сразу невзлюбил. И он понимал почему. От нее так и веяло духом хоккейных полей, купаний в ледяной воде, турпоходов и общей незамутнен-

ностью сознания. Он в принципе недолюбливал женщин, особенно молодых и хорошеньких. Именно женщины — и прежде всего юные — стали самыми ревностными приверженцами Партии, они жили лозунгами и всегда готовы были шпионить и вынюхивать отступников. Но эта девушка вызывала ощущение особенной опасности. Один раз, разминувшись в коридоре, она искоса взглянула на него, как ножом полоснула, и его вдруг пробрал липкий ужас. Ему даже подумалось, что она может служить агентом Мыслеполиции. Хотя, следовало признать, это было маловероятно. И все же всякий раз при встрече он испытывал безотчетное волнение с примесью страха и враждебности.

Вторым из вошедших был О'Брайен, член Внутренней Партии, занимавший настолько высокую и удаленную должность, что Уинстон имел о ней самое смутное представление. Как только люди, расставлявшие стулья, заметили черный комбинезон члена Внутренней Партии, все сразу притихли. О'Брайен был мощным, дородным мужчиной с толстой шеей и грубым насмешливым лицом. Несмотря на грозную внешность, ему было присуще своеобразное обаяние. Он имел привычку поправлять на носу очки, и этот

неожиданно обезоруживающий жест придавал ему, странно сказать, нечто неуловимо интеллигентное. Такая характерная манера могла вызвать ассоциацию (если кто-то еще помнил подобные образы) с дворянином восемнадцатого века, предлагающим свою табакерку. Уинстон видел О'Брайена, пожалуй, с десяток раз за столько же лет. Он испытывал к нему симпатию, и не только из-за волнующего контраста между учтивыми манерами и телосложением боксера. В большей степени это объяснялось тайным убеждением — даже не убеждением, а лишь надеждой — что политическая правоверность О'Брайена не была безупречной. Что-то в его лице наводило на подобные мысли. Хотя возможно, что оно выражало не недостаток верности Партии, а просто интеллект. Так или иначе О'Брайен производил впечатление человека, с которым есть о чем поговорить, если бы каким-то образом удалось остаться с ним наедине и перехитрить телеэкран. Уинстон ни разу не пытался проверить свою догадку, да у него и не было такой возможности. Сейчас же О'Брайен взглянул на наручные часы, увидел, что уже почти одиннадцать, и по всей видимости решил остаться в Отделе документации до окончания Двухминутки Ненависти. Он сел в

том же ряду, что и Уинстон, через пару сидений от него. Между ними расположилась маленькая рыжеватая женщина, которая трудилась в соседней с Уинстоном кабинке. Темноволосая девушка села прямо за ним.

Большой телеэкран на торцевой стене издал жуткий скрежещущий рев, словно чудовищная машина вдруг начала работать без смазки. От этого звука ломило зубы и волосы вставали на загривке. Ненависть началась.

На экране, как обычно, возникло лицо Эммануила Голдштейна, Врага Народа. В зрительских рядах зашикали. Рыжеватая женщина взвизгнула от страха и отвращения. Голдштейн был изменником и отступником, который когда-то давным-давно (насколько именно давно, никто толком не помнил) числился в предводителях Партии, чуть ли не наравне с самим Большим Братом, а потом ударился в контрреволюцию, был приговорен к смерти и таинственным образом сбежал, исчез. Программа Двухминутки Ненависти каждый день менялась, но на первый план всегда выходил Голдштейн. Он значился предателем номер один, первым осквернителем партийной чистоты. Все дальнейшие преступления против Партии, любые измены,

вредительства, предательства, уклонения — все это было прямым следствием его учения. Он все еще был жив, скрываясь неведомо где и продолжая плести заговоры: возможно, где-то за морем, под защитой своих иностранных хозяев, а может быть — ходили и такие слухи — он затаился на территории самой Океании.

Уинстону сдавило грудь. Всякий раз при виде Голдштейна его обуревали сложные и мучительные чувства. Это было сухое еврейское лицо в венчике пушистых белых волос и с козлиной бородкой — лицо умное и вместе с тем какое-то плюгавое, тронутое старческим маразмом, с очками на кончике длинного тонкого носа. В нем виделось что-то овечье, и сам голос изменника походил на блеянье. Голдштейн, как обычно, подвергал партийные доктрины ядовитым нападкам — столь вздорным и нелепым, что и ребенок мог их раскусить, однако достаточно убедительным для опасений, что кто-то менее здравомыслящий может на них повестись. Он поносил Большого Брата, обличал диктатуру Партии, требовал немедленно заключить мир с Евразией, призывал к свободе слова, свободе печати, свободе собраний, свободе мысли, он истерически вопил, что Революцию предали — и все это стремитель-

ной скороговоркой со сложными составными словами, будто пародируя манеру партийных ораторов, включая даже слова новояза, да в таких количествах, что никакому партийцу было за ним не угнаться. В это время, отметая любые сомнения в реальной подоплеке слов Голдштейна, на заднем фоне бесконечно маршировали колонны евразийской армии: шеренга за шеренгой кряжистых мужчин с бесстрастными азиатскими лицами. Они приближались к поверхности экрана и исчезали, уступая место своим точным копиям. Блеющий голос Голдштейна накладывался на ритмичный топот солдатских сапог.

Не прошло и полминуты Ненависти, а половина зрителей уже не могла сдерживать яростных возгласов. Невыносимо было видеть это самодовольное овечье лицо и ужасающую мощь евразийской армии за ним, хотя и без того одна только мысль о самом Голдштейне вызывала непроизвольный страх и гнев. Он был куда более привычным объектом ненависти, чем Евразия или Остазия, поскольку, когда Океания воевала с одной из них, то обыкновенно заключала мир с другой. Как ни странно, хотя Голдштейна ненавидели и презирали все подряд и каждый день по тысяче раз за сутки — на трибунах, на

телеэкранах, в газетах и книгах — его теории опровергали, громили, высмеивали, разбирали по кусочкам, доказывая их полнейшую несостоятельность, несмотря на все это, его влияние, казалось, не ослабевало. Всегда находились новые простофили, только и ждавшие идеологического совращения. Не проходило и дня, чтобы Мыслеполиция не разоблачала шпионов и вредителей, действующих по его указке. Он командовал огромной теневой армией, подпольной сетью заговорщиков, поставивших себе целью свергнуть Режим. Обычно на них ссылались как на Братство. А еще передавали шепотом истории о жуткой книге, собрании всех ересей, которую написал и тайно распространял Голдштейн. Книга не имела названия. В редких разговорах о ней упоминали просто как о *книге*. Но о таких вещах можно было узнать только по неясным слухам. Никто из рядовых партийцев старался не упоминать ни Братство, ни *книгу*.

На второй минуте ненависть перешла в истерию. Люди вскакивали с мест и кричали во все горло, стараясь заглушить одуряющий блеющий голос с экрана. Рыжеватая соседка Уинстона раскраснелась и ра-зевала рот, словно рыба на суше. Даже тяжелое лицо О'Брайена побагро-

вело. Он сидел очень прямо, его мощная грудь вздымалась и содрогалась, словно принимая на себя прибойную волну. Темноволосая девушка за спиной Уинстона начала кричать: «Сволочь! Сволочь! Сволочь!» — внезапно схватила тяжелый словарь новояза и запустила в телеэкран. Словарь врезался Голдштейну в нос и отскочил; голос с экрана звучал все так же неумолимо. Уинстон вдруг осознал, что тоже вопит вместе со всеми и яростно лягает ножку стула. Двухминутка Ненависти была ужасна не тем, что ты обязан играть свою роль, напротив, ты просто не мог не поддаться общему настрою. Через полминуты уже не нужно было притворяться. Словно электрический разряд, толпу охватывали страх и гнев, исступленное желание убивать, истязать, крушить лица молотом, и люди против воли делались буйнопомешанными. Однако эта ярость оставалась отвлеченной, неперсонализированной эмоцией, которую можно было переводить с одного объекта на другой, как пламя паяльной лампы. Так ненависть Уинстона в какой-то миг оказывалась обращенной вовсе не на Голдштейна, а наоборот, на Большого Брата, на Партию и Мыслеполицию; в такие моменты сердце его тянулось к одинокому очерненному отступни-

ку на экране, признавая в нем единственного поборника правды и здравомыслия в мире лжи. Однако в следующий миг Уинстон был един с людьми вокруг себя, и все, что говорили о Голдштейне, казалось ему правдой. Тогда его тайная неприязнь к Большому Брату сменялась обожанием, и Большой Брат вздымался надо всеми, как скала, превращаясь в неуязвимого, бесстрашного защитника от азиатских орд, а Голдштейн, несмотря на всю свою изоляцию, беспомощность и даже сомнение в самом его существовании, казался каким-то зловещим чародеем, который мог одной лишь силой голоса сокрушить целую цивилизацию.

Иногда можно было даже обратить свою ненависть волевым усилием на конкретный объект. Внезапно, диким усилием, каким отрываешь голову от подушки во время кошмара, Уинстон сумел перевести ярость с Голдштейна на темноволосую девушку позади себя. У него перед глазами замелькали отчетливые прекрасные галлюцинации. Он забьет ее до смерти резиновой дубинкой. Привяжет голой к столбу и истыкает стрелами, как святого Себастьяна. Овладеет ею и в момент оргазма перережет глотку. С небывалой ясностью он осознал причины своей ненависти. Потому

что она была молода и красива и отрицала секс, потому что он хотел переспать с ней и никогда не сможет этого сделать, ведь ее прелестную гибкую талию, так и просившуюся в объятья, обнимал только жуткий алый кушак, агрессивный символ непорочности.

Ненависть достигла апогея. Голос Голдштейна перешел в настоящее овечье блеянье, и на миг его лицо обернулось бараньей мордой, которая плавно перетекла в фигуру евразийского солдата — огромный и ужасный, он наступал на зрителей, грохоча автоматной очередью. Казалось, он сейчас соскочит с экрана, так что некоторые в первом ряду отпрянули подальше. Но тут же раздался всеобщий вздох облегчения, когда враждебная фигура уступила место лицу Большого Брата — черноволосому, черноусому, исполненному могущества и загадочного спокойствия — да такому огромному, что оно едва умещалось на экране. Никто не мог расслышать, что говорил Большой Брат. Скорее всего, лишь несколько ободряющих слов, из тех что произносят в пылу сражения — сами по себе невнятные, они вселяли уверенность уже тем, что были произнесены. Затем лицо Большого Брата вновь поблекло, и на его месте жирным шрифтом возникли три

лозунга Партии:

ВОЙНА – ЭТО МИР
СВОБОДА – ЭТО РАБСТВО
НЕЗНАНИЕ – ЭТО СИЛА

Лицо Большого Брата еще держалось на экране несколько секунд, словно бы его воздействие на человеческий глаз было слишком сильно, чтобы изгладиться сразу. Рыжеватая женщина навалилась на спинку переднего стула, лепеча дрожащим голосом что-то вроде: «Спаситель мой!» — и простерла руки к экрану. После чего спрятала лицо в ладони, вероятно, забормотав молитву.

И тут все собравшиеся принялись ритмично и неторопливо скандировать низкими голосами: «Бэ — Бэ!.. Бэ — Бэ!..» — снова и снова, очень медленно, с долгими интервалами между первым «Бэ» и вторым. В этом тяжелом, монотонном гуле слышалось что-то до странности дикарское, так что невольно представлялся топот босых ног и рокот туземных барабанов. Шум длился с полминуты. Люди нередко прибегали к этому рефрену от избытка чувств. Отчасти они восхваляли мудрость и величие Большого Брата, но в большей степени намеренно вводили себя в транс, одур-

манивая разум ритмичным повтором. Уинстон почувствовал, как внутри у него холодеет. Двухминутки Ненависти заставляли его поддаваться общему помешательству, но это дикарское скандирование «Бэ — Бэ!.. Бэ — Бэ!» всегда наполняло его ужасом. Разумеется, он повторял вместе со всеми — по-другому никак. Так велел инстинкт: скрывать свои чувства, управлять мимикой, делать все как все. Но на этот раз была пара секунд, когда он мог бы выдать себя выражением глаз. И вот тогда случилось нечто примечательное — если оно и вправду случилось.

В какой-то момент Уинстон поймал взгляд О'Брайена. Тот уже встал. Он снял очки и собирался снова водрузить их на нос своим характерным жестом. Но за долю секунды до этого их глаза встретились, и Уинстон понял — да, понял! — что О'Брайен думал так же, как и он сам. Ошибки быть не могло. Словно их сознания раскрылись и мысли передавались из глаз в глаза.

«Я с вами, — словно бы сказал ему О'Брайен. — Я понимаю ваши чувства. Я знаю все о вашем презрении, ненависти, отвращении. Но не волнуйтесь, я на вашей стороне»!

И тут же этот проблеск разума погас, а лицо О'Брайена стало таким же непроницаемым, как

и у остальных.

Вот и все, Уинстон сразу начал сомневаться, произошло ли что-то вообще. Такие инциденты никогда ни к чему не вели. Они только поддерживали в нем убеждение или надежду, что были и другие враги Партии, не только он один. Возможно, что слухи о хитросплетенных подпольных заговорах имели реальную основу — не исключено, что Братство и вправду существовало! Нельзя было сказать с уверенностью, несмотря на бесконечные аресты, признания и казни, что Братство — не просто миф. Иногда Уинстон верил в него, иногда — нет. Свидетельств не было, только беглые взгляды, которые могли значить что угодно или вовсе ничего, обрывки чужих разговоров, неразборчивые надписи на стенах туалетов — а еще как-то раз он видел, как встретились два незнакомца, и один из них необычно шевельнул рукой, словно подав некий знак. Одни лишь догадки: вполне возможно, все это ему просто привиделось. Он вернулся в свою кабинку, не смея взглянуть на О’Брайена. Уинстон едва ли допускал возможность завязать с ним знакомство. Если бы он даже знал, как это устроить, опасность была слишком велика. Два человека обменялись двусмысленным взглядом, длившимся секунду,

может, две — и дело с концом. Но даже это стало заметным событием для человека, вынужденного жить в одиночестве.

Уинстон встрепенулся и сел ровнее. Джин в желудке бунтовал и вызывал отрыжку.

Он снова всмотрелся в страницу. Оказалось, что пока он беспомощно витал в воспоминаниях, рука продолжала выводить строчки как бы сама по себе. Только почерк уже был не прежний корявый и неуклюжий. Перо размашисто скользило по гладкой бумаге, выводя крупными печатными буквами:

ДОЛОЙ БОЛЬШОГО БРАТА
ДОЛОЙ БОЛЬШОГО БРАТА
ДОЛОЙ БОЛЬШОГО БРАТА
ДОЛОЙ БОЛЬШОГО БРАТА
ДОЛОЙ БОЛЬШОГО БРАТА

Раз за разом одно и то же — и вот уже исписано полстраницы.

Уинстона захлестнула паника. Абсурдное ощущение, ведь дневник сам по себе был не менее опасен, чем эти конкретные слова. На миг им овладело желание вырвать исписанные страницы и забросить всю свою затею.

Однако он этого не сделал, поскольку понимал

тщетность такого поступка. Не было разницы, написал он или нет «ДОЛОЙ БОЛЬШОГО БРАТА». Не было разницы и в том, станет ли он дальше вести дневник или нет. Мыслеполиция все равно его поймает. Он и так уже совершил — даже если бы никогда не касался пером бумаги — абсолютное преступление, содержавшее в себе все остальные. Мыслефелония — так это называлось. Мыслефелонию невозможно скрывать вечно. Можно изворачиваться до поры до времени, даже годами, но рано или поздно за тобой придут.

Приходили всегда по ночам — в другое время людей не арестовывали. Тебя резко будили, трясли за плечо, светили фонарем в глаза, кровать обступали суровые лица. Почти никогда никого не судили, об арестах не сообщали. Люди просто исчезали — всегда среди ночи. Твое имя удаляли из реестров, любые записи о твоих действиях уничтожали, само твое существование отрицалось и вскоре забывалось. Тебя аннулировали, стирали с лица земли — одним словом, испаряли, как об этом говорили.

Им вдруг овладело что-то вроде истерики. Уинстон принялся спешно писать неряшливым почерком:

меня застрелят мне плевать меня застрелят

сзади в шею мне плевать долой большого брата они всегда стреляют сзади в шею мне плевать долой большого брата…

Он откинулся на спинку стула, чуть стыдясь себя, и отложил ручку. В следующий миг он нервно вздрогнул. Стучали в дверь.

Уже! Уинстон сидел тихо, как мышка, в тщетной надежде, что кто бы там ни был, он сейчас уйдет. Но нет, стук повторился. Медлить в такой ситуации было хуже всего. Сердце Уинстона бухало, как барабан, но лицо в силу долгой привычки оставалось почти невозмутимым. Он встал и тяжело направился к двери.

II

Взявшись за дверную ручку, Уинстон обратил внимание на раскрытые страницы дневника на столе. «ДОЛОЙ БОЛЬШОГО БРАТА» повторялось на них столько раз и такими крупными буквами, что можно было разглядеть надписи через всю комнату. Немыслимая глупость! Несмотря на панику, он понял, что не хочет пачкать кремовую бумагу, захлопывая тетрадь, прежде чем просохнут чернила.

Уинстон вздохнул и открыл дверь. Облегчение

теплой волной прокатилось по всему телу. За дверью стояла потрепанного вида женщина, невзрачная, с жидкими всклокоченными волосами и морщинистым лицом.

— Ох, товарищ, — затянула она тоскливым голосом, — я услыхала, вы вроде дома. Вы бы не зашли к нам посмотреть раковину на кухне? Она засорилась и…

Это была миссис Парсонс, жена соседа по этажу. (Партия почему-то не одобряла слово «миссис» — полагалось ко всем обращаться «товарищ», — но некоторых женщин называть иначе язык не поворачивался.) Женщина лет тридцати, но на вид гораздо старше. Казалось, в ее морщинах на лице залегла пыль. Уинстон пошел за ней по коридору. Слесарная самодеятельность стала едва ли не ежедневной морокой. Старый жилкомплекс «Победа» возвели годах в тридцатых — и весь он уже разваливался. С потолка и стен постоянно сыпалась штукатурка, трубы лопались при каждом крепком морозе, крыша текла всякий раз, как выпадал снег, а отопление обычно работало на половинном давлении, если его не отключали совсем из соображений экономии. Если ты не мог починить чего-то сам, то приходилось ждать распоряжений неуловимых комитетов, которые

даже с ремонтом оконной рамы могли тянуть по два года.

— Я ведь только потому, что Том не дома, — пробормотала миссис Парсонс.

Квартира Парсонсов была больше, чем у Уинстона, и убожество ее выражалось иначе. Все вещи имели потрепанный, побитый вид, как будто здесь только что побывал крупный злобный зверь. По всему полу валялись спортивные принадлежности — хоккейные клюшки, боксерские перчатки, лопнувший футбольный мяч, вывернутые наизнанку потные шорты — а на столе громоздилась грязная посуда и замызганные школьные тетради. На стенах алели знамена Молодежной лиги и лиги Разведчиков и висел полноразмерный плакат Большого Брата. Пахло здесь, как и во всем доме, вареной капустой, но привычный запах оттеняла острая вонь едкого пота, которую оставил после себя кто-то отсутствующий в данный момент. Такие подробности по неизвестной причине становились понятны с первого вдоха. В соседней комнате кто-то трещал клочком туалетной бумаги по зубьям расчески, неумело подыгрывая военной музыке, продолжавшей звучать с телеэкрана.

— Это дети, — сказала миссис Парсонс, бросив

тревожный взгляд на дверь. — Они сегодня не гуляли. И, конечно…

У нее была привычка обрывать предложения на середине. Раковина на кухне почти до краев заполнилась грязной зеленоватой водой, смердевшей хуже капусты. Уинстон опустился на колени и осмотрел угловую муфту на сливной трубе. Он терпеть не мог работать руками, терпеть не мог нагибаться — и всегда от этого кашлял. Миссис Парсонс стояла рядом с беспомощным видом.

— Был бы дома Том, он бы вмиг прочистил, — сказала она. — Он любит такими делами заниматься. Мастер на все руки.

Парсонс, как и Уинстон, работал в Министерстве правды. Это был полный, но неугомонный малый, тупой до невозможности сгусток кретинского энтузиазма — один из тех беспрекословных преданных трудяг, на которых Партия опиралась надежнее, чем на Мыслеполицию. Только в тридцать пять он с неохотой оставил ряды Молодежной лиги, а до этого умудрился пробыть в Разведчиках на год дольше положенного. В министерстве он занимал какую-то незначительную должность, для которой не требовалось особого ума, зато стал ведущей фигурой в Спортивном

комитете и в целом ряде других структур для организации турпоходов, стихийных демонстраций, кампаний по экономии и прочих добровольных начинаний. Попыхивая трубкой, он не без гордости сообщал товарищам, что вот уже четыре года, как он не пропустил ни одного вечера в Центре досуга. Его всегда сопровождал одуряющий запах пота, являясь невольным знаком усердной жизнедеятельности и еще долго витая в помещении даже после ухода Парсонса.

— У вас есть гаечный ключ? — спросил Уинстон, тронув гайку на муфте.

— Гаечный, — сказала миссис Парсонс, обмякая на глазах. — Я даже не знаю. Может, дети…

Раздался топот, очередная трель расчески — и в комнату вкатились дети. Миссис Парсонс принесла гаечный ключ. Уинстон спустил воду и с отвращением извлек из трубы клок волос. Он, как мог, отмыл пальцы под холодной водой и вернулся в другую комнату.

— Руки вверх! — рявкнул свирепый голос.

Из-за стола вынырнул симпатичный крепыш лет девяти, наставляя на него игрушечный автоматический пистолет, а его сестренка, младше года на два, направила на Уинстона деревяшку. Оба были одеты в форму Разведчиков: синие

шорты, серые рубашки, красные галстуки. Уинстон с беспокойством поднял руки над головой — мальчик держался так злобно, что это не было похоже на игру.

— Ты предатель! — завопил он. — Мыслефелон! Ты евразийский шпион! Я тебя застрелю, испарю, я тебя отправлю в соляные шахты!

И они оба принялись скакать вокруг Уинстона, вереща «Предатель!» и «Мыслефелон!» — девочка повторяла каждое движение за братом. Это немного пугало, как возня тигрят, которые скоро вырастут в людоедов. В глазах мальчика виднелась какая-то свирепая расчетливость, почти неодолимое желание ударить Уинстона и понимание того, что очень скоро это будет ему по силам. Уинстон подумал, как ему повезло, что у мальчика не настоящий пистолет.

Взгляд миссис Парсонс нервозно перебегал между гостем и детьми. В гостиной было светлее, и он с интересом отметил, что в морщинах на ее лице действительно засела пыль.

— Они что-то расшумелись, — сказала она. — Не понравилось, что их не возьмут на повешение, вот почему. Мне с ними некогда, а Том к тому времени еще не вернется с работы.

— Почему нам нельзя посмотреть, как веша-

ют? — возмущенно завопил мальчик.

— Хочу смотреть, как вешают! Хочу смотреть, как вешают! — заголосила девочка, продолжая скакать.

Уинстон вспомнил, что сегодня вечером в парке будут публично вешать евразийских военных преступников. Такое зрелищное мероприятие устраивали примерно раз в месяц. Дети вечно просились со взрослыми. Он вышел от миссис Парсонс и направился к себе, но не прошел по коридору и шести шагов, как что-то больно ужалило его сзади в шею. Словно воткнули обрывок раскаленной проволоки. Уинстон резко обернулся и увидел, как миссис Парсонс затаскивает в дверь сына, прячущего в карман рогатку.

— Голдштейн! — заорал мальчик, исчезая за дверью.

Больше всего Уинстона изумило выражение беспомощного страха на сером лице матери.

Вернувшись к себе, он быстро прошел мимо телеэкрана и снова сел за стол, потирая шею. Музыка уже не играла. Теперь отрывистый военный голос, кровожадно смакуя подробности, зачитывал описание вооружений новой Плавучей крепости, только что вставшей на якорь между Исландией и Фарерскими островами.

Уинстон подумал, что с такими детьми эта несчастная женщина живет в постоянном страхе. Еще год-другой, и они начнут следить за ней днем и ночью, норовя уличить хоть в чем-нибудь. Теперь почти все дети ужасны. Хуже всего, что с помощью таких организаций, как Разведчики, их методично превращают в необузданных маленьких дикарей, но у них не возникает желания бунтовать против партийной дисциплины. Напротив, они обожают Партию и все, что с ней связано. Песни, парады, знамена, походы, муштра с учебными винтовками, громкие лозунги, восхваление Большого Брата — все это им представляется захватывающей игрой. Их натравливают на чужаков, на врагов Режима, на иностранцев, предателей, вредителей, мыслефелонов. Для людей старше тридцати стало в порядке вещей бояться собственных детей. И не без причины, ведь почти каждую неделю «Таймс» публикует заметки, как очередной мелкий ябедник — «маленький герой», как их обычно называют, — грел дома уши и донес на родителей в Мыслеполицию, услышав подозрительные высказывания.

Боль в шее уже утихла. Уинстон взял ручку со смешанными чувствами, не зная, стоит ли занести в дневник что-то еще. Ему на ум вдруг снова

пришел О’Брайен.

Несколько лет назад (сколько же именно — лет семь, пожалуй?) Уинстону приснилось, что он идет по комнате в кромешной тьме. И кто-то, сидевший чуть в стороне, говорит ему: «Мы встретимся там, где нет темноты». Это было сказано совсем тихо, почти между делом — замечание, а не приказ. Уинстон пошел дальше, не остановившись. Как ни странно, во сне он не придал значения этим словам. Только со временем, постепенно они стали обретать смысл. Он не мог теперь припомнить, увидел ли этот сон до или после знакомства с О’Брайеном, как не мог припомнить и когда он впервые решил, что слышал во сне именно его голос. Так или иначе голос он этот опознал. В темноте к нему обращался О’Брайен.

Уинстон никак не мог уяснить — даже после утреннего обмена взглядами, — друг или враг ему О’Брайен. Хотя это как будто было не так уж и важно. Между ними промелькнуло понимание, значившее больше, чем взаимное расположение или заговорщицкий дух.

«Мы встретимся там, где нет темноты» — так он сказал.

Уинстон не понимал, что это значит, — знал

только, что слова из сна так или иначе сбудутся.

Голос с телеэкрана прервался. В душном воздухе комнаты раздался звук фанфар, чистый и прекрасный. Голос проговорил со скрежетом: «Внимание! Прошу внимания! Только что поступила сводка-молния с Малабарского фронта. Наши войска в Южной Индии одержали блестящую победу. Я уполномочен заявить, что настоящее событие вполне может приблизить завершение войны в обозримом будущем. Передаю сводку новостей…»

Уинстон подумал, что надо ждать плохих известий. И действительно: за кровавым описанием разгрома евразийской армии с колоссальными цифрами убитых и взятых в плен последовало объявление, что со следующей недели норма шоколадного рациона сокращается с тридцати граммов до двадцати.

Уинстон снова рыгнул. Джин почти выветрился, оставляя после себя чувство подавленности. Теле-экран разразился песней «Во славу твою, Океания» — то ли в честь победы, то ли чтобы отвлечь людей от сокращения шоколадного пайка. Полагалось встать по стойке «смирно», но Уинстон находился вне зоны видимости телеэкрана.

«Во славу твою, Океания» сменилась легкой му-

зыкой. Уинстон подошел к окну, держась спиной к телеэкрану. День был все такой же холодный и ясный. Где-то вдалеке с глухим раскатистым грохотом взорвалась ракета. На Лондон их сбрасывали от двадцати до тридцати в неделю.

На улице ветер продолжал трепать оторванный угол плаката, то открывая, то скрывая слово «АНГСОЦ». Ангсоц. Священные устои Ангсоца.

Новояз, двоемыслие, пластичность прошлого. Уинстон почувствовал себя так, будто бредет по морскому дну через лес водорослей, затерявшись в монструозном мире, где и сам он — монстр. Он был один. Прошлое — мертво, будущее — невообразимо. Как он мог быть уверен, что на его стороне хоть одно человеческое существо из ныне живущих? И разве можно знать, что владычество Партии не будет вечным? Вместо ответа он прочитал три лозунга на белом фасаде Министерства правды:

ВОЙНА – ЭТО МИР
СВОБОДА – ЭТО РАБСТВО
НЕЗНАНИЕ – ЭТО СИЛА

Уинстон достал из кармана монетку в двадцать пять центов. На ней значились те же три лозунга, набранные аккуратным мелким шрифтом, а на

оборотной стороне — лицо Большого Брата. Даже с монеты за тобой наблюдали эти глаза. Они были везде: на монетах, марках, книжных обложках, на знаменах и плакатах, на сигаретных пачках. Ты всегда чувствовал на себе взгляд и слышал вкрадчивый голос. Во сне и наяву, на работе и за едой, дома и на улице, в ванной и в постели — никуда от этого не деться. Не оставалось ничего своего, кроме нескольких кубических сантиметров внутри черепной коробки.

Солнце ушло, и мириады окон Министерства правды перестали отражать его свет, потемнев, как бойницы крепости. Сердце Уинстона сжалось при виде исполинской пирамиды. Она слишком прочна, ее не взять штурмом. И тысяча ракет не сможет сровнять ее с землей. Он снова задумался, ради кого пишет дневник. Ради будущего, ради прошлого — ради века, может, лишь воображаемого. Перед ним же маячила не смерть, но бесследное уничтожение. Дневник превратится в пепел, а сам он просто испарится. Его слова прочтет только Мыслеполиция, прежде чем стереть их с лица земли и из истории. Как можно обращаться к будущему, когда от тебя не останется никакого следа в этом мире, даже анонимных слов, нацарапанных на клочке бумаги?

Телеэкран пробил четырнадцать часов. До выхода десять минут. Он должен вернуться на работу к четырнадцати тридцати.

Бой часов, как ни странно, вернул ему присутствие духа. Уинстон был одиноким призраком, изрекавшим правду, которую никто никогда не услышит. Но пока он ее изрекает, связь времен таинственным образом продолжается. Ты несешь в себе человеческое начало не тогда, когда тебя слушают, а когда ты сохраняешь ясное сознание. Он вернулся к столу, обмакнул перо в чернила и написал:

Будущему или прошлому, времени, когда мысль свободна, когда люди отличаются друг от друга и не живут в одиночку — времени, когда существует правда, и что сделано, то сделано:

Из века одинаковых, из века одиночек, из века Большого Брата, из века двоемыслия — приветствую тебя!

Он подумал, что уже мертв. Ему показалось, что только сейчас, когда он обрел способность формулировать мысли, он пересек черту. Последствия любого действия заключены в самом этом действии. Он написал:

Мыслефелония не влечет за собой смерть:

мыслефелония ЕСТЬ смерть.

Теперь, когда он признал в себе мертвеца, стало важным оставаться в живых как можно дольше. Два пальца правой руки запачкались чернилами. Как раз такая деталь и может выдать. Какой-нибудь востроносый ревнитель в министерстве (скорее всего, женщина: хотя бы та маленькая, рыжеватая или темноволосая из Художественного отдела) мог задуматься, почему Уинстон писал в обеденный перерыв, почему писал старомодной ручкой, что он писал — и обмолвиться об этом в нужном месте. Уинстон пошел в ванную и тщательно отмыл чернила зернистым бурым мылом, которое терло кожу, как наждачная бумага, и потому хорошо подходило для такой задачи.

Дневник он убрал в ящик. Пытаться как-то спрятать его было бессмысленно, но он мог хотя бы принять меры, чтобы заметить, если тетрадь обнаружат. Волос на краю страницы был бы слишком очевиден. Он подобрал кончиком пальца едва заметную белесую пылинку и поместил на угол обложки, где она будет покоиться, пока дневник кто-нибудь не возьмет в руки.

III

Уинстону снилась мать.

Она исчезла, насколько он знал, когда ему было лет десять-одиннадцать. Мать была высокой, величавой женщиной с роскошными светлыми волосами, довольно молчаливой, медленной в движениях. Отца он припоминал менее отчетливо — темноволосый худощавый человек, всегда в опрятной темной одежде (Уинстону особенно запомнились очень тонкие подошвы его туфель) и в очках. Должно быть, их обоих проглотила система во время одной из первых больших чисток пятидесятых.

Во сне мать сидела где-то в глубине гораздо ниже него, держа на руках его младшую сестренку. Сестренку он почти не помнил — она была крохотным хилым младенцем, тихим и с большими внимательными глазами. Обе они смотрели снизу на Уинстона. Они находились в какой-то подземной норе — вроде дна колодца или очень глубокой могилы, — и эта нора, и без того глубокая, продолжала расти вниз. Они словно сидели в салоне тонущего корабля и смотрели на него сквозь темнеющую воду. В салоне еще оставался воздух, и они еще могли видеть его, а он — их,

но они продолжали погружаться все глубже и глубже в зеленую воду — и в следующий миг вода скрыла их навсегда. Он стоял на свету и на воздухе, а их затягивала смерть, и они были там, внизу, *потому что он был здесь, наверху*. Он это знал, и они это знали, и это знание он видел на их лицах. Но ни на лицах, ни в сердцах у них не было упрека — только осознание того, что они должны были умереть, чтобы он мог дальше жить, потому что таков неизбежный порядок вещей.

Он не мог вспомнить, что же с ними случилось, но понял во сне, что каким-то образом жизни его матери и сестры принесли в жертву ради него. Это был один из тех снов, когда за внешней причудливостью продолжается обычный мыслительный процесс и возникает понимание событий и идей, сохраняющее новизну и значимость после пробуждения. Уинстона вдруг осенило, что смерть его матери почти тридцать лет назад была трагической и горестной в значении, теперь уже немыслимом. Ему открылось, что трагедия — это достояние былых времен, когда существовала частная жизнь, любовь и дружба, а родные люди стояли друг за друга без лишних вопросов. Воспоминание о матери разрывало ему сердце потому, что она умерла с любовью к нему,

а он был еще слишком юн и эгоистичен, чтобы ответить тем же, а еще она каким-то образом — каким именно, он не помнил — принесла себя в жертву личной и несокрушимой идее верности. Он осознал, что сегодня такое уже невозможно. Сегодня есть страх, ненависть и боль, но нет ни уважения к чувствам, ни глубокого и сложного горя. Все это он словно бы увидел в больших глазах матери и сестры, смотревших на него сквозь зеленую воду снизу, с глубины в сотни саженей, и продолжавших погружаться.

Неожиданно он очутился на короткой упругой траве летним вечером, когда косые лучи солнца золотят землю. Простиравшаяся перед ним местность так часто ему снилась, что он не мог быть уверенным, видел он ее когда-то наяву или нет. Мысленно он называл ее Золотой страной. Это был старый, выщипанный кроликами луг, с протоптанной тропинкой и кочками кротовых нор. По дальнему краю луга неровной стеной тянулись вязы, легкий ветер едва шевелил их кроны, и густая листва колыхалась, словно женские волосы. А где-то неподалеку, вне зоны видимости, лениво журчал чистый ручей, и плотва плескалась в заводях под ивами.

Через луг шла девушка с темными волосами.

Одним движением она сорвала с себя всю одежду и небрежно отбросила в сторону. Тело у нее было белым и атласным, но не пробудило в нем желания — он едва взглянул на него. Что захватило его в тот миг, так это сам жест, которым она отбросила одежду. Такая изящная беспечность словно перечеркнула целую цивилизацию и мировоззрение, как будто и Большого Брата, и Партию, и Мыслеполицию ниспровергли одним великолепным взмахом руки. Этот жест также был достоянием былого. Уинстон проснулся со словом «Шекспир» на губах.

Телеэкран издавал раздирающий уши свист, державшийся тридцать секунд на одной ноте. На часах 07.15 — время подъема для конторских служащих. Уинстон выдернул себя из постели — нагишом, поскольку член внешней партии получал всего три тысячи купонов на одежду в год, а пижамный костюм стоил шестьсот — и схватил со стула поношенную майку и шорты. До физзарядки оставалось три минуты. И тут его согнул жестокий приступ кашля, как почти всегда после пробуждения. Кашель норовил вывернуть легкие наизнанку, так что Уинстон повалился на спину и начал отчаянно ловить ртом воздух, пытаясь восстановить дыхание. Жилы у него вздулись от

натуги, а варикозная язва зачесалась.

— Группа от тридцати до сорока! — пролаял пронзительный женский голос. — Группа от тридцати до сорока! Примите, пожалуйста, исходное положение. От тридцати до сорока!

Уинстон встал по стойке «смирно» перед телеэкраном, на котором уже возникла моложавая женщина: худощавая, но мускулистая, в тунике и спортивных туфлях.

— Сгибание рук и потягивание! — отчеканила она. — Считайте за мной. *И раз*, два, три, четыре! *И раз*, два, три, четыре! Ну-ка, товарищи, поживее! *И раз*, два, три, четыре! *И раз*, два, три, четыре!..

Жестокий приступ кашля едва не вытеснил из сознания Уинстона ощущения от сновидения, но ритмичные движения зарядки помогли их восстановить. Механически выбрасывая руки взад-вперед и удерживая на лице выражение сурового удовлетворения, какое полагалось на физзарядке, он старался прорваться к смутным воспоминаниям раннего детства. Неимоверно трудная задача. Время до конца пятидесятых терялось в тумане. Когда не можешь обратиться к внешним ориентирам, размываются даже события собственной жизни. Ты вспоминаешь крупные происшествия, которых, вполне воз-

можно, и вовсе не было, вспоминаешь мелкую подробность какого-то отдельного случая, но не можешь восстановить общую атмосферу, а еще есть долгие периоды пустоты, о которых ты не помнишь ничего вовсе. Все тогда было другим. Даже названия стран и их очертания на карте. Первая летная полоса, к примеру, называлась тогда по-другому — Англия или Британия, а вот Лондон (Уинстон в этом почти не сомневался) всегда был Лондоном.

Уинстон не мог с уверенностью припомнить время, когда бы его страна не воевала. Кажется, на его детские годы пришелся длительный мирный период, поскольку одно из ранних воспоминаний было связано с авианалетом, очевидно, заставшим всех врасплох. Возможно, как раз тогда на Колчестер сбросили атомную бомбу. Сам налет стерся из памяти, но он помнил, как отец крепко держал его за руку, пока они спешно спускались все ниже и ниже в какое-то подземное убежище, кружа по винтовой лестнице, звеневшей под ногами. В итоге он так вымотался, что начал хныкать, и им пришлось остановиться отдохнуть. Мать тоже спускалась, но заметно отстала, двигаясь в своей медлительной манере, словно во сне. Она несла его сестренку, а может, то был

просто сверток покрывал — он не помнил точно, родилась ли уже сестренка. Наконец, они вошли в шумное, многолюдное помещение, и он понял, что это станция метро.

Люди сидели по всей площади каменного пола и теснились на металлических нарах. Уинстон с родителями устроились на полу, а рядом на нарах сидели старик со старухой. Седой как лунь старик был одет в приличный темный костюм и черную матерчатую кепку, сдвинутую на затылок; лицо у него отливало густо-красным, а в голубых глазах стояли слезы. От него несло джином. Казалось, джин сочится из всех его пор, точно пот, и слезы его — тоже чистый джин. Несмотря на легкий хмель, старик терзался от горя, глубокого и нестерпимого. Уинстон понял своим детским умом, что случилось что-то ужасное, что-то такое, чего нельзя ни простить, ни исправить. Ему даже показалось, что он знает, в чем дело. У старика убили кого-то, кого он любил, — может, маленькую внучку. Старик ежеминутно повторял:

— Не надо нам было им доверять. Говорил же я, мать, говорил? Вот что бывает, когда доверяешь им. Я это всегда говорил. Не надо было доверять этим скотам.

Но что это были за скоты, которым нельзя дове-

рять, Уинстон вспомнить не мог.

Примерно с тех пор война практически не прекращалась, хотя, строго говоря, это была не одна и та же война. Несколько месяцев в его детстве шли беспорядочные бои на улицах Лондона, и кое-что из этого Уинстон отчетливо помнил. Но проследить историю тех лет и установить, кто с кем сражался в тот или иной период, было совершенно невозможно. Никакие письменные свидетельства, равно как и устные, не упоминали ни о какой иной расстановке сил, кроме сегодняшней. Сегодня, к примеру, в 1984 году (если сегодня 1984-й), Океания воевала с Евразией, будучи в союзе с Остазией. Ни в официальных, ни в частных заявлениях никто не признавал, что отношения этих трех сил когда-то могли быть другими. Но Уинстон хорошо помнил, что еще четыре года назад Океания воевала с Остазией, будучи в союзе с Евразией. Память его была источником субъективным, на который он мог полагаться лишь постольку, поскольку его сознание не вполне подчинялось системе. Официально расстановка сил никогда не менялась. Океания ведет войну с Евразией, стало быть, Океания всегда вела войну с Евразией. Враг текущего момента всегда является абсолютным злом, из чего

следует, что никакое соглашение с ним — ни в прошлом, ни в будущем — невозможно.

Страшнее всего, думал он в стотысячный раз, отводя плечи назад до ломоты (они вращали корпусом, держа руки на бедрах — это считалось полезным для мышц спины), страшнее всего, что все это может быть правдой. Если Партии под силу запустить руку в прошлое и заявить о том или ином событии, что его никогда не было, — разве это не страшнее любых пыток или смерти?

Партия утверждала, что Океания никогда не была в союзе с Евразией. Он же, Уинстон Смит, знал, что Океания была в союзе с Евразией как минимум четыре года назад. Но чем это знание подкреплялось? Только его личным сознанием, которое в любом случае скоро уничтожат. Если все примут за правду партийную ложь, если все официальные источники будут рассказывать одну и ту же сказку — тогда ложь войдет в историю и станет правдой.

«Кто управляет прошлым, — гласил лозунг Партии, — тот управляет будущим; кто управляет настоящим, тот управляет прошлым».

Однако же прошлое, по своей природе подлежащее пересмотру, на практике никогда не пересматривалось. Сегодняшняя истина была

верна всегда и на веки вечные. Проще простого. Для этого требовался лишь бесконечный ряд побед над собственной памятью. «Управление реальностью» — вот как это называется, а на новоязе — «двоемыслие».

— Вольно! — гавкнула инструкторша уже чуть более приветливо.

Уинстон опустил руки по швам и медленно сделал глубокий вдох. Его разум соскользнул в лабиринт мира двоемыслия. Знать и не знать, полностью сознавать правду и говорить тщательно продуманную ложь, параллельно придерживаться двух противоположных взглядов, понимая, что они исключают друг друга, использовать логику против логики, аннулировать мораль, взывая к морали, не верить в возможность демократии и верить, что Партия является гарантом демократии, забывать все, что надлежит забыть, а затем снова обращаться к этому, когда нужно, и снова ловко забывать. А самое главное, нужно применять этот же процесс к самому процессу — в этом вся тонкость: сознательно добиваться бессознательности, а затем опять-таки подавлять понимание проделанного самогипноза. Даже понимание слова «двоемыслие» требует двоемыслия.

Инструкторша снова велела встать смирно.

— А теперь посмотрим, кто у нас сумеет дотянуться до носков! — произнесла она с энтузиазмом. — Пожалуйста, товарищи, тянемся от бедра. *Раз-два! Раз-два!..*

Уинстон терпеть не мог это упражнение — оно прошивало ноги болью от пяток до ягодиц и часто заканчивалось очередным приступом кашля. Его размышления лишились условной приятности. Прошлое, рассудил он, не просто изменили, его, по сути, уничтожили. Разве можно установить точно хотя бы самый очевидный факт, когда его не подтверждает ничего, кроме твоей памяти? Он попытался вспомнить, в каком году впервые услышал что-либо о Большом Брате. Предположительно где-то в шестидесятые, но нельзя было сказать наверняка. Разумеется, в истории Партии Большой Брат фигурировал как вождь и поборник Революции с первых ее дней. Подвиги его постепенно отодвигались в прошлое, пока не достигли легендарного мира сороковых и тридцатых годов, когда капиталисты в странных шляпах-цилиндрах еще разъезжали по улицам Лондона в огромных блестящих автомобилях или в остекленных каретах. Невозможно установить, что из этих легенд было правдой, а что

— выдумкой. Уинстон не мог даже вспомнить дату возникновения самой Партии. Он полагал, что не слышал слова Ангсоц до 1960-го, но возможно, что в своей староязычной форме — то есть «английский социализм» — оно было в ходу и раньше. Все растворялось в тумане. Хотя иногда можно было уличить и явную ложь. К примеру, согласно партийным учебникам истории, Партия изобрела самолет, но это было неправдой. Он помнил самолеты с самого раннего детства. Но доказать ничего было нельзя. Не было никаких свидетельств. Лишь один раз за всю свою жизнь он держал в руках неопровержимое свидетельство фальсификации исторического факта. И на этот счет…

— Смит! — прокричал злобный голос с телеэкрана. — У. Смит, номер 6079! Да, *вы*! Пожалуйста, нагибайтесь ниже! Вы же можете. Вы не стараетесь. Ниже, пожалуйста! *Так-то* лучше, товарищ. Теперь вольно, вся группа, и наблюдайте за мной.

Вдруг Уинстона прошиб горячий пот по всему телу. Лицо его, однако, осталось совершенно невозмутимым. Не показывать тревоги! Не показывать недовольства! Одно движение глаз может выдать тебя. Он стоял и смотрел, как инструк-

торша поднимает руки над головой, нагибается и — не сказать что грациозно, но с похвальной четкостью и сноровкой — запихивает кончики пальцев рук под пальцы ног.

— Так-то, товарищи! *Вот* что я хочу от вас увидеть. Посмотрите еще раз. Мне тридцать девять, и я родила четырех детей. Теперь смотрите. — Она снова нагнулась. — Видите, *мои* колени не сгибаются. Вы все так сможете, если захотите, — добавила она, распрямившись. — Каждый до сорока пяти прекрасно способен коснуться своих пальцев ног. Не всем нам повезло сражаться на передовой, но все мы можем хотя бы поддерживать себя в форме. Вспомните наших ребят на Малабарском фронте! И моряков на Плавучей крепости! Только подумайте, каково приходится *им*. Теперь попробуем еще раз. Так-то лучше, товарищ, так *гораздо* лучше, — добавила она ободряюще, когда Уинстон отчаянным выпадом сумел коснуться пальцев ног, не сгибая коленей, впервые за несколько лет.

IV

Уинстон не сдержал глубокого безотчетного вздоха, несмотря на близость телеэкрана, и начал рабочий день: подтянул поближе речепис, сдул

пыль с микрофона и надел очки. Затем развернул и скрепил вместе четыре бумажных рулончика, выскочивших из пневматической трубки справа от стола.

В стенах кабинки было три отверстия. Справа от речеписа находилась пневматическая трубка для письменных сообщений, слева — труба побольше для газет; а в боковой стене — только руку протяни — широкий овальный паз с проволочной заслонкой. Он служил для избавления от ненужных бумаг. Таких пазов в здании были тысячи, десятки тысяч — не только в каждой комнате, но и по несколько в каждом коридоре. Их почему-то прозвали провалами памяти. Когда надо было избавиться от документа или даже бумажки на полу, человек машинально поднимал заслонку ближайшего «провала памяти» и бросал туда ненужную бумагу, которую подхватывал поток теплого воздуха и уносил в огромные печи, скрытые где-то в недрах здания.

Уинстон развернул и изучил четыре бумаги. На каждой напечатано сообщение в одну-две строчки на телеграфном жаргоне, предназначавшемся в министерстве для внутренних нужд, — не совсем новояз, но по большей части из слов новояза. Он прочитал:

таймс 17.3.84 речь бб невер африка уточ

таймс 19.12.83 прогноз 4 кварт 3 гплан 83 опечат соглас текущ номер

таймс 14.2.84 минизоб цит невер шоколад уточ

таймс 3.12.83 отчет прикпостр бб дубльплюснехор ссыл нелицо перепис всецело покнач доподшив

С чувством предвкушения Уинстон отложил в сторону четвертое сообщение. Запутанная и ответственная работа, которую лучше оставить напоследок. Три других задания были рядовыми, хотя со вторым, вероятно, потребуется нудно копаться в цифрах.

Уинстон набрал на телеэкране «задние числа», запросил нужные номера «Таймс» — и через несколько минут они выскользнули из пневматической трубы. Телеграфные сообщения ссылались на статьи или новости, которые по той или иной причине требовалось изменить, или, выражаясь официальным языком, уточнить. Например, из «Таймс» от семнадцатого марта следовало, что Большой Брат в речи накануне предрек затишье на южноиндийском фронте и скорое наступление евразийских агрессоров в Северной Африке. На самом же деле евразийское высшее командование решило наступать в Юж-

ной Индии, оставив в покое Северную Африку. Поэтому нужно было так переписать абзац в речи Большого Брата, чтобы он как будто предсказал реальные события. Или, опять же, «Таймс» опубликовала от девятнадцатого декабря официальный прогноз выпуска потребительских товаров в третьем квартале 1983 года, то есть в шестом квартале Девятой Трехлетки. Сегодняшний номер приводил реальные показатели выпуска, из которых следовало, что прогнозы оказались совершенно неверны. Задачей Уинстона было уточнить исходные цифры и привести их к единству с последующими. Что же касалось третьего сообщения, то оно ссылалось на элементарную ошибку, которую легко исправить за пару минут. Не далее как в феврале Министерство изобилия пообещало («категорически утверждало», по официальному выражению), что сокращения рациона шоколада в течение 1984 года не будет. В действительности, как было известно Уинстону, рацион шоколада урежут с тридцати до двадцати граммов к концу текущей недели. Всего-то и дел — заменить исходное обещание предупреждением о вероятном сокращении пайка где-нибудь в апреле.

Как только Уинстон разделался со всеми сооб-

щениями, он приколол речеписные исправления к соответствующим номерам «Таймс» и опустил их в пневматическую трубу. После чего одним движением, доведенным почти до полного автоматизма, скомкал черновики и исходные сообщения и бросил их в провал памяти, на корм огню.

Что происходило в невидимом лабиринте, к которому вели пневматические трубы, Уинстон в точности не знал, но мог представить в общих чертах. Как только соберут и сверят все поправки для того или иного номера «Таймс», эти номера перепечатают, а исходные — уничтожат, и исправленные экземпляры займут их место в подшивке. Процесс постоянного изменения применялся не только к газетам, но и к книгам, журналам, брошюрам, плакатам, листовкам, фильмам, звукозаписям, карикатурам, фотографиям — ко всему художественному и документальному, что могло иметь любую политическую или идеологическую значимость. Ежедневно и чуть ли ни ежеминутно прошлое подгонялось к настоящему. Сейчас верность любого прогноза Партии можно было подтвердить документальным свидетельством, и не оставалось ни единой заметки, ни единого мнения,

противоречащих нуждам текущего момента. Вся история превратилась в палимпсест [2], выскобленный дочиста и переписанный заново столько раз, сколько было нужно. Как только работа завершалась, не оставалось никаких доказательств какой-либо фальсификации. Крупнейшая секция Отдела документации (намного больше той, где работал Уинстон) состояла из людей, которые только тем и занимались, что искали, изымали и уничтожали все экземпляры книг, газет и прочей печатной продукции, подвергшейся исправлениям. Номер «Таймс» могли перепечатать десяток раз вследствие изменений политического курса или ошибочных пророчеств Большого Брата, а он по-прежнему оставался в подшивке под исходной датой, и не существовало ни единого противоречащего ему экземпляра. Книги также отзывали и переписывали раз за разом, в итоге печатая заново без какого-либо указания о внесенных правках. Даже в письменных указаниях, которые Уинстон получал и сразу после исполнения уничтожал, никогда не утверждалось, хотя бы косвенно, что следует совершить подлог — речь всегда шла об описках, ошибках, опечатках или

[2] Примечания: 2

Палимпсест (*греч.* — palipmpseston — вновь соскобленный) — рукопись, написанная на пергаменте, уже бывшем в подобном употреблении.

неверных цитатах, которые необходимо исправить в интересах точности.

Но в действительности, рассуждал Уинстон, заменяя показатели Министерства изобилия, это даже не подлог. Это всего лишь нагромождение одной ахинеи на другую. Большая часть материалов, с которыми приходилось работать, не имела ни малейшего отношения к реальному миру, хотя даже откровенная ложь обычно с ним связана. Статистика в исходной версии оставалась такой же фантазией, как и в исправленной. Постоянно приходилось брать данные просто с потолка. Например, Министерство изобилия прогнозировало выпуск ста сорока пяти миллионов пар обуви в текущем квартале. Реальная цифра составила шестьдесят два миллиона. Уинстон переписывал первоначальный прогноз на пятьдесят семь миллионов, чтобы оправдать непременное заявление о перевыполнении плана. В любом случае шестьдесят два миллиона были не ближе к реальности, чем пятьдесят семь или сто сорок пять миллионов. Весьма вероятно, что никакой обуви не было вообще. А еще вероятнее, что никто ничего конкретного об этом не знал и знать не желал. Все знали только, что по бумагам ежеквартально выпускались астрономические объемы

обуви, тогда как чуть ли не половина населения Океании ходила босиком. Так же обстояло дело с любыми учетными данными, большими и малыми. Все растворялось в мире теней. В итоге невозможно было установить даже год того или иного события.

Уинстон кинул взгляд через зал. В кабинке у противоположной стены усердно трудился Тиллотсон, аккуратный человечек с небритым подбородком: на коленях у него лежала сложенная газета, рот прижат к микрофону речеписа. Было заметно, что он пытается сохранить каждое слово в тайне между собой и телеэкраном. Он поднял голову, и его очки враждебно сверкнули в сторону Уинстона.

Уинстон едва знал Тиллотсона и не имел представления о его служебных обязанностях. Люди в Отделе документации не любили говорить о своей работе. В этом длинном зале без окон, с двумя рядами кабинок, неумолкаемым шелестом бумаг и гудением голосов над речеписами трудилось не меньше десятка людей, которых Уинстон не знал даже по имени, хотя ежедневно видел, как они снуют туда-сюда по коридорам или машут руками на Двухминутках Ненависти. Он знал, что в соседней кабинке маленькая женщина с

рыжеватыми волосами дни напролет выискивает и удаляет из печатных изданий имена людей, которых испарили, а стало быть, признали несуществующими. Она определенно занималась своим делом, поскольку ее собственного мужа испарили пару лет назад. А еще через несколько кабинок сидело кроткое, нескладное, витающее в облаках создание по фамилии Эмплфорт, с очень волосатыми ушами и удивительным талантом жонглировать рифмами и размерами. Его работа состояла в переделке стихотворений (это называлось «создание канонических версий»), которые признали идеологически вредными, но по тем или иным причинам их нужно было оставить в антологиях. А ведь этот зал с полусотней служащих был лишь подсекцией — по существу, одной ячейкой — огромного и сложного Отдела документации. За ним, над ним, под ним располагались сонмы работников с самыми невообразимыми задачами. Имелись огромные типографии со своими редакторами, полиграфистами и прекрасно оборудованными студиями для подделки фотографий. Имелась секция телепередач со своими инженерами, продюсерами и актерскими труппами, специально подобранными за умение имитировать голоса. Имелись армии секретарей,

которые только и делали, что составляли списки книг и периодических изданий, требующих ревизии. Имелись необъятные хранилища для переделанных документов и скрытые печи для уничтожения исходных версий. А где-то находились анонимные руководящие мозги, которые координировали всю эту деятельность и прокладывали политические курсы. В соответствии с ними одни события прошлого надлежало сохранить, другие — фальсифицировать, а третьи — вычеркнуть из истории.

Отдел документации, по большому счету, являлся всего лишь филиалом Министерства правды, главная задача которого состояла не в переделке прошлого, а в снабжении граждан Океании газетами, фильмами, учебниками, телепередачами, пьесами, романами — всеми мыслимыми видами информации, прикладной или развлекательной: от закона до лозунга, от лирического стихотворения до биологического трактата, от детского букваря до словаря новояза. А министерство должно было не только удовлетворять разнообразные нужды Партии, но и дублировать всю свою деятельность на более низком уровне для пролетариев. Существовал целый ряд специальных отделов, занимавшихся

пролетарской литературой, музыкой, драмой и досугом в целом. Здесь выпускались газетенки, освещавшие только спорт, криминал и астрологию, бульварные романчики по пять центов, скабрезные фильмы и сентиментальные песенки, сочинявшиеся исключительно механическим способом — посредством особого барабана под названием «версификатор». Была даже целая подсекция по производству самой низкопробной порнографии (*порносек* на новоязе), которую рассылали в запечатанных пакетах — ни один член Партии кроме непосредственных изготовителей, не имел права ее видеть.

Пока Уинстон работал, из пневматической трубки выскользнули еще три сообщения. Простые задания, и он успел разделаться с ними до начала Двухминутки Ненависти. После Ненависти он вернулся в кабинку, снял с полки словарь новояза, отодвинул в сторону речепис, протер очки и взялся за главное задание этого утра.

Ничто в жизни Уинстона не доставляло ему такой радости, как работа. Пусть она в основном состояла из серой рутины, но иногда попадались настолько сложные и запутанные поручения, что можно было погрузиться в них с головой, как в решение математической задачи — на-

столько тонкие подтасовки, что единственным руководством в них становилось только знание принципов Ангсоца и собственное понимание того, что же Партия желает от тебя услышать. Уинстон знал толк в таких делах. Случалось, ему даже доверяли *уточнять* передовицы «Таймс», написанные полностью на новоязе. Он развернул сообщение, которое отложил в самом начале работы, и перечитал его:

таймс 3.12.83 отчет прикпостр бб дубльплюснехор ссыл нелица перепис всецело покнач доподшив

На староязе (или обычном английском) это могло означать:

Приказ Большого Брата по стране, напечатанный в «Таймс» от 3 декабря 1983 года, изложен крайне неудовлетворительно и ссылается на несуществующих лиц. Полностью перепишите его и представьте свой вариант вышестоящему начальству перед отправкой в архив.

Уинстон прочитал неугодную статью. Кажется, приказ Большого Брата по стране по большей части хвалил организацию, известную как ПКПП. Она снабжала сигаретами и прочими предмета-

ми потребления матросов Плавучей крепости. Особо отметили некоего товарища Уизерса, выдающегося члена Внутренней Партии, — он удостоился отдельного упоминания и получил Орден второй степени за выдающиеся заслуги.

Три месяца спустя ПКПП внезапно расформировали без объяснения причин. Напрашивалось предположение, что Уизерс с сотрудниками впали в немилость, однако ни в печати, ни на телеэкране об этом ничего не говорили. Неудивительно, поскольку устраивать судебный процесс или хотя бы публично разоблачать политических преступников было не принято. Большие чистки на тысячи человек с открытыми процессами по предателям и мыслефелонам, которые смиренно каялись перед казнью, представляли собой особые постановки и проводились с интервалом в пару лет. Как правило, ставшие неугодными Партии люди исчезали бесследно. И никто не имел ни малейшего представления, что с ними случилось. Нельзя было даже считать их умершими. Помимо своих родителей, Уинстон лично знал около тридцати человек, которые в какой-то момент просто исчезли.

Уинстон мягко почесал нос скрепкой. В кабинке напротив товарищ Тиллотсон все так же скрытно

нависал над речеписом. Поднял голову на миг — и вновь враждебно блеснули очки. Уинстон подумал, что товарищ Тиллотсон, вполне возможно, выполняет то же самое задание. Почему бы нет? Такую тонкую работу ни за что бы не доверили одному человеку; с другой стороны, если созывать для этого комиссию, пришлось бы открыто признать фальсификацию. Очень может быть, что сейчас с десяток человек составляют свои версии слов Большого Брата. А потом какой-нибудь начальственный ум во Внутренней Партии выберет из них одну, подредактирует и запустит сложный процесс проставления перекрестных ссылок, после чего избранная ложь будет окончательно отправлена в архив и сделается правдой.

Уинстон не знал, в чем провинился Уизерс. Возможно, дело было в коррупции или некомпетентности. Возможно, Большой Брат решил избавиться от подчиненного, ставшего не-в-меру-популярным. Возможно, Уизерса или кого-то из его окружения заподозрили в уклонизме. А возможно — и вероятнее всего — это случилось из-за самих принципов работы государственной машины, которой чистки и испарения были просто необходимы. Единственный определенный намек содержался в словах «ссыл нелица». Они

означали, что Уизерс уже мертв. Не всегда при арестах можно было сказать такое с уверенностью. Иногда людей выпускали и давали пожить на свободе год-другой перед казнью. Изредка даже случалось, что кто-то, кого ты давно считал мертвым, возникал вдруг, точно призрак, на каком-нибудь открытом процессе и давал показания против сотен человек, после чего исчезал уже навсегда. Однако Уизерс уже был *нелицом*. Его не существовало, причем — никогда. Уинстон решил, что недостаточно просто изменить направление мыслей Большого Брата. Лучше написать о чем-то совершенно не связанном с исходной темой.

Можно свести все к обычному разоблачению предателей и мыслефелонов, но это было бы слишком прозрачно; с другой стороны, если выдумать победу на фронте или триумфальное перевыполнение Девятой Трехлетки, то это повлечет за собой лишнюю мороку с переписыванием документов. Здесь требовалась чистая фантазия. И вдруг в памяти у Уинстона всплыл — можно сказать, готовым к употреблению — образ некоего товарища Огилви, недавно павшего в бою смертью храбрых. Бывали случаи, когда Большой Брат посвящал целый приказ по стране

памяти какого-нибудь скромного рядового члена Партии, жизнь и смерть которого могли служить достойным примером. Что ж, на этот раз он почтит память товарища Огилви. Правда, никакого товарища Огилви никогда не существовало, но несколько печатных строк и пара липовых фотографий решат эту задачу.

Подумав секунду, Уинстон притянул к себе речепис и начал диктовать в привычной манере Большого Брата. Манера эта, одновременно военная и педантичная, легко имитировалась одним характерным приемом: нужно было задавать вопросы и тут же на них отвечать («Какой же урок извлечем мы из этого факта, товарищи? А урок — и вместе с тем один из базовых принципов Ангсоца — таков…» и т. д. и т. п.).

В возрасте трех лет товарищ Огилви отказался от всех игрушек, кроме барабана, автомата и вертолета. В шесть — на год раньше, в виде особого исключения — его приняли в Разведчики, а в девять он уже был командиром отряда. В одиннадцать, подслушав дядин разговор, он уловил в нем преступные тенденции и донес в Мыслеполицию. В семнадцать он стал районным руководителем молодежной лиги Антисекс. В девятнадцать изобрел ручную гранату, которую

приняли на вооружение в Министерстве мира, и на первом же испытании она разнесла в клочья тридцать одного евразийского военнопленного. В двадцать три года товарищ Огилви погиб, выполняя свой долг. Пролетая над Индийским океаном с важными донесениями, он попал под атаку вражеских истребителей, привязал к себе пулемет, как грузило, и выпрыгнул из вертолета в глубокие воды со всеми секретными документами. О такой кончине, сказал Большой Брат, нельзя говорить без зависти. Затем Большой Брат добавил несколько замечаний о жизни товарища Огилви в целом, которая была отмечена чистотой и целеустремленностью. Он не пил, не курил и не знал иного досуга, кроме ежедневного часа в спортзале. Решив, что женитьба и забота о семье несовместимы с круглосуточным служением долгу, товарищ Огилви дал обет безбрачия. Он не вел никаких разговоров, кроме как о принципах Ангсоца, и не имел иной цели в жизни, кроме победы над евразийским врагом и разоблачения шпионов, вредителей, мыслефелонов и прочих предателей.

Уинстон подумал было наградить товарища Огилви орденом за выдающиеся заслуги, но потом решил, что это будет лишним и повлечет

за собой ненужные перекрестные ссылки и исправления.

Он снова взглянул на соперника в кабинке напротив. Что-то подсказывало ему, что Тиллитсон трудился над тем же заданием. Неизвестно, чью работу в итоге примут, но Уинстон был уверен в своем варианте. Невообразимый еще час назад товарищ Огилви вошел в реальность. Уинстон вдруг поразился, что можно создавать умерших, но не живых. Товарищ Огилви никогда не существовал в настоящем времени, но теперь существует в прошлом, и как только факт подлога забудется, Огилви станет столь же несомненной и неопровержимой фигурой, как Карл Великий или Юлий Цезарь.

V

В столовой с низким потолком, глубоко под землей, очередь за обедом двигалась рывками. Было полно народу и очень шумно. От жаровни за стойкой валил мясной пар с кислым металлическим душком, но все перебивал запах джина «Победа». В дальнем конце зала обустроили маленький бар, больше похожий на дыру в стене, где разливали джин по десять центов за шкалик.

— Вот кого я искал, — произнес кто-то за спи-

ной Уинстона.

Он обернулся. Это был его приятель Сайм из Исследовательского отдела. Пожалуй, «приятель» — не совсем верное слово. Сейчас нет никаких приятелей, только товарищи, но с определенными товарищами приятней делить компанию, чем с другими. Сайм был филологом, специалистом по новоязу. Он работал в составе огромной экспертной группы, корпевшей над одиннадцатым изданием словаря новояза. Сайм был совсем мелким, мельче Уинстона, с темными волосами и большими глазами навыкате, скорбно-насмешливыми, словно обыскивавшими лицо собеседника.

— Хотел спросить, не осталось у тебя лезвий? — осведомился он.

— Ни одного! — ответил Уинстон с какой-то виноватой поспешностью. — Сам везде искал. Их больше нет.

Все спрашивали про лезвия. Вообще-то у него лежали еще два нетронутых про запас. Последние месяцы с лезвиями была беда. В партийных магазинах постоянно пропадал то один, то другой товар первой необходимости: то пуговицы, то нитки, то шнурки; теперь вот — лезвия. Их можно было раздобыть только украдкой на «свободном»

рынке, если повезет.

— Бреюсь одним уже полтора месяца, — соврал Уинстон.

Очередь продвинулась еще на шаг. Он остановился, вновь обернулся и взглянул на Сайма. Оба взяли засаленные металлические подносы из стопки с краю стойки.

— Ходил вчера смотреть, как вешают пленных? — спросил Сайм.

— Я работал, — равнодушно ответил Уинстон. — Увижу, наверное, в кино.

— Весьма неравноценная замена, — заявил Сайм.

Его насмешливый взгляд шарил по лицу Уинстона.

«Знаю я тебя, — словно говорил этот взгляд, — насквозь вижу. Я прекрасно знаю, почему ты не ходил смотреть, как вешают пленных».

Сайм, как интеллектуал, был язвительно правоверен. Он со злорадством говорил о вертолетных атаках на вражеские деревни, о процессах и признаниях мыслефелонов, о казнях в подвалах Министерства любви. В беседах приходилось все время уводить его от этих тем и по возможности переводить разговор на технические тонкости новояза, о которых он рассказывал интересно

и со знанием дела. Уинстон слегка повернулся, уклоняясь от испытующего взгляда больших темных глаз.

— Хорошая была казнь, — мечтательно протянул Сайм. — Я считаю, зря им ноги связывают. Люблю смотреть, как они дрыгаются. А больше всего — в конце, как язык высовывается, голубой такой, почти ярко-синий. Вот что меня трогает.

— Дальше, пжалста! — прокричала пролка с половником, одетая в белый фартук.

Уинстон и Сайм задвинули подносы под решетку. Каждому шмякнули стандартные порции: жестяную миску с розовато-серым рагу, ломоть хлеба, кубик сыра, кружку черного кофе «Победа» и одну таблетку сахарина.

— Вон за тот столик, под телеэкраном, — сказал Сайм. — Пошли, возьмем джин по дороге.

Джин налили в фаянсовые кружки без ручек. Сайм и Уинстон пробрались через запруженный зал и разгрузили подносы на металлический столик, на углу которого кто-то пролил отвратную подливу от рагу. Жижа напоминала рвоту. Уинстон взял кружку джина, замер на миг, собираясь с духом, и залпом выпил маслянистую жидкость. Сморгнув выступившие слезы, он неожиданно ощутил голод. Уинстон принялся наворачивать

рагу, в котором при всей его клеклости попадались розоватые пористые кубики, считавшиеся мясом. Оба приятеля ели молча, пока не подчистили миски. Слева за спиной Уинстона кто-то без умолку трещал, перекрывая общий гомон грубым и отрывистым гусиным гоготанием.

— Как продвигается словарь? — спросил Уинстон, перекрикивая шум.

— Медленно, — отозвался Сайм. — Сижу над прилагательными. Завораживает.

Заговорив о новоязе, Сайм сразу просиял. Он отодвинул миску, схватил в одну хрупкую руку ломоть хлеба, а в другую — сыр и перегнулся через стол, чтобы не приходилось кричать.

— Одиннадцатое издание станет академическим, — заговорил он. — Мы придаем языку завершенный вид — таким он и останется, когда все будут говорить только на новоязе. Когда закончим, то людям вроде тебя придется переучивать все заново. Ты думаешь, смею сказать, что мы в основном новые слова изобретаем. Ничего подобного! Мы уничтожаем слова — уйму слов, сотни слов — каждый день. Мы срезаем с языка все лишнее, до костей. В одиннадцатом издании ни единое слово не устареет до 2050 года.

Он с жадностью откусил хлеб, прожевал и

дважды сглотнул, затем продолжил говорить со страстностью педанта. Его худое смуглое лицо оживилось, глаза лишились насмешливого выражения и выглядели почти мечтательно.

— Как прекрасно — уничтожать слова. Конечно, больше всего хлама скопилось в глаголах и прилагательных, но и среди существительных сотни лишних. И это не только синонимы; еще и антонимы. Сам подумай, какой смысл в слове, которое означает всего-навсего противоположность чего-то другого? Всякое слово само по себе может выражать свою противоположность. Возьмем, к примеру, «хорошо» — «хор» на новоязе. Если у тебя есть слово «хорошо», какой смысл в слове «плохо»? «Нехор» ничем не хуже, а даже лучше, поскольку являет собой полную противоположность, какой нет у слова «плохо». Опять же, если тебе нужно усилить значение «хор», какой смысл пользоваться целым рядом расплывчатых никчемных слов вроде «превосходно», «великолепно» и прочих им подобных? «Плюсхор» дает нужный смысл, а если нужно еще сильнее подчеркнуть, то «дубльплюсхор». Конечно, мы и так уже их используем, но в окончательной версии новояза других вариантов и не останется. В итоге весь спектр хорошего и плохого будут охватывать

шесть слов, точнее, шесть форм одного слова. Разве ты не видишь, как это прекрасно, Уинстон? — сказал он и добавил после паузы: — Идея принадлежит, разумеется, Б-Б.

При упоминании о Большом Брате на лице Уинстона обозначилось вялое рвение. Однако Сайм тут же почувствовал недостаток энтузиазма.

— Нет у тебя настоящего понимания новояза, Уинстон, — почти грустно объявил он. — Даже когда ты пишешь, то все еще думаешь на старояз. Я почитываю кое-что из твоих сочинений для «Таймс». Они довольно хороши, но это переводы. Сердцем ты цепляешься за старояз со всей его расплывчатостью и никчемными смысловыми оттенками. Ты не можешь постичь красоты разрушения слов. Известно ли тебе, что новояз — единственный язык в мире, чей словарь сокращается с каждым годом?

Уинстону, разумеется, это было известно. Он улыбнулся, пытаясь показать сочувствие, но не решился раскрыть рот. Сайм откусил еще бурого хлеба, быстро прожевал и продолжил:

— Разве ты не видишь, что вся цель новояза — сузить горизонт мышления? В конце концов, мы сделаем мыслефелонию попросту невозможной, потому что для нее не будет слов. Для каждого

важного понятия останется одно-единственное слово со строго определенным значением, а все добавочные оттенки выскоблят и забудут. В одиннадцатом издании мы уже недалеки от нашей цели. Но работа продолжится даже после нашей смерти. С каждым годом слов будет все меньше, горизонт сознания — чуть уже. И сейчас, разумеется, для мыслефелонии нет ни надобности, ни оправдания. Это лишь вопрос самодисциплины, управления реальностью. Но в конце и она не понадобится. Когда Революция достигнет завершения, язык станет идеален. Новояз есть Ангсоц, Ангсоц есть новояз, — добавил он с каким-то мистическим пылом. — Тебе не приходило на ум, Уинстон, что самое позднее к 2050-му не останется ни единого человека, который сможет понять наш сегодняшний разговор?

— Кроме… — начал Уинстон нерешительно и осекся.

Он чуть было не ляпнул «кроме пролов», но сдержался при мысли, что в таком замечании можно уловить некоторое вольнодумство. Однако Сайм угадал его мысль.

— Пролы не люди, — отмахнулся он. — К 2050-му, если не раньше, никто по-настоящему не будет владеть староязом. Вся литература прошло-

го будет уничтожена. Чосер, Шекспир, Мильтон, Байрон останутся только на новоязе, но не просто измененными, а значащими прямо противоположное. Изменится даже литература Партии. Даже лозунги. Откуда появится лозунг вроде «свобода — это рабство», когда упразднят само понятие свободы? Вся атмосфера мышления станет другой. Фактически, мышления в нашем сегодняшнем понимании уже не будет. Правоверность означает отсутствие мысли и самой необходимости в ней. Правоверность бессознательна.

Тут Уинстон проникся глубоким убеждением, что в скором времени Сайма испарят. Он слишком умный. Видит слишком ясно и говорит слишком прямо. Партия таких не любит. Однажды он исчезнет. У него на лице это написано.

Уинстон доел хлеб с сыром. Принявшись за кофе, он повернулся на стуле боком. За столиком слева продолжал разоряться хрипатый говорун. Он обращался к молодой женщине, сидевшей спиной к Уинстону, — скорее всего, своей секретарше, которая, похоже, безоговорочно с ним соглашалась. Время от времени Уинстон слышал ее моложавый и глуповатый голосок со словами вроде: «По-моему, вы *совершенно* правы, я *так*

с вами согласна». Но говорун не умолкал ни на секунду, даже когда девушка пыталась ответить. Уинстон несколько раз видел его в министерстве и знал, что тот занимает какую-то важную должность в Художественном отделе. Это был мужчина лет тридцати, с мускулистой шеей и большим подвижным ртом. Он чуть откинул голову, и свет так падал на его очки, что Уинстону виделись два белых круга вместо глаз. Ощущения жути добавлял извергавшийся из него словесный поток, который было почти невозможно разделить на отдельные слова. Только раз Уинстон разобрал целую фразу — «полное, бесповоротное уничтожение голдштейнизма», — произнесенную такой скороговоркой, что она казалась слитной массой, как строка, набранная без пробелов. В остальном это звучало просто какофонией, га-га-гаканьем. Но даже без понимания отдельных слов не возникало ни малейшего сомнения в общей направленности его речи. Скорее всего, он поносил Голдштейна и требовал ужесточить меры против мыслефелонов и вредителей, негодовал по поводу зверств евразийской армии, восхвалял Большого Брата или героев Малабарского фронта — без разницы. Так или иначе ты мог быть уверен, что каждое его слово — образец

правоверности, чистый Ангсоц. Глядя на это лицо без глаз, с быстро двигавшимся ртом, Уинстон испытал странноватое впечатление, что перед ним не живой человек, а какой-то механический болванчик. Произносимая тирада происходила не от мозга, но от глотки. Исторгавшаяся звуковая масса состояла из слов, но не была речью в подлинном ее смысле — лишь продуктом бессознательного, вроде гусиного гогота.

Сайм ненадолго замолчал, выводя что-то черенком ложки в луже подливы. Гоготание не ослабевало, уверенно перекрывая окружающий гомон.

— В новоязе есть слово, — сказал Сайм. — Не уверен, знаешь ли ты его: *гусояз*? Когда кто-то бубнит, как гусь. Одно из таких интересных слов, у которых два противоположных значения. В отношении оппонента это оскорбление, но если ты согласен со смыслом, то комплимент.

Уинстон снова подумал, что Сайма испарят, без вариантов. Печальная мысль, хотя он хорошо понимал, что Сайм его презирает и недолюбливает, а при малейшем поводе может запросто объявить мыслефелоном. С Саймом что-то было не в порядке. Ему чего-то не хватало: осмотрительности, скрытности или спасительной тупости. Нельзя

было утверждать, что он неправоверен. Он верил в принципы Ангсоца, почитал Большого Брата, восторгался победами, ненавидел отступников не просто искренне, но с какой-то одержимостью, он располагал последними сведениями, недоступными рядовым партийцам. И все же от него всегда веяло духом неблагонадежности. Сайм говорил вещи, которые не стоило озвучивать, читал слишком много книг, то и дело посещал кафе «Под каштаном», приют художников и музыкантов. Не было запрета, хотя бы даже неписаного, на посещение «Под каштаном», и все же это место имело дурную славу. Одно время там собирались старые, лишившиеся доверия партийные вожди, пока их не зачистили окончательно. По слухам, сам Голдштейн заглядывал туда годы, десятилетия тому назад. Судьбу Сайма предугадать было несложно. Однако не приходилось сомневаться, что если бы ему хоть на пару секунд открылись тайные взгляды Уинстона, то он тут же бы сдал приятеля в Мыслеполицию. Как и любой на его месте, если уж на то пошло, но Сайм наверняка. Одного пыла и рвения было мало. Правоверность бессознательна.

Саймон поднял взгляд и произнес:

— Вон Парсонс идет.

Его интонация словно бы уточняла: «дурень чертов». К ним действительно пробирался Парсонс, сосед Уинстона по жилкомплексу «Победа» — невысокий русоволосый крепыш с лягушачьим лицом. В тридцать пять он уже отрастил брюшко и валик жира на загривке, но двигался по-мальчишески проворно. Всем своим видом он напоминал пацана-переростка, так что, даже будучи одетым в форменный комбинезон, он невольно представлялся в синих шортах, серой рубашке и красном галстуке Разведчиков. Воображение при этом всегда дорисовывало ямочки на коленях и закатанные рукава с пухлыми предплечьями. Парсонс и вправду при любой возможности надевал шорты — в турпоходах и на всех мероприятиях, где это было допустимо. Он поприветствовал их обоих веселым «Здрасьте, здрасьте!» и присел за столик, обдав Сайма и Уинстона ядреным потным духом. Все его розовое лицо покрывали бисеринки пота. Такая способность к потоотделению поражала. В Центре досуга всегда можно было понять по влажной ручке ракетки, когда он играл в настольный теннис. Сайм достал полоску бумаги с длинным столбиком слов и принялся изучать их, держа чернильный карандаш наготове.

— Вы только посмотрите, и в обед работает, — сказал Парсонс, тронув локтем Уинстона. — Азарт, а? Что там у тебя, старина? Небось не по моим мозгам? Смит, старик, я к тебе вот с каким делом. Ты забыл мне денежку сдать.

— На что собираем? — уточнил Уинстон, машинально потянувшись к карману.

Порядка четверти зарплаты приходилось отдавать на добровольные взносы, настолько многочисленные, что трудно было уследить за всеми.

— На Неделю Ненависти. Ну, знаешь… жилищный фонд. Я казначей по нашему корпусу. Не жалеем сил — забабахаем такое шоу, закачаешься. Чтоб мне провалиться, если старушка «Победа» не выставит больше всех флагов на улице. Ты мне обещал два доллара.

Уинстон нашел и протянул две мятые засаленные банкноты, которые Парсонс аккуратным почерком малограмотных отметил в блокнотике.

— Кстати, старина, — сказал он. — Я слышал, мой пострел засветил в тебя вчера из рогатки. Я ему устроил хорошую головомойку. Сказал, что вообще отберу рогатку, если еще такое случится.

— Думаю, что он слегка расстроился, когда его

не взяли на казнь, — сказал Уинстон.

— А, ну это… что я хочу сказать — подает надежды, верно? Сорванцы оба несносные, к слову об азарте! У них на уме одни Разведчики; ну и война, само собой. Знаешь, что моя дочурка вытворила в прошлое воскресенье, когда ее отряд был в походе на Беркхамстед? Сманила еще двух девчонок, они выскользнули из отряда и до вечера следили за одним типом. Два часа пасли его по лесу, а как дошли до Амершема, сдали его патрульным.

— Зачем же это? — опешил Уинстон.

Но Парсонс продолжал с гордым видом:

— Дочурка смекнула, что он какой-то вражеский агент — может, сбросили на парашюте или еще как. Но вот в чем суть, старик. С чего, думаешь, она его заподозрила? Заметила на нем туфли чудные — сказала, никогда ни на ком таких не видела. Так что он наверняка был иностранец. Скажи, умно для семилетней пигалицы, а?

— И что с ним сделали? — спросил Уинстон.

— А, чего не знаю, того не знаю. Но я бы не особо удивился, если…

И Парсонс изобразил руками выстрел из ружья, прищелкнув языком.

— Хорошо, — отстраненно отметил Сайм, не поднимая глаз от своей бумажки.

— Конечно, мы не можем рисковать, — послушно согласился Уинстон.

— Что ни говори, мы же воюем, — подытожил Парсонс.

Будто в подтверждение сказанного из телеэкрана вырвался трубный звук и поплыл над их головами. Однако теперь дело касалось не военной победы, а сообщения из Министерства изобилия.

— Товарищи! — выспренно воскликнул моложавый голос. — Внимание, товарищи! У нас для вас прекрасная новость. Мы выиграли продовольственную битву! Подведены итоги выпуска всех классов потребительских товаров, и согласно их показаниям уровень жизни за истекший год возрос как минимум на двадцать процентов. По всей Океании этим утром проходят неудержимые стихийные демонстрации рабочих, которые маршируют по улицам от фабрик и учреждений и машут флагами, выражая благодарность Большому Брату за нашу новую, счастливую жизнь, дарованную нам его мудрым руководством. Вот некоторые итоговые цифры. Продовольственные товары…

Слова «наша новая счастливая жизнь» повторили несколько раз. В последнее время эта фраза

стала любимой в Министерстве изобилия. Захваченный звуком трубы Парсонс сидел и слушал с открытым ртом, в возвышенном отупении. Он не мог уследить за цифрами, но понимал, что они должны внушать удовлетворение. Он вытащил большую перепачканную трубку, наполовину забитую обугленным табаком. Учитывая, что недельный рацион табака составлял всего сто граммов, набить трубку полностью удавалось редко. Уинстон закурил сигарету «Победа», стараясь держать ее горизонтально, чтобы не сыпался табак. У него осталось лишь четыре штуки, а новую пачку можно будет получить только завтра. Он прикрыл уши, чтобы отгородиться от постороннего шума, и сосредоточился на сообщении телеэкрана. Выходило, что демонстранты, кроме прочего, благодарили Большого Брата за увеличение нормы шоколада до двадцати граммов в неделю. А не ранее как вчера, думал Уинстон, объявили о *сокращении* рациона шоколада до двадцати граммов в неделю. Неужели люди в состоянии проглотить такое уже через сутки? Да, проглотили. Парсонс проглотил это легко и покорно, как жвачное животное. Существо без глаз за соседним столиком проглотило новость фанатично, страстно, с яростным желанием вы-

следить, разоблачить и испарить любого, кто заикнется, что на прошлой неделе шоколад выдавали по тридцать граммов. Даже Сайм, пусть и более сложным путем, прибегнув к двоемыслию, тоже проглотил это. Неужели Уинстону *одному* не отшибло память?

Телеэкран продолжал сыпать баснословными цифрами. По сравнению с прошлым годом стало больше еды, больше одежды, больше домов, больше мебели, больше посуды, больше горючего, больше кораблей, больше вертолетов, больше книг и детей тоже больше — всего стало больше, кроме болезней, преступлений и безумия. С каждым годом, с каждой минутой все и вся стремительно взмывало к вершинам. Уинстон взял ложку и принялся, как и Сайм, водить по бледной луже подливы, размазанной по столешнице, вытягивая из нее длинную загогулину. Он с отвращением размышлял о материальной стороне жизни. Неужели так было всегда? Неужели пища всегда был такой на вкус? Он оглядел столовую. Забитое людьми помещение с низким потолком и замызганными от бесчисленных спин и боков стенами; расшатанные металлические столы и стулья, стоявшие так плотно, что все задевали друг друга локтями; погнутые

ложки, продавленные подносы, потертые белые кружки; все заросло жиром, в каждой трещине грязь; смешанный кисловатый запах плохого джина, скверного кофе, рагу с металлическим привкусом и грязной одежды. Нутром и кожей ты всегда испытывал протест — ощущение, что тебя обманули, лишили чего-то, на что ты имеешь право. Пусть даже на памяти Уинстона жизнь почти всегда была такой. Сколько он помнил, всегда не хватало еды, все носили заштопанные носки и белье, мебель всегда была обшарпанной и расшатанной, комнаты — нетопленными, поезда — переполненными, дома разваливались, хлеб был бурым, чай — редкостью, от кофе тошнило, сигарет вечно не хватало; денег — кончались слишком быстро, только синтетический джин никогда не иссякал. Даже учитывая, что с возрастом все переносится труднее, разве это не признак *неестественного* порядка вещей, если тебя мутит от всей этой неустроенности, грязи и вечного дефицита, нескончаемых зим, липких носков, неработающих лифтов, холодной воды, грубого мыла, рассыпающихся сигарет и пищи с непонятным жутким вкусом? Чем объяснить ощущение невыносимости быта, если не наследственной памятью о временах, когда все было

иначе?

Он снова оглядел столовую. Люди кругом поражали уродством, и даже если их переодеть из синих партийных комбинезонов во что-то другое, уродство их едва ли уменьшится. В дальнем конце столовой в одиночку сидел за столиком смешной человечек, похожий на жука, он пил кофе и постреливал глазками по сторонам. Как легко верить, думал Уинстон, если не смотреть по сторонам, что существует и даже преобладает физический стандарт, установленный Партией: высокие сильные юноши и полногрудые девушки, белокурые, энергичные, загорелые, беззаботные. Насколько он видел на самом деле, большинство людей Первой летной полосы были темноволосыми, низкорослыми и неказистыми. Удивительно, как быстро в министерствах распространился этот жучиный типаж — невысокие, коренастые человечки, очень рано полнеющие, семенящие короткими ножками, с непроницаемыми заплывшими лицами и глазками-пуговками. Именно такая порода, похоже, пышнее всего расцвела под началом Партии.

Сводка Министерства изобилия завершилась очередным сигналом трубы, уступив место отрывистой музыке. Парсонс вынул трубку изо рта,

подстегнутый до смутного энтузиазма водопадом цифр.

— Похоже, Министерство изобилия неплохо потрудилось в этом году, — сказал он, многозначительно покачивая головой. — Кстати, Смит, старина, у тебя, наверно, не найдется для меня лезвия?

— Ни единого, — ответил Уинстон. — Бреюсь одним уже полтора месяца.

— Ну что ж. За спрос денег не берут, старик.

— Извини, — сказал Уинстон.

Гогочущий голос за соседним столиком, притихший было во время сообщения Министерства изо-билия, забубнил с прежней громкостью. Уинстон непонятно почему подумал о миссис Парсонс с ее всклокоченными волосами и пропыленными морщинами. Не пройдет и двух лет, как детки донесут на нее в Мыслеполицию. И миссис Парсонс испарят. Сайма испарят. Уинстона тоже испарят. И О'Брайена. А вот Парсонса никогда не испарят. Безглазое существо с гогочущим голосом никогда не испарят. И маленьких людишек-жуков, проворно снующих в лабиринтах министерских коридоров, никогда не испарят. И девушку с темными волосами из Художественного отдела — ее тоже никогда не испарят. Уинстону

показалось, что он инстинктивно знает, кто погибнет, а кто останется в живых, но непонятно было, что нужно делать для выживания.

Из размышлений его выбил резкий толчок. Девушка за соседним столиком повернулась вполоборота и взглянула на него. Это была та самая, темноволосая. Она смотрела на него искоса, но удивительно пристально. Едва он перехватил ее взгляд, как она отвернулась.

Уинстон вспотел вдоль всей спины. Жуткий страх пронзил его. Страх почти сразу прошел, но осталась какая-то смутная тревога. Почему она следит за ним? Почему все время ходит по пятам? К сожалению, он не смог припомнить, сидела ли она уже за столиком, когда пришли они с Саймом, или появилась позднее. Но и вчера на Двухминутке Ненависти девушка села у него за спиной, хотя в этом не было необходимости. Вполне вероятно, она хотела проверить, кричит ли он достаточно громко.

Он снова задумался: вряд ли она состоит в Мыслеполиции, но в таком случае это шпионка-любительница, а это еще опаснее. Уинстон не знал, долго ли она на него смотрела. Наверное, минут пять, но он не был уверен, что все это время следил за выражением лица. Очень опасно забы-

вать, что лицо может отражать твои мысли, когда ты среди людей или в зоне видимости телеэкрана. Даже мелочь может тебя выдать — нервный тик, тревожный взгляд, привычка бормотать про себя — что угодно, что укажет на возможность отклонения от нормы или какие-то тайные мысли. Во всяком случае, неправильное выражение лица (к примеру, скептический вид при объявлении победы) каралось как преступление. На новоязе было даже такое слово — *лицефелония*.

Девушка снова повернулась к нему спиной. Может, она все же не следит за ним; может, это просто совпадение, что она два дня подряд садится рядом? Сигарета погасла, он осторожно положил ее на край стола — докурит после работы, если удастся не просыпать табак. А может, очень может быть, что за соседним столиком сидит агент Мыслеполиции. Очень может быть, что через три дня Уинстон окажется в подвалах Министерства любви, но не пропадать же окурку. Сайм сложил свою бумажку и убрал в карман. Парсонс снова заговорил.

— Я рассказывал тебе, старина, — сказал он, не вынимая трубку изо рта, — как мои сорванцы подожгли юбку рыночной торговке, когда увидели, что она завернула сосиски в плакат с портретом

Б-Б? Подкрались к ней сзади, запалили спичечный коробок и подожгли. Наверное, хорошенько поджарили. Вроде сопляки? Но какое рвение! Теперь их отлично натаскивают в отрядах Разведчиков, даже лучше, чем в мое время. Знаешь что им недавно выдали? Слуховые трубки, чтобы подслушивать сквозь замочную скважину! Дочурка на днях принесла домой свою трубку: опробовала в гостиной и утверждает, что слышно в два раза лучше, чем просто ухом. Конечно, это всего лишь игрушка, надо понимать. Но внушает правильный настрой.

В этот момент раздался пронзительный свист — пора возвращаться к работе. Все трое вскочили на ноги и вместе со всеми бросились к лифтам, а Уинстон просыпал табак из окурка.

VI

Уинстон записал в дневнике:

Это случилось три года назад. Темным вечером, в узком переулке вблизи одного вокзала. Она стояла у подъезда, под фонарем, почти не дававшим света. Лицо у нее было молодое, сильно накрашенное. Это меня и привлекло: ее белизна, словно у маски, и ярко-красные губы. Партийные

женщины никогда не красятся. Больше на улице никого не было, и ни одного телеэкрана. Она сказала: два доллара. Я…

Ему вдруг стало трудно продолжать. Он закрыл глаза и нажал на веки пальцами, словно желая выдавить навязчивое видение. Нестерпимо захотелось громко выругаться грязными словами. Или ударить головой о стену, отшвырнуть стол, запустить чернильницей в окно, чтобы хоть как-то — буйством, шумом, болью — заглушить мучительное воспоминание…

Худший враг, подумал он, это собственная нервная система. Внутреннее напряжение всегда норовит себя проявить. Он вспомнил одного прохожего, которого увидел на улице несколько недель назад; вполне заурядный товарищ, член Партии, с портфелем, лет тридцати пяти — сорока, довольно высокий и худой. Когда между ними было несколько метров, у мужчины свело судорогой левую половину лица. А когда они поравнялись, дрожь повторилась: обычная судорога, нервный тик, быстрый, как щелчок фотоаппарата, и, по всей видимости, привычный. Уинстон вспомнил, как подумал тогда: этот бедолага не жилец. Особенно страшно было при мысли, что лицо у него дергалось бессознательно.

Впрочем, самое опасное — разговаривать во сне. От этого никто не застрахован, насколько знал Уинстон.

Он перевел дух и стал писать дальше:

Я вошел за ней в подъезд, мы пересекли прихожую и спустились в подвальную кухню. У стены стояла кровать, на столе едва мерцала керосинка. Женщина…

У него свело челюсти. Хотелось плюнуть. Вместе с этой женщиной он вспомнил Кэтрин, свою жену. Уинстон состоял в браке; во всяком случае, когда-то — но возможно, что и сейчас, поскольку он не получал известий о ее смерти. Он будто снова вдохнул теплый душный смрад подвальной кухни: пахло клопами, нестираной одеждой, паршивыми дешевыми духами — хотя духи и завлекали, потому что партийные женщины ни под каким видом духами не пользовались. Только пролы могли надушиться, и в его сознании запах духов был неразрывно связан с похотью.

До того раза он не был с женщиной года два, если не больше. Разумеется, иметь дело с проститутками не разрешалось, но это было одно из тех правил, которые периодически осмеливались нарушать. Опасно, но не смертельно. Если пой-

мают с проституткой, дадут пять лет лагерей, не больше, при отсутствии других провинностей. А так все было довольно просто — лишь бы не поймали без штанов. Кварталы бедняков кишели женщинами, готовыми продать себя. Можно было купить женщину за бутылку джина, поскольку пролам пить его не полагалось. Партия негласно поощряла проституцию, дававшую выход инстинктам, которые не удавалось полностью подавить. Разврат сам по себе мало кого заботил, пока ему предавались украдкой, с опаской и только с женщинами угнетенного и презираемого класса. Непростительным преступлением считалась внебрачная связь между членами Партии. Во время больших чисток чаще всего признавались как раз в таких преступлениях, но с трудом верилось, что подобное действительно имело место.

Партия не просто стремилась не допустить, чтобы между мужчинами и женщинами возникала близость, с трудом поддающаяся контролю. Тайной, но подлинной целью Партии было искоренить всякое наслаждение от секса. Главным врагом стала не столько любовь, сколько чувственность — хотя бы даже в законном браке. Брак между членами Партии заключался лишь с

одобрения специально назначенного комитета, и (пусть об этом никогда не говорилось вслух) одобрения не давали, если было похоже, что жених с невестой испытывают друг к другу влечение. Считалось, что единственная цель брака — производство детей для Партии. На сексуальный акт смотрели как на некую довольно постыдную и мимолетную процедуру вроде клизмы. Об этом опять же никогда не говорилось прямо, но такое отношение воспитывалось в каждом члене Партии с самого детства. Были даже организации вроде молодежной лиги Антисекс, которые проповедовали полное воздержание для обоих полов. Детей следовало получать путем искусственного оплодотворения (*ископлод* на новоязе) и воспитывать в государственных интернатах. Уинстон понимал, что подобные меры предлагались не вполне всерьез, но сами теории хорошо вписывались в партийную идеологию. Партия старалась уничтожить сексуальное влечение, а если искоренить его полностью не удавалось, то хотя бы извратить и опоганить. Уинстон не понимал, почему так происходило, но это казалось само собой разумеющимся. Впрочем, в отношении женщин усилия Партии не пропали впустую.

Он снова подумал о Кэтрин. Они расстались лет девять или десять… нет, почти одиннадцать лет назад. Странно, как редко он вспоминал ее. Он мог подолгу вообще не помнить, что когда-то был женат. Они прожили вместе чуть больше года. Партия не разрешала разводиться, но если детей не появлялось, то считалось, что супругам надо разойтись.

Кэтрин была высокой блондинкой, очень стройной, с величавыми движениями. Ее лицо, выразительное, с орлиным профилем, можно было считать благородным, но лишь до тех пор, пока не увидишь, что под точеными чертами скрывается поразительная пустота. Уже вскоре после женитьбы Уинстон понял — вероятно, просто потому что узнал Кэтрин ближе большинства людей, — что в жизни не встречал настолько тупого, пошлого и пустого человека. В голове у нее не было ничего, кроме лозунгов, и не существовало настолько кретинской идеи, чтобы она не заглотила ее с подачи Партии. Уинстон придумал ей прозвище — Фонограмма. И все равно он бы смог с ней ужиться, если бы не одно обстоятельство — секс.

Едва он до нее дотрагивался, как Кэтрин вздрагивала и деревенела. Обниматься с ней было все

равно что с куклой на шарнирах. У него возникало странное ощущение, что, даже сжимая его в объятиях, она одновременно всеми силами его отталкивала. Такое впечатление создавали ее окостенелые мышцы. Она лежала с закрытыми глазами, не сопротивляясь и не откликаясь — *подчиняясь*. Поначалу это его обескураживало, потом стало приводить в смятение. Но и тогда он был бы готов жить с ней дальше, если бы они по обоюдному согласию отказались от сексуальной близости. Как ни странно, именно Кэтрин воспротивилась такому повороту. Они должны сделать ребенка, говорила она, если у них только получится. Поэтому спектакль повторялся регулярно, раз в неделю, если им что-нибудь не мешало. В назначенный день она даже напоминала ему об этом с утра, как о некой важной обязанности. У нее было два выражения для обозначения этого действия: «делать ребенка» и «выполнять наш долг перед Партией» (да, она именно так и говорила). Очень скоро он стал испытывать ужас в преддверии назначенного дня. К счастью, ребенка они так и не зачали, и Кэтрин в итоге согласилась прекратить дальнейшие попытки, а вскоре они расстались.

Уинстон беззвучно вздохнул. Он снова взял

ручку и написал:

Женщина разлеглась на кровати и тут же, без какой-либо прелюдии, в бесконечно грубой, похабной манере задрала юбку. Я…

Он увидел себя там, в тусклом свете керосинки, и снова ощутил резкий запах клопов и дешевых духов. Уинстон вспомнил, как в душе его нарастало чувство полного бессилия и обиды, невольно смешиваясь с мыслями о Кэтрин, о ее белом теле, навеки окостеневшем под воздействием гипноза Партии. Почему это всегда должно быть так? Почему у него не может быть своей женщины, и его удел — эти грязные поспешные случки раз в несколько лет? Но настоящую любовь трудно даже вообразить. Все партийные женщины одинаковы. Верность Партии укоренилась в их сознании в виде целомудрия. Природные чувства вытравливали из них с ранних лет тщательно продуманной системой воспитания, играми и обливаниями холодной водой, всяким вздором, которым их пичкали в школе и в организациях вроде Разведчиков и молодежной лиги Антисекс, лекциями, парадами, песнями, лозунгами и военной музыкой. Разум говорил ему, что должны быть исключения, но сердце уже не верило. Все

они были непоколебимы, как того и требовала Партия. Ему хотелось — даже больше, чем любви — сокрушить эту стену целомудрия хотя бы раз в жизни. Полноценный сексуальный акт — это бунт. Вожделение — мыслефелония. Даже если бы ему удалось разбудить в Кэтрин женщину, это стало бы чем-то вроде совращения, хотя она была его женой.

Но надо было завершать историю, и он написал:

Я прибавил огня в лампе. Когда я увидел ее в ярком свете…

После темноты мерцающий огонек керосинки казался очень ярким. Наконец, он как следует рассмотрел женщину. Он шагнул к ней и остановился, переполняемый желанием и ужасом. Он очень болезненно осознал, чем рискует, придя сюда. Вполне возможно, что патрульные арестуют его на выходе — может, уже караулят за дверью. Арестуют, даже если он не сделает того, зачем пришел!..

Надо дописать до конца. Надо сознаться во всем. При свете лампы он вдруг увидел, что женщина *старая*. Макияж лежал на ее лице таким толстым слоем, что казалось, сейчас треснет, точно

маска из папье-маше. Волосы местами поседели, но страшнее всего был рот: когда она его приоткрыла, там не оказалось ничего, кроме гнилой черноты. Эта женщина была совсем беззуба.

Он писал сбивчиво, каракулями:

Когда я увидел ее при свете, она оказалась старухой — ей было лет пятьдесят, не меньше. Но это не остановило меня, и я сделал, что собирался.

Он снова надавил пальцами веки. Он дописал все до конца, но это не помогло. Ему не стало легче. Ему опять безумно захотелось ругаться во всю глотку грязными словами.

VII

Если есть надежда, — написал Уинстон, — *то она в пролах.*

Если есть надежда, то она *должна* быть в пролах. Лишь в этих презренных массах, составляющих восемьдесят пять процентов населения Океании, может когда-нибудь возникнуть сила, способная уничтожить Партию. Партию нельзя разрушить изнутри. Ее враги — если такие имеются — не в состоянии объединиться, они не могут

даже узнать друг о друге. Даже если легендарное Братство существует, что вполне возможно, то его члены никогда не смогут собраться больше чем по двое-трое. Ведь достаточно взгляда в глаза, непривычной интонации, а тем более шепота невзначай, чтобы вас обвинили в бунте. Одним лишь пролам, если бы только они осознали свою силу, не надо было таиться. Им нужно лишь подняться и стряхнуть с себя паразитов, как лошадь стряхивает мух. Стоит им захотеть — и они могли бы разбить Партию вдребезги хоть завтра утром. Должно же рано или поздно прийти им это в голову? Однако же!..

Он вспомнил, как шел по людной улице, и вдруг откуда-то из переулка донесся гул сотен голосов, женских голосов. Это был грозный крик гнева и отчаяния — низкое громкое «О-о-о-о-о-!» гудело и нарастало, словно колокольный звон. Сердце у него подпрыгнуло. Началось, подумал он. Бунт! Пролы, наконец, сорвались с цепи! Он поспешил вперед и увидел толпу из двух-трех сотен женщин у прилавков уличного рынка с такой трагедией на лицах, словно это были обреченные пассажиры тонущего корабля. И тут же общее отчаяние разбилось на сотни отдельных перепалок. Оказалось, что за одним из прилавков

продавали жестяные кастрюли. Жалкого вида, никудышные, но ведь и таких нигде не достать. И вдруг кастрюли кончились. Счастливчики протискивались сквозь толпу, прижимая к себе добычу, пока другие их пихали и шпыняли, а неудачники у прилавка галдели, обвиняя торговца в корыстном умысле, в барышничестве. Где-то закричали с новой силой. Две обрюзгшие бабы — одна с растрепанными волосами — вцепились в кастрюлю и тянули каждая к себе. В результате у кастрюли отлетела ручка. Уинстон смотрел на них с отвращением. И все же, пусть недолго, но какая силища звучала в этом реве, исторгаемом лишь парой сотен глоток! Почему они никогда не кричат так о чем-то действительно важном?

Он написал:

Пока у них не пробудится самосознание, они не восстанут, но самосознание пробудится у них не раньше, чем они восстанут.

Такая формулировка, отметил он про себя, была весьма в духе партийных учебников. Разумеется, Партия утверждает, что освободила пролов от рабства. До Революции их страшно угнетали капиталисты: морили голодом и секли плетьми, женщин заставляли работать в угольных шахтах

(между прочим, женщины и теперь там работали), шестилетних детей продавали на фабрики. В то же время в полном соответствии с принципами двоемыслия Партия учит, что пролы от природы неполноценны и их следует держать в подчинении, как животных, руководствуясь простыми правилами. На самом деле о пролах было известно немного. Но большего и не требовалось. Лишь бы работали и размножались, остальное не имело значения. Их предоставили самим себе, точно домашний скот, бродивший по равнинам Аргентины, и они стали жить в естественной манере по примеру предков. Они рождались и вырастали в трущобах, начинали работать лет в двенадцать, у них был короткий период расцвета и полового влечения — женились в двадцать, к тридцати начинали стареть, а умирали по большей части лет в шестьдесят. Тяжелая физическая работа, заботы о доме и детях, перебранки с соседями, кино и футбол, пиво и, конечно, азартные игры — этим ограничивался круг их интересов. Среди них всегда крутились агенты Мыслеполиции, которые распространяли ложные слухи, выискивали и убирали тех немногих, кто мог представлять какую-то опасность. Пролам никогда не пытались навязать

идеологию Партии — считалось нежелательным развивать их политическое мышление. От пролов требовался лишь примитивный патриотизм, к которому призывали, когда нужно было увеличить продолжительность рабочего дня или снизить нормы выдачи продуктов. И даже когда пролы проявляли недовольство, а они иногда его выражали, это ни к чему не приводило, поскольку у них не было общих идей, и возмущение их не шло дальше личных конфликтов. Большое зло, можно сказать, обходило их стороной — почти ни у кого из пролов не было телеэкранов. Даже гражданская полиция редко вмешивалась в их дела. В Лондоне процветала уголовщина — существовал целый подпольный мир воров, бандитов, проституток, торговцев наркотиками и всевозможных вымогателей; но все это творилось среди самих пролов и потому не имело значения. В вопросах морали им позволяли полагаться на понятия предков. Пуританские доктрины Партии на них не распространялись. Беспорядочные половые связи не влекли за собой наказания, разводы разрешались. Наверное, пролам разрешили бы и религию, если бы они испытывали в ней хоть малейшую потребность или интерес. Пролы были ниже подозрений. Партийный лозунг формули-

ровал это так: «Пролы и животные свободны».

Уинстон нагнулся и осторожно почесал варикозную язву. Она опять зудела. Постоянно он упирался в невозможность узнать, какой на самом деле была жизнь до Революции. Он достал из ящика школьный учебник истории, который одолжил у миссис Парсонс, и принялся переписывать в дневник один из абзацев:

В прежние дни, до нашей славной Революции, Лондон мало походил на прекрасный мегаполис, который мы видим сегодня. То был темный, грязный, жалкий город, где почти никто не ел досыта, где сотни, тысячи бедняков ходили босиком и не имели даже крыши над головой. Детям не старше вас приходилось работать по двенадцать часов в сутки на жестоких хозяев, которые били их ремнем, если они работали слишком медленно, и кормили черствыми корками хлеба с водой. Среди этой страшной нищеты высилось несколько огромных прекрасных домов, где жили богатые люди, за которых все делали по тридцать человек прислуги. Такие богачи назывались капиталистами. Это были жирные уроды со злыми лицами, как на иллюстрации на следующей странице. Вы видите, что капиталист одет в длиннополое черное пальто, которое называлось

«фрак», и в нелепую блестящую шляпу, похожую на печную трубу, — она называлась «цилиндр». Такой была форма капиталистов, и никому больше не разрешалось носить ее. Капиталистам принадлежало все на земле, а все остальные люди были рабами. Капиталистам принадлежала вся земля, все дома, все заводы и все деньги. Если кто-нибудь им не подчинялся, они могли бросить его в тюрьму или лишить работы и обречь на голодную смерть. Если простой человек заговаривал с капиталистом, он должен был кланяться и кивать, снимать кепку и говорить «сэр». Самый главный капиталист назывался королем, и…

Все остальное он уже знал. Будут упомянуты епископы с батистовыми рукавами, судьи в горностаевых мантиях, позорный столб, ценные бумаги, отупляющий однообразный труд, плетка-девятихвостка, приемы у лорда-мэра Лондона, а также ритуал целования туфли Папы Римского. Существовал еще обычай *jus primae noctis* (право первой ночи), но, возможно, об этом не станут писать в учебнике для детей. Это право позволяло капиталисту спать с любой женщиной, работающей на его заводе.

Как же узнать, что из всего этого неправда? Может, средний человек теперь *действительно*

живет лучше, чем до Революции? Единственный контраргумент — это немой протест твоих костей, инстинктивное чувство, что условия твоей жизни невыносимы и что когда-то, наверное, все было иначе. Он подумал, что главная особенность современной жизни — не жестокость и неуверенность в завтрашнем дне, а пустота, серость и апатия. Реальная жизнь не только не имеет ничего общего с потоками лжи, льющимися с телеэкранов, но и с теми идеалами, которые провозглашает Партия. Огромная часть жизни даже у партийцев однообразна и не связана с политикой: надо корпеть на скучной работе, толкаться за место в подземке, штопать рваные носки, выпрашивать таблетку сахарина, беречь каждый окурок. Идеал, провозглашаемый Партией, рисует нечто колоссальное, грозное и лучезарное — этакий мир из стали и бетона, мир чудовищных машин и ужасающего оружия, страну воинов и фанатиков, марширующих стройными рядами, одинаково мыслящих, одинаково кричащих лозунги, неустанно работающих, сражающихся, торжествующих и искореняющих врагов — триста миллионов людей, и все на одно лицо. А реальность — это вымирающие грязные города, в которых по улицам бродят полуголодные люди

в дырявых ботинках. Они живут в ветхих домах, которые построили в девятнадцатом веке, и за годы они насквозь провоняли капустой и неисправными уборными. Ему представился Лондон — огромный разрушенный город, целое море мусорных ящиков, и почему-то вспомнилась миссис Парсонс — морщинистая, всклокоченная, беспомощно стоящая у засоренной раковины.

Уинстон снова нагнулся и почесал лодыжку. Днем и ночью телеэкран забивает уши цифрами, доказывая, что сегодня люди лучше обеспечены едой и одеждой, лучше отдыхают, живут в лучших домах и значительно дольше, работают меньше, что они выше ростом, здоровее, сильнее, счастливее, умнее, образованнее, чем пятьдесят лет назад. Ничего тут нельзя ни доказать, ни опровергнуть. К примеру, Партия утверждает, что сегодня сорок процентов взрослых пролов умеет читать и писать, тогда как до Революции грамотных среди них было всего лишь пятнадцать процентов. Партия утверждает, что детская смертность составляет теперь лишь сто шестьдесят на тысячу, а до Революции — триста, и так далее. Это напоминало уравнение с двумя неизвестными. Очень может быть, что буквально каждое слово в учебниках истории — даже все то,

что никто не ставит под сомнение — это чистый вымысел. Как знать, может, и не было никакого *jus primae noctis*, или такого существа, как капиталист, или такого головного убора, как цилиндр.

Все расплывалось в тумане. Прошлое было подчищено, о подчистках забыли, и ложь стала правдой. Только раз в жизни Уинстон располагал конкретным, неоспоримым свидетельством фальсификации прошлого, причем *задним числом* — в этом вся суть. Он держал его в руках не меньше полминуты. Это было около 1973 года — примерно тогда же он расстался с Кэтрин. Впрочем, фальсификация произошла на семь-восемь лет раньше.

Вся эта история началась в середине шестидесятых годов во время больших чисток, в которых разом сгинули все настоящие вожди Революции. К 1970 году никого из них, кроме Большого Брата, уже не осталось. Всех остальных успели разоблачить как предателей и контрреволюционеров. Голдштейн бежал и скрывался неведомо где, что же до остальных, то кто-то просто исчез, а большинство казнили после эффектных публичных процессов, на которых они признались в совершенных преступлениях. Дольше других оставались в живых Джонс, Аронсон и Рузер-

форд. Их арестовали году в 1965-м. Как это часто бывало, они исчезли на год-полтора, и никто не знал, живы они или нет. Затем они возникли из небытия и, как полагалось, облили себя грязью. Они признались, что шпионили в пользу противника (противником в то время, как и сейчас, была Евразия), признались, что виновны в растратах государственных средств и в убийствах видных членов Партии, признались, что плели заговоры против Большого Брата, причем еще задолго до Революции, признались в актах саботажа, повлекших за собой смерть сотен тысяч людей. После всех этих признаний их простили, восстановили в Партии и назначили на, казалось бы, важные посты, которые на деле были лишь синекурой. Все трое выступили с пространными покаянными статьями в «Таймс», анализируя причины своего падения и обещая искупить вину.

Вскоре после их освобождения Уинстон случайно увидел всех троих в кафе «Под каштаном». Он наблюдал за ними украдкой, в каком-то зачарованном ужасе. Все они были гораздо старше его — реликты древнего мира, едва ли не последние крупные фигуры героического прошлого Партии. Над ними еще витал романтический дух

подпольной борьбы и гражданской войны. Ему казалось (хотя уже в то время факты и даты начали расплываться в тумане), что он услышал их имена на много лет раньше, чем имя Большого Брата. И тем не менее они были теперь вне закона — врагами, неприкасаемыми, несомненно обреченными на смерть через год-другой. Еще никому, попавшему в руки Мыслеполиции, не удавалось избежать такого конца. Они были трупами, ожидавшими, пока их уложат в могилу.

Никто не садился за соседние столики. Неразумно было показываться в такой компании. Они сидели молча, перед ними стояли стаканы джина с гвоздикой — местного фирменного напитка. Наибольшее впечатление на Уинстона произвел Рузерфорд. Когда-то он был знаменитым карикатуристом, чьи безжалостные рисунки помогали Партии возбуждать общественное мнение до и во время Революции. Даже теперь его карикатуры иногда появлялись в «Таймс». Но это была не более чем имитация его прежней манеры, неубедительная и пресная. Он все время перепевал старые темы: трущобные дома, голодные дети, уличные драки, капиталисты в цилиндрах — даже на баррикадах они упорно держались за свои цилиндры — бесконечные и безнадеж-

ные попытки вернуться в прошлое. Рузерфорд выглядел страшно: копна немытых седых волос, обрюзгшее, изборожденное морщинами лицо, толстые негроидные губы. Должно быть, когда-то он обладал недюжинной силой; теперь же все его тело обвисло, согнулось, раздулось и разрушалось со всех сторон. Казалось, он рассыпался на глазах, точно крошащаяся скала.

Было пятнадцать часов. Тихое безлюдное время. Уинстон уже не мог припомнить, как он оказался в кафе в такой час. Посетителей было мало. Из телеэкранов звучала отрывистая музыка. Эти трое молча сидели в своем углу, почти не шевелясь. Официант приносил им одну за другой порции джина. На соседнем столике стояла шахматная доска с расставленными фигурами, но никто не играл. А потом что-то случилось с телеэкранами и продолжалось примерно полминуты. Мелодия, строй музыки изменились, и зазвучал… даже трудно описать словами. Такой причудливый, надтреснутый, визгливый и глумливый тон — Уинстон назвал его про себя бульварным. Голос запел:

Под развесистым каштаном
Продали средь бела дня:

Я – тебя, а ты – меня.
Под развесистым каштаном
Мы лежим средь бела дня:
Справа ты, а слева я [3].

Эти трое даже не шевельнулись. Но когда Уинстон снова взглянул на Рузерфорда, он увидел, что глаза его полны слез. И тогда он с внутренним содроганием заметил — хотя и не понял, *отчего* содрогается, — что носы у Аронсона и Рузерфорда перебиты.

Вскоре всех троих опять арестовали. Оказалось, что со дня освобождения они опять участвовали в заговорах. Во время второго процесса они еще раз признались во всех своих старых преступлениях, а также во множестве новых. Их казнили, и судьбу их запечатлели в истории Партии в назидание потомкам. А лет через пять, в 1973 году, Уинстон, разворачивая на рабочем столе пачку документов, выброшенных по пневматической трубке, наткнулся на обрывок газеты, который, видимо, сунули не туда и забыли. Развернув обрывок, он сразу понял, какое важное вещественное доказательство попало ему в руки. Он держал в руках

---

[3] Примечания: 3
Здесь и далее стихи в переводе Елены Кассировой.

полстраницы «Таймс» десятилетней давности. Это была верхняя половина страницы, с датой, и на ней располагалась фотография делегатов каких-то партийных торжеств в Нью-Йорке. В середине группы выделялись Джонс, Аронсон и Рузерфорд. Их сразу можно было узнать, к тому же под фотографией были проставлены имена.

А ведь на обоих процессах все трое признались, что в тот день они находились в Евразии. Их доставили с секретного аэродрома в Канаде куда-то в Сибирь, на *рандеву* с представителями Генерального штаба Евразии, где они выдали важнейшие военные сведения. Уинстон хорошо запомнил дату, так как она пришлась на день летнего солнцестояния; тем более что вся эта история получила широкую огласку во множестве изданий. Единственное объяснение такого совпадения состояло в том, что признания на процессах были ложью.

Конечно, само по себе это не было открытием. Уже тогда Уинстон не думал, что люди, исчезавшие в чистках, действительно совершали вменяемые им преступления. Но здесь имелось конкретное вещественное доказательство — осколок переписанного прошлого, вроде ископаемой кости, найденной не в подходящем

пласте и рушащей геологическую теорию. Этого было достаточно, чтобы разбить Партию вдребезги, если бы, конечно, удалось донести это открытие до всеобщего сведения и разъяснить его значение.

Не мешкая, Уинстон взялся за дело. Едва увидев фотографию, он понял, что она собой представляет, и прикрыл ее листком бумаги. К счастью, когда он раскрыл газету, фотография оказалась перевернутой по отношению к телеэкрану.

Положив блокнот на колено, он отодвинулся со стулом как можно дальше от телеэкрана. Нетрудно было сохранить невозмутимое выражение лица; если очень постараться, можно управлять и дыханием, нельзя лишь регулировать стук сердца, хотя теле-экраны могли засечь и это. Он просидел так, вероятно, минут десять, умирая от страха, что какая-нибудь случайность — хотя бы внезапный сквозняк — выдаст его. В итоге, не открывая больше фотографию, он сунул ее вместе с ненужными бумагами в провал памяти. Не прошло, наверное, и минуты, как она сгорела дотла.

Все это случилось лет десять-одиннадцать назад. Сегодня он, возможно, оставил бы фотографию у себя. Но даже сейчас, когда и сама фотография, и запечатленное на ней событие

остались только в его памяти, ему казалось, что уже факт ее прошлого существования что-то менял. Хотя, подумал он, разве на самом деле контроль Партии над прошлым слабеет, если вещественное доказательство, которого больше нет, *когда-то* существовало?

Нет, сегодня эта фотография уже ничего не доказывала, даже если бы ее удалось как-то воссоздать из пепла. Когда он сделал свое открытие, Океания уже не воевала с Евразией и три мертвеца должны были бы предавать свою родину агентам Остазии. Кроме того, с тех пор их уже обвинили совершенно в другом. Два, три новых доказательства вины — он не помнил, сколько именно. Наверняка их признания уже много раз переписывали, и теперь первоначальные даты не имели никакого значения. Прошлое не просто менялось, оно менялось непрерывно. Самым кошмарным было то, что он никак не мог понять: *зачем* совершался весь этот масштабный обман? Сиюминутные преимущества фальсификации были вполне очевидны, но конечная цель оставалась загадкой. Он снова взял ручку и написал:

Я понимаю, КАК это делают, но не понимаю — ЗАЧЕМ.

А может, думал он уже не в первый раз, я сошел с ума? Может, это сумасшествие — быть одному против всех? Некогда безумством считалась вера в то, что Земля вращается вокруг Солнца, сегодня — вера в то, что прошлое неизменно. Вероятно, Уинстон *один* верит в это, а раз так, то он сумасшедший. Но его не очень это волновало, он боялся другого — вдруг он все-таки ошибается?

Он взял учебник истории и взглянул на портрет Большого Брата на фронтисписе. На него взирали гипнотизирующие глаза. Казалось, какая-то страшная сила сминает тебя, проникает в черепную коробку, давит на мозг и так запугивает, что ты отказываешься от всех убеждений, не доверяешь собственным чувствам. В конце концов Партия объявит: дважды два — пять, и в это придется поверить. Рано или поздно так и будет — вся их политическая логика требовала такого поступка. Ведь партийная философия отрицает не только важность опыта, но и саму реальность внешнего мира. Здравый смысл — вот ересь из ересей. А самое ужасное не то, что тебя убьют за инакомыслие, а возможность их правоты! В конце концов, а откуда мы знаем, что дважды два — четыре? Откуда мы знаем, что существует сила тяжести? Откуда мы знаем, что прошлое

неизменно? А если и прошлое, и внешний мир существуют лишь в нашем сознании и наш разум можно контролировать — что тогда?

Но нет! Он почувствовал внезапный и самовольный прилив мужества. Непонятно почему, перед глазами всплыло лицо О'Брайена. Теперь он был абсолютно убежден, что О'Брайен с ним на одной стороне. Он вел дневник для О'Брайена, именно ему и *адресовал*. Это было бесконечное письмо, которое никто никогда не прочитает, но его адресовали конкретному человеку и придали этим определенную тональность.

Партия приказывает не верить своим глазам и ушам. Это ее главный, самый важный приказ. Сердце Уинстона упало, когда он подумал, какая гигантская силища противостоит ему, с какой легкостью любой партийный идеолог побьет его в споре, какие тонкие аргументы ему выдвинут, вещи, которых он даже не сможет понять, тем более опровергнуть. Однако правда была на его стороне! Прав был он, а не они. Простые, несмышленые, правдивые нуждаются в защите. Простые истины верны — вот за что надо держаться! Есть незыблемый мир, и законы его неизменны. Камень твердый, вода мокрая, предметы, которые ничто не удерживает, притягиваются к центру

Земли. Проникшись чувством, что он обращается к О'Брайену и утверждает важную аксиому, Уинстон написал:

Свобода — это свобода утверждать, что дважды два — четыре. Если это дано, все остальное следует из этого.

VIII

Откуда-то издали повеяло жарящимся кофе — настоящим, а не кофе «Победа», — и запах его поплыл по улице. Уинстон невольно остановился. На пару секунд он вернулся в полузабытый мир детства. Затем хлопнула дверь, и запах сразу пропал, словно выключили музыку.

Уинстон прошел по улицам уже несколько километров, и варикозная язва начала зудеть. Второй раз за три недели он пропускал вечер в Центре досуга — это было опрометчиво, ведь все посещения, вне всяких сомнений, учитывались. Член Партии в принципе не имел своего личного времени и никогда не бывал один, кроме как в постели. Считалось, что если он не работает, не ест и не спит, то должен участвовать в каком-нибудь общественном досуге; а заниматься чем-либо, намекающим на склонность к одиночеству, да-

же гулять одному, всегда было рискованно. На новоязе для этого имелось слово *саможит*, означавшее индивидуализм и эксцентричность. Но этим вечером, выходя из министерства, Уинстон поддался чарам апреля. Никогда еще за этот год он не видел неба настолько нежно-голубого — и неожиданно мысль о долгом шумном вечере в Центре досуга, о скучных, утомительных играх и лекциях, о скрипучем панибратстве, смазанном джином, показалась ему невыносимой. Поддавшись порыву, он повернул в сторону от автобусной остановки и углубился в лабиринт лондонских улиц: сперва на юг, потом на восток и обратно на север — вскоре он затерялся в незнакомом районе и шагал куда глаза глядят.

«*Если есть надежда*, — записал он в дневнике, — *то она в пролах*».

Ему то и дело вспоминались эти слова, вроде некой мистической истины, очевидно абсурдной. Он оказался в каких-то неприметных бурых трущобах к северо-востоку от бывшего вокзала Сент-Панкрас. Уинстон шел по булыжной мостовой на улице, застроенной двухэтажными домишками с обшарпанными подъездами, которые выходили прямо на тротуар и странным образом напоминали крысиные норы. На дороге

повсюду виднелись грязные лужи. Кругом кишмя кишели люди — шныряли по темным подъездам, мельтешили в узких переулках по обе-им сторонам: девушки в самом соку с ярко накрашенными губами, юнцы, донимавшие их, тучные степенные матроны, сами бывшие девушками лет десять назад, согбенные старухи, косолапо шаркавшие по булыжникам, и босые оборвыши, игравшие в лужах и бросавшиеся врассыпную от сердитых окриков матерей. Примерно четверть окон на улице была выбита и заколочена. На Уинстона почти никто не обращал внимания, но кое-кто провожал опасливыми взглядами. У подъезда вели беседу две здоровые бабы, сложив на груди красно-кирпичные руки. Уинстон расслышал обрывок разговора.

— Да уж, грю ей, эт каешн хорошо, тока, слышь, была б ты на моем месте, ты бы сделала то же. Поучать-то легко, тока, грю ей, у тебя-то моих проблем нету.

— То-то и оно, — сказала ей другая. — В том-то и всешнее дело.

Грубые голоса резко смолкли. Бабы зыркали на Уинстона молча и враждебно, пока он не прошел мимо. Даже не столько враждебно, сколько настороженно, как смотрят на редкого зверя. Едва ли

на такой улице часто видели синий комбинезон партийца. Бывать здесь без особой причины не стоило. Можно наткнуться на патруль, и тогда начнется: «Товарищ, можно ваши документы? Что вы здесь делаете? В какое время ушли с работы? Вы всегда так ходите домой?» и т. д., и т. п. Не то чтобы закон запрещал возвращаться домой разными маршрутами, но если о таком узнают, Мыслеполиция возьмет тебя на заметку.

Вдруг вся улица всполошилась. Со всех сторон тревожно закричали. Люди, точно кролики, стали шмыгать по дверям. Из подъезда чуть впереди Уинстона выскочила молодая женщина, запихнула в фартук игравшую в луже девочку и метнулась с ней обратно. В тот же миг из переулка выбежал мужик в смятом гармошкой черном костюме и завопил Уинстону, тыча в небо.

— Пароход! Гля, начальник! Башку пригни! Давай, ложись!

«Пароходами» пролы почему-то называли бомбы с ракетным ускорителем. Уинстон распластался лицом вниз. Пролы редко ошибались в таких вещах. У них словно развился инстинкт, сообщавший им за несколько секунд, когда падала бомба, хотя считалось, что бомбы с ракетным ускорителем летят быстрее звука. Уинстон при-

крыл голову руками. Раздался грохот, от которого задрожали булыжники; спину ему забросало градом мелкого мусора. Поднявшись на ноги, он увидел, что обсыпан осколками от ближайшего окна.

Он пошел дальше. Бомба взорвала несколько домов в двух сотнях метров впереди. В небе висели черные клубы дыма, а под ними облако известки, в котором уже собиралась толпа, обступая развалины. На тротуаре возвышалась груда штукатурки, и в середине ее что-то краснело. Подойдя ближе, Уинстон разглядел оторванную человеческую кисть. Не считая кровавого обрубка, кисть была совершенно белой, точно гипсовый слепок.

Он отпихнул ее в канаву, а затем повернул направо в переулок, чтобы обойти толпу. Через три-четыре минуты он вышел из квартала, пострадавшего от взрыва, — здесь кишела обычная уличная жизнь, словно ничего такого не случилось. Было почти двадцать часов, и питейные заведения пролов (так называемые «пабы») ломились от посетителей. Засаленные распашные дверцы то и дело открывались-закрывались, обдавая улицу запахом мочи, опилок и скисшего пива. В углу возле выступавшего фасада стояли

нос к носу трое мужчин: тип посередине держал сложенную газету, а двое других заглядывали в нее по бокам. Еще не успев различить выражения лиц, Уинстон понял по их застывшим фигурам, что они чем-то полностью поглощены. Очевидно, читали какую-то важную новость. Он миновал их на несколько шагов, когда вдруг троица распалась, и двое мужчин начали яростно спорить. Казалось, они вот-вот подерутся.

— Да слышь, балда, чо те грят! Ни один номер с семеркой на конце не выигрывал уже четырнадцать с лихером месяцев!

— А вот и выигрывал!

— А вот и нет! У меня дома все, что были за два года, на бумажке начирканы. Я за ними, как охотничий пес, слежу. И грю, што ни один номер с семеркой…

– *Выигрывала* семерка! Ща те весь чертов номер назову. На конце четыре-нуль-семь. Это был февраль… вторая неделя.

— Отфевраль свою бабушку! У меня все записано черным по белому. И грю, ни один номер…

— Ай, да хорош уже! — сказал третий.

Они говорили о Лотерее. Пройдя тридцать метров, Уинстон оглянулся. Они все еще спорили, оживленно, запальчиво. Лотерея каждую

неделю разыгрывала огромные призы и была единственным общественным событием, всерьез волновавшим пролов. Вероятно, для миллионов из них лотерея стала главным, если не единственным делом жизни, их усладой, забавой, утешением, их умственным возбудителем. В лотерейных делах даже малограмотные пролы проявляли чудеса сложных вычислений и запоминали немыслимые объемы информации. Существовал целый клан, который кормился единственно продажей схем, прогнозов и амулетов на удачу. Уинстон не имел отношения к проведению лотереи, находившейся в ведении Министерства изобилия, но он знал (вообще-то как и все партийцы), что большинство выигрышей — это блеф. В реальности выдавали на руки только мелкие суммы, а крупные призы доставались исключительно вымышленным личностям. При отсутствии надежного сообщения между различными частями Океании проворачивать такое не составляло труда.

Но если есть надежда, то на пролов. За эту идею нужно держаться. На словах фраза казалась разумной; но она требовала подвига веры, когда ты видел настоящих пролов во плоти. Уинстон шел по улице под уклон. У него возникло ощу-

щение, что он уже здесь был и где-то неподалеку пролегает главный проспект. Впереди слышался шум и гам. Улица резко повернула и закончилась ступеньками, которые спускались в утопленную аллею, где несколько лоточников продавали чахлые овощи. И тогда Уинстон сообразил, где находится. Аллея выходила на главную улицу, а за следующим поворотом — от силы пять минут пешком — находилась та самая лавка старьевщика, где он приобрел тетрадь большого формата, ставшую его дневником. А в канцелярском магазинчике неподалеку он купил перьевую ручку и чернила.

Он чуть помедлил на верхней ступеньке. На другой стороне аллеи виднелся закопченный паб с такими пыльными окнами, что они казались покрытыми морозными узорами. Древний старик, сутулый, но шустрый, с белыми усами, торчавшими вперед, как у рака, подошел к пабу и скрылся внутри, толкнув распашную дверь. При виде него Уинстон подумал, что старик, которому должно быть не меньше восьмидесяти, застал Революцию уже в зрелых годах. Он был одним из тех немногих, кто являл собой последнее звено между сегодняшним днем и исчезнувшим миром капитализма. В самой Партии почти не осталось

людей, чьи взгляды сложились до Революции. Едва ли не все старшее поколение сгинуло в больших чистках пятидесятых и шестидесятых, а немногих уцелевших давно запугали и заставили отказаться от всех своих убеждений. Если есть еще человек, способный рассказать правду об условиях жизни в начале века, то только среди пролов. Уинстон вдруг вспомнил абзац из учебника истории, который он переписал в дневник, и его захватила безумная идея. Он войдет в паб, завяжет знакомство со стариком и как следует расспросит его. Он попросит: «Расскажите о времени, когда вы были мальчишкой. Какая тогда была жизнь? Легче тогда было, чем сейчас, или труднее?»

Он поспешно спустился по ступенькам, словно обгоняя собственный страх, и в несколько шагов оказался перед пабом. Что и говорить, он спятил. Опять же никакого конкретного запрета на разговоры с пролами не существовало, как и запрета на посещение пабов, но такой поступок слишком необычен, чтобы пройти незамеченным. Если появится патруль, Уинстон сможет притвориться, что ему стало плохо, но они едва ли поверят ему. Он толкнул дверь, и в нос ему шибанул жуткий запах скисшего пива. Когда он вошел, голоса

стали как минимум в два раза тише. Он спиной чуял, как все уставились на его синий комбинезон. Игра в дротики у дальней стены прервалась, должно быть, на полминуты. Нужный ему старик стоял у бара и препирался о чем-то с барменом — крупным дородным детиной с крючковатым носом и огромными ручищами. Стоявшие вокруг со стаканами в руках люди пялились на них.

— Я тя человечьим языком спросил или как? — сердился старик, воинственно расправив плечи. — Ты гришь, в твоем треклятом кабаке не найдется пинтовой кружки?

— Что еще за чертовщина — пинтовая кружка? — спросил бармен, упираясь о стойку кончиками пальцев и нависая над стариком.

— Ты поглянь на него! Еще барменом называется, а пинту не видал! Пинта же — это полкварты, а четыре кварты — вот тебе галлон. Может, тя еще азбуке учить?

— Никогда не слыхал, — отрезал бармен. — Наливаем литр и поллитру — и все. Стаканы вона на полке перед носом.

— А мне давай пинту, — не унимался старик. — Авось нацедишь, не переломисся. В моей молодости не было никаких паршивых литров.

— В твоей молодости мы ваще все жили на де-

ревьях, — сказал бармен, оглядывая остальных.

Все захохотали, и неловкость при появлении Уинстона, похоже, прошла. Лицо старика под белой щетиной порозовело. Он развернулся, что-то бормоча, и наткнулся на Уинстона. Уинстон мягко подхватил его под руку.

— Можно угостить вас? — спросил он.

— Вы жынтльмен, — сказал старик, снова расправив плечи и, кажется, не обращая внимания на синий комбинезон. — Пинту! — крикнул он бармену. — Пинту тычка.

Бармен сполоснул два толстых пол-литровых стакана в бочонке под стойкой и налил в них темного пива. Кроме пива в пабах ничего не подавали. Пролам джин не полагался, хотя добыть его было несложно. Игра в дротики снова пошла полным ходом, а группа за стойкой продолжила обсуждать лотерейные билеты. Про Уинстона ненадолго забыли. У окна стоял сосновый стол, за которым можно было побеседовать со стариком, не привлекая постороннего внимания. Уинстон понимал, как ужасно рискует, но здесь, во всяком случае, не было телеэкрана — это он отметил сразу, как только вошел.

— Он же ж мог бы нацедить мне пинту, — проворчал старик, усаживаясь перед стаканом. —

Пол-литра мне маловато. Ни то ни се. А цельный литр — многовато. Ссать замучаешься. Не говоря о цене.

— Наверное, вы много повидали перемен со времен вашей молодости, — осторожно начал Уинстон.

Бледно-голубые глаза старика взглянули на мишень для дротиков, потом переместились на бар, а оттуда на дверь в туалет, словно рассчитывая отыскать перемены прямо здесь, в пабе.

— Пивас был лучше, — сказал, наконец, старик. — И дешевше! В моей молодости мягкий пивас — мы называли его «тычок» — был по четыре пенса за пинту. Это еще до войны, кнешно.

— А какой войны? — уточнил Уинстон.

— Да эти войны вечны, — расплывчато произнес старик и поднял стакан, снова распрямившись. — За ваше наилучшайшее здравие!

Острый кадык на его тощей шее заходил ходуном — и пива как не бывало. Уинстон сходил к барной стойке и принес еще два пол-литровых стакана. Старик, похоже, забыл о своем предубеждении против целого литра.

— Вы намного старше меня, — продолжил Уинстон. — Наверное, вы уже были взрослым, когда я родился. Вы можете вспомнить, какой

была жизнь в прежние времена, до Революции. Мои ровесники на самом деле ничего не знают о том времени. Мы можем о нем только в книгах читать, а кто их знает, что там правда. Мне бы хотелось узнать, что вы думаете. Книги по истории говорят, что до Революции жизнь была совершенно другой. Народ ужасно угнетали, кругом несправедливость, нищета — хуже, чем можно представить. В самом Лондоне большинство людей жили впроголодь с рождения до смерти. Каждый второй ходил босиком. Работали по двенадцать часов, школу бросали в девять лет, спали по десять человек в комнате. И при этом всего несколько тысяч капиталистов, как их называли, обладали деньгами и властью. Они владели всем, чем только можно. Жили в огромных роскошных домах с тридцатью слугами, разъезжали в автомобилях и каретах с четверкой лошадей, пили шампанское, носили цилиндры…

Старик вдруг просиял.

— Цилиндры! — сказал он. — Занятно, шо ты вспомнил их. Только вчерась о них думал — сам не знаю, с чего. Просто в голову стукнуло: скока лет уже цилиндров не видал. Совсем из моды вышли. Последний раз я его надевал на невесткины похороны. А это было… точно даже не скажу, но

лет уж писят прошло. Я-то, кнешно, брал напрокат, сам понимашь.

— Цилиндры — это не так уж важно, — терпеливо сказал Уинстон. — Суть в том, что капиталисты эти вместе с кучкой адвокатов, священников и прочих, кто от них кормился, являлись властелинами земли. Все было для их блага. Вы — рядовые люди, трудяги — были их рабами. Они что угодно могли с вами сделать. Могли переправить в Канаду, как скот. Могли, если захотят, спать с вашими дочерями. Могли приказать, чтобы вас выдрали какой-то кошкой-девятихвосткой. Вам приходилось снимать кепку, когда вы их встречали. Каждый капиталист ходил со сворой лакеев, которые…

Старик снова просветлел лицом.

— Лакеи! — протянул он. — Вот уж ентого словечка я сто лет не слышал. Лакеи! Прямо молодость вспомнил, чесслово. Помню, как-то… ой, при царе горохе… я, бывало, захаживал на прогулку в Гайд-парк по воскресеньям, послушать, как речи толкают. Кого там тока не было: Армия спасения, римокатолики, евреи, индусы. И был один такой… как звали, даже не скажу, но до того язык подвешен. Уж как он их чихвостил! «Лакеи! — грит. — Лакеи буржуазии! Приспешники

правящего класса!» Паразиты — тож прибавлял. И гиены — точно, гиенами их называл. Это все, яссдело, про лейбористов, сам понимашь.

Уинстон почувствовал, что они говорят каждый о своем.

— Я на самом деле вот что хотел знать, — сказал он. — Вы чувствуете, что сейчас у вас больше свободы, чем в те времена? С вами обращаются более человеческим образом? В прежние времена богачи, люди у власти…

— Палата лордов, — припомнил старик.

— Палата лордов, если угодно. Я спрашиваю, могли эти люди относиться к вам свысока просто потому, что они были богатыми, а вы — бедным? Было такое, к примеру, что вы должны были говорить им «сэр» и снимать кепку при встрече?

Старик, похоже, глубоко задумался. Он отпил около четверти стакана, прежде чем ответил.

— Да, — сказал он. — Им нравилось, шобы при них кепки касались. Вроде как из уважения. Сам я этого не признавал, но нередко делал. Приходилось, можн сказать.

— А было принято — я говорю только о том, что прочитал в книжках по истории, — было ли принято у этих людей и их слуг сталкивать вас с тротуара в канаву?

— Один такой типчик раз толканул меня, — сказал старик. — Помню, как вчера. Был вечер после гребных гонок — ужас, как они буянили после этих гонок, — и я налетел на такого молодчика на Шафтсбери-авеню. Весь уж такенный жентльмен: сорочка, цилиндр, черное пальто. Шел галсами по тротуару, и я налетел на него, ну, ненарочно. Он грит: «Не видишь, что ли, куда идешь?» Я грю: «А ты чо, купил, что ли, панель?» Он грит: «Будешь умничать, башку твою нахрен отверну». Я грю: «Наклюкался. Я тя, грю, вмиг в полицию сдам». И, веришь ли, берет он меня так за грудь, да как толканет — чуть под автобус не отбросил. Ну, я был тогда молодой, хотел ему навесить, да тока…

Уинстон почувствовал себя беспомощным. Память старика представляла собой лишь свалку никчемных подробностей. Можно расспрашивать его хоть целый день — и не добьешься никакой реальной информации. Может, в партийной истории и есть своя правда; а может, там все правда. Он сделал последнюю попытку.

— Возможно, я неясно выражаюсь, — сказал он. — Я вот что пытаюсь узнать. Вы так долго ходите по свету; вы полжизни прожили до Революции. К примеру, вы были уже взрослым в

двадцать пятом году. Можете вы сказать из того, что помните, была ли жизнь в двадцать пятом году лучше или хуже, чем сейчас? Если бы вы могли выбирать, то предпочли бы жить тогда или сейчас?

Старик задумчиво посмотрел на мишень для дротиков. Он допил пиво еще медленней, чем прежде. И заговорил с такой философской размеренностью, словно пиво размягчило его.

— Я знаю, чего ты хошь услышать, — сказал старик. — Ты ждешь, что я захочу вернуть молодость. Спроси людей — большинство скажет, что хочут. У молодых и здоровье, и сила. А доживешь до моих годков, здоровья уж никакого. Я с ногами страх как мучаюсь, и мочевой пузырь — караул. Шесть-семь раз за ночь встаю. С другой стороны, и у старости ессь радости. Прежние заботы не волнуют. С бабами морочиться не надо — это большое дело. У меня уж годков тридцать бабы не было — веришь? И не хочется, что главное.

Уинстон откинулся на подоконник. Продолжать не имело смысла. Он собирался взять еще пива, но старик вдруг поднялся и поспешно зашаркал через паб в вонючую уборную. Лишние пол-литра сделали свое дело. Уинстон посидел минуту-другую, уставившись на свой пустой

стакан, а потом ноги словно сами его вынесли на улицу. Пройдет от силы лет двадцать, размышлял он, и такой важный и простой вопрос: «Была ли жизнь до Революции лучше, чем сейчас?» раз и навсегда станет безответным. По сути, он и сейчас уже безответен, ведь немногие выжившие представители древнего мира не в состоянии сравнить прошлое с настоящим. Они помнят миллион никчемных мелочей: ссору с коллегой, поиски велосипедного насоса, лицо давно умершей сестры, пыльные вихри ветреным утром семьдесят лет назад — и не в состоянии увидеть значительных фактов. Они как муравьи, которые видят мелкие объекты и не замечают крупные. А если память отказала и письменные свидетельства фальсифицированы, приходится принимать утверждение Партии, что она улучшила условия жизни людей, потому что нет и никогда уже не будет никакого эталона, чтобы это проверить.

Неожиданно размышления его прервались. Он остановился и поднял взгляд. Уинстон стоял на узкой улице, где между жилых домов втиснулось несколько темных лавочек. А прямо у него над головой висели три облезлых металлических шара, которые когда-то, вероятно, были позолоченными. Это место показалось ему знакомым.

Ну, конечно! Он стоял перед лавкой старьевщика, где купил дневник.

На него накатил страх. Покупка тетради была поступком опрометчивым, и он поклялся никогда больше сюда не возвращаться. Однако же, едва он погрузился в свои мысли, ноги сами принесли его сюда. Он и решил вести дневник как раз в надежде уберечься от таких самоубийственных порывов. Тут он заметил, что лавка еще открыта, хотя был почти двадцать один час. Подумав, что слоняться по тротуару будет рискованней, чем находиться внутри, он вошел. Если станут допрашивать, то он скажет, не покривив душой, что искал лезвия.

Хозяин только что зажег висячую масляную лампу, дававшую чадный, но приятный запах. Это был человек лет шестидесяти, щуплый и сутулый, с длинным добродушным носом и кроткими глазами, искаженными толстыми линзами очков. Волосы у него поседели почти добела, но кустистые брови оставались черными. Очки, добрая суетливость и старомодный пиджак из черного бархата сообщали ему интеллигентный вид, словно перед Уинстоном стоял литератор или, возможно, музыкант. Голос у него был мягкий, как бы увядший, и он не коверкал слова, как

большинство пролов.

— Я вас узнал на тротуаре, — сказал он сразу. — Вы джентльмен, который купил дамский подарочный альбом. Прекрасная бумага, что и говорить. «Кремовая верже», так ее называли. Такой бумаги не делают уже… да, лет пятьдесят, смею сказать. — Он взглянул на Уинстона поверх очков. — Я могу быть вам полезен чем-то особенным? Или вы просто хотели посмотреть?

— Шел мимо, — уклончиво ответил Уинстон. — Просто заглянул. Не ищу ничего конкретного.

— Тем лучше, — откликнулся старьевщик, — потому что я вряд ли смог бы удовлетворить ваши запросы. — Он выставил мягкую ладонь, как бы извиняясь. — Сами видите: можно сказать, пустой магазин. Между нами говоря, торговля антиквариатом почти иссякла. Спросу нет, да и предложить нечего. Мебель, фарфор, стекло — все мало-помалу перебилось. А металлические изделия почти все, разумеется, переплавили. Сколько лет уже не видел латунного подсвечника.

На самом деле тесное помещение было завалено вещами, но едва ли они представляли хоть какую-то ценность. Повернуться было почти негде, поскольку вдоль стен тянулись пыльные рамы для картин. В витрине лежали подносы с

гайками и болтами, сточенные стамески, сломанные перочинные ножи, поблекшие часы, даже не притворявшиеся исправными, и прочий пестрый хлам. Только на столике в углу, заваленном всякой мелочью: лакированными табакерками, агатовыми брошками и тому подобным, — могло оказаться что-то интересное. Уинстон приблизился к столику и обратил внимание на округлый гладкий предмет, мягко блестевший в свете лампы. Он взял его в руки.

Это была тяжелая стеклянная полусфера, выпуклая с одной стороны и плоская с другой. Необычайно гладкая поверхность по цвету и фактуре напоминала дождевую воду. В сердцевине покоился, увеличенный выпуклым стеклом, странный розовый предмет спиральной формы, похожий на розу или морской анемон.

— Что это? — спросил Уинстон, зачарованный.

— Это коралл, он самый, — ответил старьевщик. — Должно быть, из Индийского океана. Их раньше как бы заливали в стекло. Ему не меньше сотни лет. Даже больше, судя по виду.

— Прекрасная вещь, — сказал Уинстон.

— Еще какая прекрасная, — согласился старьевщик. — Но в наши дни почти не осталось ценителей. — Он кашлянул. — Если вдруг захоти-

те купить, это будет вам стоить четыре доллара. Помню времена, когда такая вещица потянула бы на восемь фунтов, а восемь фунтов — это… ох, не соображу, но большие деньги. Но кому теперь нужны настоящие древности, какие еще остались?

Уинстон тут же уплатил четыре доллара и положил в карман желанную вещицу. Его привлекла не столько ее красота, сколько ощущение принадлежности к веку, отличному от настоящего. Никогда еще он не видел стекла столь гладкого, точно вода. И вдвойне усиливала привлекательность ее очевидная бесполезность, хотя Уинстон догадывался, что когда-то она служила пресс-папье. Вещица сильно оттягивала карман, но, к счастью, не особо выпирала. Для члена Партии она была из ряда вон, чем-то даже компрометирующим. Все старинное, а стало быть красивое, всегда внушало подозрения. Старьевщик заметно повеселел, получив четыре доллара. Уинстон догадался, что он бы согласился и на три, а то и два.

— Есть еще комната наверху, она бы тоже могла привлечь ваше внимание, — произнес торговец. — Там не так уж много всего. Несколько вещей. Если пойдем наверх, нам понадобится

свет.

Он зажег вторую лампу и начал медленно, сутулясь, подниматься по крутой обшарпанной лестнице, потом прошел по коридору в комнату, окно которой выходило на мощеный двор и лес печных труб с колпаками. Уинстон отметил, что мебель расставлена словно в жилом помещении. На полу лежал коврик, на стенах висела пара картин, перед камином стояло глубокое замызганное кресло. На каминной полке тикали старинные стеклянные часы с двенадцатью цифрами. Под окном, занимая почти четверть комнаты, расположилась необъятная кровать с матрасом.

— Мы жили здесь с женой, пока она не умерла, — пояснил старик, как бы извиняясь. — Понемногу распродаю мебель. Вот превосходная кровать красного дерева, точнее, будет превосходной, если вывести жучков. Но, смею сказать, вам она покажется несколько громоздкой.

Он высоко поднял лампу, чтобы осветить всю комнату, и в теплом тусклом свете она показалась даже уютной. Уинстон подумал, что можно было бы легко снимать ее за несколько долларов в неделю, если бы хватило смелости. Идея была дикой, невозможной, и он тут же отбросил ее; но комната пробудила в нем что-то вроде носталь-

гии, какую-то память предков. Ему показалось, что он в точности знает, каково сидеть в такой комнате в кресле у камина, положив ноги на решетку и повесив чайник над огнем; в полном одиночестве, в полной безопасности, и никто не смотрит за тобой, ничей голос не беспокоит, никакой звук не тревожит, кроме кипения чайника и мерного тиканья часов.

— Тут нет телеэкрана! — вырвалось у него.

— А, — сказал старик, — у меня никогда не было. Слишком дорогие. Да и потребности както, знаете, не испытывал. А вот в углу хороший раскладной стол. Только к нему, конечно, новые петли нужны, если хотите использовать боковины.

В другом углу стоял небольшой книжный стеллаж, и Уинстон уже потянулся к нему. Но там был один мусор. В кварталах пролов книги выискивали и уничтожали с не меньшим упорством, чем везде. Очень маловероятно, чтобы где-нибудь в Океании сохранилась хоть одна книга, изданная до 1960 года. Старик все так же держал лампу и стоял у картины в палисандровой раме, висевшей по другую сторону камина, напротив кровати.

— Кстати, если вас интересуют старые гравюры… — деликатно начал он.

Уинстон подошел рассмотреть картину. Это была гравюра на стали, изображавшая продолговатое здание с прямоугольными окнами и небольшой башней впереди. Здание опоясывала ограда, а в глубине, вероятно, стояла статуя. Уинстон несколько секунд всматривался в картину. Вид казался смутно знакомым, хотя статуи он не помнил.

— Рама привинчена к стене, — сказал старик, — но для вас, смею сказать, могу отвинтить.

— Я знаю это здание, — вспомнил, наконец, Уинстон. — Теперь это руины. В середине улицы за Дворцом юстиции.

— Верно. За Домом правосудия. Разбомбили в… ох, много лет назад. Когда-то это была церковь Святого Климента Датского, так она называлась. — Старик виновато улыбнулся, словно признавая, что говорит чепуху, и добавил: — Апельсинчики как мед, в колокол Сент-Клемент бьет!

— Что это? — спросил Уинстон.

— А… *Апельсинчики как мед, в колокол Сент-Клемент бьет*. Стишки из моего детства. Как там дальше, не помню, но кончались так: «*Вот зажгу я пару свеч — ты в постельку можешь лечь; вот возьму я острый меч — и головка твоя с плеч*».

Игра была такая, вроде танца. Все брались за руки и поднимали их вверх, а ты под ними пробегал, и когда доходило до слов: «*Вот возьму я острый меч — и головка твоя с плеч*», руки опускались и ловили тебя. В стишках перечисляли названия церквей. Все лондонские церкви — то есть все самые главные.

Уинстон рассеянно размышлял, к какому веку относится эта церковь. Определить возраст лондонского здания всегда было непросто. Все большие внушительные и сравнительно новые автоматически причислялись к периоду после Революции, тогда как все постарше относили к туманному периоду под названием Средние века. Из этого следовало, что века капитализма не породили ничего значительного. Изучать историю по архитектурным памятникам было так же безнадежно, как по книгам. Статуи, надписи, мемориальные камни, названия улиц — все, что могло пролить свет на прошлое, подвергалось систематическим переделкам.

— Никогда не знал, что это была церковь, — сказал он.

— Их вообще немало осталось, — отозвался старик, — только приспособили под другие нужды. Как же там этот стишок? А! Вспомнил!

Апельсинчики как мед,
В колокол Сент-Клемент бьет.
И звонит Сент-Мартин:
Отдавай мне фартинг!

Ну вот, дальше не помню. Фартинг — это такая медная монетка, наподобие цента.

— А где стоял Сент-Мартин? — поинтересовался Уинстон.

— Сент-Мартин? Да он и сейчас стоит. На площади Победы, рядом с картинной галереей. Такое здание с треугольным портиком, колоннами по фасаду и большой лестницей.

Уинстон хорошо знал это здание. Теперь там был музей, где демонстрировали пропаганду: масштабные модели бомб с ракетными ускорителями и Плавучих крепостей, восковые панорамы, изображавшие вражеские зверства, и тому подобное.

— Сент-Мартин «что в полях», так церковь называли, — добавил старик, — хотя не припомню в тех местах никаких полей.

Уинстон не купил картину. Она была еще более несуразным предметом, чем пресс-папье, к тому же унести ее домой можно было только без рамы. Но он задержался еще на несколько минут,

разговорившись со стариком, которого звали, как оказалось, не Уикс (эта фамилия значилась на вывеске над входом), а Чаррингтон. Мистер Чаррингтон, похоже, был вдовцом шестидесяти трех лет и тридцать из них жил в этой лавке. Все эти годы он собирался сменить вывеску, но руки так и не дошли. Пока они вели беседу, в голове Уинстона без остановки крутились детские стишки:

Апельсинчики как мед,
В колокол Сент-Клемент бьет.
И звонит Сент-Мартин:
Отдавай мне фартинг!

Странное дело, но когда он повторял эти строки про себя, ему казалось, что он слышит колокольный звон — колокола исчезнувшего Лондона, который по-прежнему где-то существовал, переделанный и позабытый. Ему так и слышалось, как трезвонят одна за другой призрачные колокольни. Между тем, сколько он себя помнил, он ни разу не слышал церковных колоколов.

Он оставил мистера Чаррингтона и в одиночку спустился по лестнице, чтобы старик не увидел, как он оглядывает улицу, прежде чем выйти за дверь. Уинстон уже решил, что выждет разумный период — скажем, месяц — и рискнет снова

наведаться в лавку. Пожалуй, это не опаснее, чем пропускать вечера в Центре досуга. Он больше рисковал, когда поддался порыву зайти сюда после покупки дневника, не зная, можно ли доверять хозяину. Однако же!..

Да, опять подумал Уинстон, он сюда вернется. И продолжит скупать этот прекрасный хлам. Он купит гравюру с церковью Святого Климента Датского, вынет ее из рамы и принесет домой, спрятав под комбинезоном. И вытянет из памяти мистера Чаррингтона все стихотворение целиком. Снова мелькнула безумная мысль снять комнату наверху. Замечтавшись, он забылся на каких-нибудь пять секунд и вышел на улицу, не позаботившись оглядеть ее из окна. Он даже начал напевать на какой-то мотив:

Апельсинчики как мед,
В колокол Сент-Клемент бьет.
И звонит Сент-Мартин:
Отдавай…

Вдруг сердце у него похолодело, а живот скрутило. Навстречу по тротуару, метрах в десяти, шагала фигура в синем комбинезоне. Это была девушка из Художественного отдела, та самая, с темными волосами. Несмотря на слабый свет,

он без труда узнал ее. Она взглянула ему прямо в лицо и прошла мимо, словно не заметив.

Несколько секунд Уинстон не мог сдвинуться с места, словно парализованный. Затем повернул направо и тяжело зашагал, не сразу осознав, что идет не в ту сторону. Так или иначе одним вопросом стало меньше. Она за ним шпионит, сомнений больше не было. Она, очевидно, шла за ним следом, ведь не могло же быть, чтобы по чистой случайности она оказалась поздним вечером на этой неприметной улочке за километры от партийных кварталов. Слишком невероятное совпадение. Едва ли имело значение, служила ли она агентом Мыслеполиции или действовала по личной инициативе, из чувства долга. Важно, что она его вынюхивала. Вероятно, она заметила и его поход в паб.

Ноги двигались с трудом. При каждом шаге стекляшка в кармане била по бедру, и его подмывало взять ее и выбросить. Но хуже всего мучил живот. Пару минут ему казалось, что он сейчас умрет, если не найдет туалет. Но в таком квартале не было общественных туалетов. Потом спазм прошел, оставив тянущую боль.

Улица привела его в тупик. Уинстон замер и в растерянности простоял несколько секунд, затем

развернулся и пошел обратным путем. Он подумал, что девушка была в трех минутах ходьбы от него и что ее можно нагнать. Можно идти за ней следом, пока они не окажутся в тихом месте, и там размозжить ей голову булыжником. Тяжелая стекляшка в кармане тоже сгодится. Но он тут же отбросил эту идею — сама мысль о каком-либо физическом усилии была ему невыносима. Он не сможет бежать, не сможет нанести удар. К тому же она была молодой и крепкой и могла постоять за себя. Он также подумал поспешить в Центр досуга и оставаться там до закрытия, чтобы получить хоть какое-то алиби на вечер. Но это было совершенно нереально. Им овладела смертельная вялость. Единственным желанием было поскорее оказаться дома и сидеть без движения.

Он вернулся в квартиру после двадцати двух часов. Свет выключали в 23.30. Уинстон пошел на кухню и залил в себя почти полную кружку джина «Победа». Затем подошел к столу в нише, уселся и достал из ящика дневник. Но открыл не сразу. Телеэкран распевал патриотическую песню режущим слух женским голосом. Уинстон сидел, уставившись на мраморные разводы на обложке тетради, и тщетно пытался вытеснить из сознания поющий голос.

За ним придут ночью — они всегда приходят ночью. Лучше заранее покончить с собой. Кто-то, несомненно, так и поступает. Многие исчезновения на деле были самоубийствами. Но в мире, где невозможно достать ни оружия, ни сильного быстрого яда, это требует отчаянной отваги. Он ошарашенно подумал о биологической бесполезности боли и страха, о вероломстве человеческого тела, всегда впадающего в ступор именно в тот миг, когда требуется особая решимость. Он мог бы разделаться с темноволосой, если бы действовал достаточно быстро, но как раз небывалая опасность и лишила его сил. Уинстон вдруг понял и поразился, что в критические минуты человек сражается не с внешним врагом, а только с собственным телом. Даже сейчас, несмотря на выпитый джин, тянущая боль в животе мешала ему связно думать. И так же происходит, осознал он, во всех вроде бы героических или трагических ситуациях. На поле боя, в камере пыток, на тонущем корабле — ты не помнишь причин, по которым сражаешься, потому что твое тело разрастается, пока не заполнит вселенную. Даже если ты не скован страхом и не кричишь от боли, жизнь — это ежесекундная борьба с голодом, холодом или бессонницей, с изжогой или зубной

болью.

Он открыл дневник. Важно было что-то написать. Женщина на экране завела новую песню. Ее голос вонзался ему в мозг, словно острые стеклянные осколки. Уинстон пытался представить О'Брайена, которому он писал дневник, но вместо этого в голову лезли мысли о том, что произойдет, когда его схватит Мыслеполиция. Не страшно, если убьют на месте. Все равно ведь убьют. Но перед смертью (никто об этом не говорил, хотя все знали) будут непременно вытягивать признания: а это означает валяние в ногах и мольбы о пощаде, переломанные кости, выбитые зубы и выдранные с кровью волосы.

Зачем тебе это терпеть, если конец всегда один? Почему нельзя оборвать свою жизнь пораньше на несколько дней или недель? Рано или поздно всех разоблачают, и все в итоге сознаются. Если ты не удержался от мыслефелонии, можешь быть уверен, что тебя ждет смерть. К чему добавлять в собственное будущее весь этот ужас, если он ничего не изменит?

Он снова попытался — на этот раз с большим успехом — вызвать в памяти образ О'Брайена. «Мы встретимся там, где нет темноты», — сказал ему О'Брайен. Он понимал, что это значит, или

думал, что понимает. Место, где нет темноты, это воображаемое будущее — туда невозможно попасть, но можно его предчувствовать, причащаясь таинственным образом. Голос телеэкрана бил по ушам, не давая развить эту мысль. Он сунул в рот сигарету. Половина табака тут же просыпалась на язык горькой пылью, которую не так-то легко сплюнуть. Лицо О'Брайена в его сознании вытеснил образ Большого Брата. Уинстон, как и несколько дней назад, достал из кармана монету и посмотрел на нее. Знакомый лик воззрился на него тяжелым, спокойным, отеческим взглядом; но какая улыбка скрывалась в темных усах? И свинцовым похоронным звоном всплыли в памяти слова:

ВОЙНА – ЭТО МИР
СВОБОДА – ЭТО РАБСТВО
НЕЗНАНИЕ – ЭТО СИЛА

Часть вторая

I

День близился к полудню, Уилсон вышел из своей кабинки и направился в туалет.

Навстречу ему с другого конца длинного, ярко освещенного коридора двигалась одинокая фигура. Та самая девушка. Прошло четыре дня с того вечера, когда они наткнулись друг на друга у лавки старьевщика. При ее приближении Уинстон заметил, что правая рука у нее на перевязи, такой же синей, как комбинезон, и оттого незаметной на расстоянии. Вероятно, она повредила руку, раскручивая один из больших машинных барабанов, с помощью которых «набрасывали» сюжеты романов. Обычная травма для Художественного отдела.

Когда между ними оставалось метра четыре, девушка споткнулась и полетела на пол чуть ли не плашмя. Она резко вскрикнула от боли. Должно быть, упала прямо на поврежденную руку. Уинстон застыл на месте. Девушка поднялась на колени. Лицо у нее сделалось молочно-кремовым, и на нем горели красные губы. Она взглянула ему

в глаза с мучительным выражением не столько боли, сколько страха.

В сердце Уинстона шевельнулось двойственное чувство. Перед ним был враг, пытавшийся его убить; и в то же время перед ним был человек, которому больно и, может, у него сломана кость. Он уже инстинктивно дернулся к ней для помощи. Когда она упала на перевязанную руку, он сам как будто ощутил всплеск боли.

— Ушиблись? — спросил он.

— Ничего страшного. Рука. Сейчас пройдет.

По голосу казалось, что у нее сильно колотится сердце. И она заметно побледнела.

— Вы ничего не сломали?

— Нет, я в порядке. Было больно, но уже прошло.

Она протянула ему свободную руку, и он помог ей встать. Лицо у девушки чуть порозовело, и ей, похоже, стало намного лучше.

— Ничего страшного, — повторила она коротко. — Только запястье слегка ушибла. Спасибо, товарищ!

С этими словами она так легко двинулась дальше, словно и вправду ничего не случилось. Все происшествие заняло не более полминуты. Привычка скрывать чувства давно превратилась в

инстинкт, тем более что прямо перед ними стоял телеэкран. И все же Уинстон с большим трудом сдержал удивление, когда почувствовал, что девушка что-то сунула ему в руку, пока он помогал ей вставать. Это никак не могло быть случайностью. Что-то маленькое и плоское. Зайдя в туалет, он засунул руку в карман и понял на ощупь, что это сложенная в квадратик бумажка.

Он встал у писсуара и так же одними пальцами сумел развернуть бумажку. На ней, скорее всего, было что-то написано. На секунду ему захотелось зайти в кабинку и там прочитать, но риск был слишком велик. Где-где, а в туалетах наблюдали всегда и за всеми.

Он вернулся на рабочее место, уселся, небрежно бросил записку к другим бумагам на столе, надел очки и подтянул к себе речепис.

«Пять минут, — велел он себе, — пять минут — не меньше!»

Сердце в груди колотилось пугающе громко. К счастью, он был занят совершенно рутинной работой — исправлением длинной колонки цифр, не требующих особого внимания.

Что бы ни было там написано, это наверняка связано с политикой. Он представлял два варианта. Один, гораздо более вероятный, что

девушка — агент Мыслеполиции, как он и опасался. Уинстон не понимал, зачем Мыслеполиции прибегать к таким ухищрениям, но на то, вероятно, были свои причины. В записке может быть угроза, вызов в участок, приказ покончить с собой, какая-нибудь западня. Но был и другой, более безумный вариант, от которого он, как ни пытался, не мог отмахнуться. Что, если записка вовсе не от Мыслеполиции, а от какой-нибудь подпольной организации? Возможно, Братство все же существует! Возможно, девушка состоит в нем! Разумеется, идея бредовая, но она прочно угнездилась в его сознании, едва он нащупал бумажку. Только через пару минут он предположил другое, более разумное объяснение. И даже сейчас разум говорил, что записка, судя по всему, означает смерть, но ему все равно верилось в другое. Беспричинная надежда возрастала, сердце громыхало, и он с трудом сдерживал дрожь в голосе, бормоча цифры в речепис.

Уинстон свернул готовые задания в рулончики и засунул в пневматическую трубку. Прошло уже восемь минут. Он поправил очки на носу, вздохнул и подтянул к себе очередную стопку заданий, поверх которых лежала бумажка. Он развернул ее. Там было написано крупным неровным по-

черком:

Я вас люблю.

Несколько секунд он был слишком ошарашен, чтобы выбросить улику в провал памяти. Даже прекрасно понимая, как опасно проявлять к ней повышенный интерес, он поддался искушению перечитать эти слова, просто чтобы убедиться, что ему не показалось.

Оставшееся до обеда время он работал через силу. Уинстон никак не мог сосредоточиться на нудных заданиях, но еще труднее было скрывать смятение от теле-экрана. Он чувствовал, что внутри у него словно пылает огонь. Обед в жаркой, шумной, многолюдной столовой стал настоящим мучением. Уинстон надеялся в это время побыть немного в одиночестве, но как назло к нему подсел дебил Парсонс, перебивая едким потом жестяной запах рагу, и принялся без умолку тараторить о подготовке к Неделе Ненависти. Особый его энтузиазм вызывала двухметровая модель головы Большого Брата из папье-маше, которую изготавливал по такому случаю дочкин отряд Разведчиков. Уинстона неимоверно раздражало, что в окружающем гомоне он с трудом слышал Парсонса, и приходилось то и дело пере-

спрашивать какую-нибудь ерунду. Один раз ему удалось перехватить взгляд девушки, сидевшей в дальнем конце помещения с двумя другими девушками. Она притворилась, что не заметила Уинстона, и больше он в ее сторону не смотрел.

Остаток дня прошел более сносно. Сразу после обеда Уинстон получил сложное и кропотливое задание, для которого потребовалось на несколько часов отгородиться от всех посторонних мыслей. Нужно было подделать производственные отчеты двухлетней давности, чтобы бросить тень на видного члена Внутренней Партии, попавшего в немилость. Такие задания хорошо удавались Уинстону, и на два с лишним часа он сумел вытеснить из мыслей девушку. Затем опять в памяти всплыло ее лицо, а вместе с ним возникло дикое, невыносимое желание остаться одному. Иначе не получится обдумать новое положение вещей. Но сегодняшний вечер предстояло провести в Центре досуга. Закинув в себя безвкусный ужин в столовой, он поспешил в Центр, чтобы принять участие в идиотском заседании «дискуссионной группы», сыграть две партии в настольный теннис, опрокинуть несколько стопок джина и высидеть получасовую лекцию на тему «Ангсоц в отношении шахмат». Он изнывал от скуки, но в

кои-то веки не испытывал побуждения улизнуть из Центра. Когда Уинстон увидел слова «*Я вас люблю*», в нем воспряло желание жить, так что рисковать теперь по пустякам показалось глупым. Он добрался до дома и постели в двадцать три часа — в темноте, стараясь не шуметь, чтобы не привлекать внимания телеэкрана, — и тогда смог как следует все обдумать.

Предстояло решить техническую задачу: как подойти к девушке и устроить встречу. Он отбросил всякие мысли о ловушке. Уинстон понял, что это исключено — слишком уж сильным было ее смятение, когда она передавала ему записку. Очевидно, она была ужасно напугана, что неудивительно. Он даже и не думал ответить ей отказом. Еще пять суток назад он хотел размозжить ей голову булыжником, но теперь это было неважно. Уинстон представил ее молодую наготу, как в том сне. А ведь он считал ее такой же дурочкой, как и остальные, с набитой ложью и ненавистью головой и с ледяным чревом. Его колотила дрожь при мысли, что он мог потерять ее, что от него могло ускользнуть это белое молодое тело! Больше всего он боялся, что девушка просто передумает, если он не свяжется с ней как можно быстрее. Но увидеться с ней было немыс-

лимо трудно. Все равно что пытаться сделать ход в шахматах, когда тебе поставили мат. Куда бы ты ни повернул, за тобой наблюдал телеэкран. На самом деле все возможные способы увидеться с девушкой он перебрал в уме за пять минут сразу после прочтения записки; но теперь, когда у него было время подумать, он стал их пристально рассматривать один за другим, словно раскладывая на столе инструменты.

Очевидно, что повторить утреннюю случайную встречу не удастся. Если бы девушка работала в Отделе документации, это было бы относительно легко, но он лишь смутно представлял, где располагался Художественный отдел, да и повода пойти туда не было. Если бы он знал, где она живет и во сколько выходит с работы, то мог бы ухитриться встретить ее по дороге домой; но идти за ней от министерства было небезопасно. Пришлось бы слоняться где-нибудь поблизости, что не останется незамеченным. Что же до письма по почте, то об этом нечего было и думать. Все письма в обязательном порядке вскрывались при пересылке — все это знали. Вообще мало кто писал письма. Если возникала необходимость передать сообщение, можно было купить открытку с набором фраз в длинной колонке и вычеркнуть

ненужные. В любом случае он не знал даже имени девушки, не говоря об адресе. В итоге он решил, что безопаснее всего будет увидеться в столовой. Если он застанет ее одну за столиком где-нибудь в середине зала, не слишком близко к телеэкранам, и вокруг будет по-обычному шумно, то они смогут перебросить парой слов. Но только если все эти условия продержатся секунд тридцать.

Следующую неделю его жизнь походила на бредовый сон. В первый день Уинстон пробыл в столовой до самого конца обеда, но девушка появилась только после свистка. Вероятно, ее перевели в другую смену. Они разминулись, не взглянув друг на друга. На следующий день она появилась в обычное время, но с тремя другими девушками, и они уселись под самым телеэкраном. Затем три кошмарных дня, когда она вообще не показывалась в столовой. Он сделался до того восприимчивым — и умственно, и физически, — словно прозрачным, что любое движение, любой звук, любая встреча, любое слово, произнесенное или услышанное, превращалось в пытку. Даже во сне ее образ преследовал его. К дневнику Уинстон в эти дни не прикасался. Если что и приносило облегчение, то только работа, которая позволяла иногда забыться на десять минут. Он совершен-

но не представлял, что случилось с девушкой. И узнать было негде. Ее могли испарить или перевести в другой конец Океании, она могла покончить с собой, но самым худшим (и самым вероятным) было то, что она просто потеряла к нему интерес и сознательно избегала его.

На следующий день она, наконец, появилась. Рука была уже без перевязи, только на запястье виднелся пластырь. Уинстон испытал такое огромное облегчение, что не смог не пялиться на нее несколько секунд. Еще через день ему почти посчастливилось заговорить с ней. Войдя в столовую, он увидел, что девушка сидит за столиком одна и на приличном расстоянии от стены. Было рано, и народ только начинал собираться. Уинстон встал в очередь и почти дошел до раздачи, но тут все застряли на пару минут: кто-то впереди стал жаловаться, что ему не дали таблетку сахарина. Тем не менее, когда Уинстон получил обед, девушка все еще сидела одна, и он стал продвигаться к ней с подносом. Он приближался к ней со спокойным видом, словно высматривая место за соседним столиком. Между ними оставалось каких-нибудь три метра. Еще пара секунд — и он у цели. И тут кто-то позвал его:

— Смит!

Он сделал вид, что не услышал.

— Смит! — окликнули его снова, уже громче.

Делать было нечего — он развернулся. Ему улыбался, приглашая за свой столик, молодой блондин с глупым лицом по имени Уилшер, которого он едва знал. Отказываться было небезопасно. Когда его узнали, он не мог присесть за столик к одинокой девушке. Это было бы слишком заметно. Он уселся за столик Уилшера с дружеской улыбкой. Блондин просиял в ответ. Уинстон невольно представил, как рубит это глупое лицо тяжелой киркой, ровно посередине. Вскоре кто-то подсел к девушке.

Однако она не могла не заметить, что Уинстон пробирался к ней, и наверняка уловила его намерение. На следующий день он озаботился прийти пораньше. И не зря — она снова сидела одна примерно за тем же столиком. В очереди перед ним суетился жукоподобный человечек с плоским лицом и подозрительными глазками. Когда Уинстон отошел с подносом от раздачи, он увидел, как человечек решительно направляется к столику девушки. Он пришел в смятение. Чуть дальше было еще одно свободное место, но что-то ему подсказывало, что этот тип предпочтет столик с девушкой, хотя бы потому, что она си-

дела одна. Уинстон двинулся за ним с тяжелым сердцем. Нужно или остаться с ней один на один, или совсем не подсаживаться. Его спасла оказия. Человечек брякнулся на четвереньки, поднос грохнул об пол, и суп с кофе двумя ручьями выплеснулись из посуды. Поднявшись на ноги, он смерил Уинстона злобным взглядом, видимо, подозревая его в чем-то. Ну и ладно. Через пять секунд с колотящимся сердцем Уинстон подсел за столик к девушке.

Он не взглянул на нее. Освободил поднос и сразу начал есть. Нужно было не терять времени, пока не пришел еще кто-нибудь, но его охватил жуткий страх. Прошла неделя после встречи в коридоре. Она могла передумать — наверняка передумала! Не может быть, что эта история закончится удачно; в реальной жизни такого не бывает. Возможно, он бы так и не решился заговорить, если бы не увидел, как через столовую плетется с подносом Эмплфорт, пиит с волосатыми ушами, и высматривает себе место. Эмплфорт испытывал смутную симпатию к Уинстону, и можно было не сомневаться, что он тут же подойдет, если его заметит. У них осталось не больше минуты. Уинстон и девушка молча поглощали пищу. Они ели жидкое рагу, больше похожее на

суп с фасолью. Уинстон заговорил полушепотом. Ни он, ни она не поднимали глаз; они размеренно отправляли в рот водянистое месиво, жевали и между делом обменивались парой слов тихими монотонными голосами.

— Когда вы выходите с работы?

— В восемнадцать тридцать.

— Где мы встретимся?

— Площадь Победы, у памятника.

— Там полно телеэкранов.

— Когда толпа, это неважно.

— Какой-нибудь знак?

— Нет. Не подходите, пока не увидите, что вокруг много людей. И не смотрите на меня. Просто держитесь поблизости.

— Во сколько?

— В девятнадцать.

— Хорошо.

Эмплфорт так и не заметил Уинстона, поэтому сел за другой столик. Больше они с девушкой не разговаривали и не смотрели друг на друга, насколько это было возможно для двух человек, сидящих напротив за одним столом. Девушка быстро доела и ушла, а Уинстон задержался и выкурил сигарету.

Уинстон пришел на площадь Победы раньше

времени и бродил вокруг основания огромной колонны с каннелюрами. На вершине колонны вздымалась статуя Большого Брата, прозревавшего южное небо, где он сокрушил евразийскую авиацию (несколько лет назад она была остазийской) во время защиты Первой летной полосы. На улице напротив колонны стояла конная статуя, которая изображала, как считалось, Оливера Кромвеля. Прошло уже пять минут после условленного часа, а девушки все не было. Уинстона снова охватил жуткий страх: она не придет, она передумала! Он добрел до северного края площади и вяло обрадовался, узнав церковь Святого Мартина, чьи колокола когда-то вызванивали: «*Отдавай мне фартинг*».

И тогда он увидел девушку — она стояла у основания колонны и читала (а может, просто делала вид) надпись на знамени, спиралью взбегавшем по колонне. Народу вокруг собралось немного, так что приближаться было небезопасно. Кругом стояли телеэкраны. Но тут послышался гомон и рокот тяжелых машин откуда-то слева. Все вдруг побежали через площадь. Девушка ловко обогнула львов у подножия колонны и поспешила за остальными. Уинстон устремился следом. На бегу он по выкрикам понял, что под конвоем везут

евразийских пленных.

Южную часть площади уже заполнила толпа. Уинстон в любом скоплении людей норовил поскорее оказаться с краю, но сейчас проталкивался, пробивался и протискивался в самую гущу столпотворения. Вскоре он почти мог коснуться девушки, но у него на пути встали живой стеной здоровенный прол и почти такая же огромная бабища, видимо, его жена. Уинстон извернулся и отчаянным усилием вклинился между ними плечом. На миг ему показалось, что его внутренности сейчас лопнут, стиснутые между двух пар могучих бедер, но все же он сумел прорваться, немного вспотев. Он стоял рядом с девушкой. Плечом к плечу они уставились перед собой неподвижным взглядом.

По улице тянулась колонна грузовиков с хмурыми автоматчиками по четырем углам в каждом кузове. Между ними сгрудились на корточках желтолицые человечки в обтрепанных зеленых мундирах. Их грустные азиатские лица смотрели поверх бортов с полнейшим безразличием. Периодически грузовик подпрыгивал на ухабах, и тогда дружно лязгали кандалы. Кузов за кузовом тянулись эти печальные лица. Уинстон понимал, что они там, но видел их только урывками.

Его касалось плечо девушки и рука вплоть до локтя. Ее щека была так близко, что он едва ли не чувствовал ее тепло. Она, как и в столовой, сразу взяла на себя инициативу, заговорив тем же ровным голосом, едва шевеля губами — тихий шелест ее слов растворялся в общем гомоне и рычании грузовиков.

— Слышите меня?

— Да.

— Свободны в воскресенье вечером?

— Да.

— Слушайте внимательно. Надо все запомнить. Идите на Паддингтонский вокзал…

Она изложила маршрут с прямо-таки военной точностью, поразившей его. Полчаса поездом; от станции налево; два километра вдоль шоссе; ворота без верхней перекладины; дорога через поле; заросшая тропинка; прогалина между кустами; упавшее замшелое дерево. Словно у нее в голове была карта.

— Все запомнили? — спросила она еле слышно.

— Да.

— Сперва налево, потом направо и снова налево. И ворота без перекладины.

— Да. Во сколько?

— Около пятнадцати. Я могу задержаться. Я приду другим путем. Точно все запомнили?

— Да.

— Тогда скорее уходите от меня.

Это можно было и не говорить, но толпа пока не позволяла им разойтись. Грузовики продолжали ползти, и люди все так же жадно на них глазели. Поначалу слышались презрительные выкрики и свист (это ярились в толпе партийцы), но вскоре они смолкли. Большинству людей просто было любопытно. Иностранцы — из Евразии или Остазии — казались кем-то вроде диковинных животных. Люди не встречали других иностранцев, кроме пленных, да и этих видели лишь мельком. Никто не знал, какая судьба их ждет (не считая тех, кого повесят как военных преступников). Они просто исчезали, вероятно, направлялись в трудовые лагеря. Круглые монгольские лица сменились вполне европейскими: грязными, заросшими и изможденными. Глаза над небритыми скулами смотрели в глаза Уинстону — иногда необычайно пристально — и уплывали дальше. Колонна подходила к концу. В последнем грузовике Уинстон увидел поросшего седой щетиной пожилого человека, который стоял со скрещенными перед собой руками,

очевидно привыкшими к наручникам. Уинстон понимал, что уже пора отойти от девушки. Но в последний момент, пока толпа еще окружала их, ее рука нащупала его ладонь и быстро сжала.

Их руки были сомкнуты не более десяти секунд, но Уинстону казалось, что намного дольше. Он успел изучить все строение ее кисти. Длинные пальцы, аккуратные ногти, натруженные ладони с точками мозолей, гладкая кожа запястья. Он проникся уверенностью, что теперь узнал бы ее ладонь и на вид. И тут же понял, что не знает, какого цвета у девушки глаза. Скорее всего, карие, хотя темноволосые бывают и синеглазыми. Повернуть голову и взглянуть на нее стало бы верхом безрассудства. Невидимые в общей массе людей, они сцепились руками и смотрели прямо перед собой. Вместо взгляда девушки Уинстон поймал скорбный взор пожилого пленного из-под кустистых бровей.

II

Уинстон пробирался по дорожке в кружевной тени деревьев, и где кроны не смыкались, его омывал золотой свет. Слева под деревьями земля пестрела колокольчиками. Ветер ласкал кожу. Было второе мая. Где-то в сердце леса ворковали

дикие голуби.

Он приехал чуть пораньше. Поездка прошла без происшествий, да и девушка, судя по всему, имела опыт, так что Уинстон нервничал меньше ожидаемого. Она наверняка способна найти безопасное место. По большому счету, не стоило рассчитывать, что за городом будет безопаснее, чем в Лондоне. Здесь, конечно, нет телеэкранов, но всегда есть вероятность, что рядом спрятан микрофон, так что тебя услышат и опознают по голосу; к тому же одинокий путник невольно привлекал внимание. Для путешествий до ста километров от Лондона отметка в паспорте не требовалась, но можно было нарваться на патруль, который проверял документы у всех партийцев и задавал неудобные вопросы. К счастью, обошлось без патруля, но и сойдя с поезда, Уинстон периодически оглядывался, чтобы убедиться в отсутствии слежки. В вагоне было полно пролов в приподнятом настроении по случаю летней погоды. Отсек из двух деревянных скамей, где сидел Уинстон, заняло огромное семейство от беззубой бабки до месячного младенца. Они ехали провести вечер «у сватьев» и, как они откровенно признались, раздобыть немного масла на черном рынке.

Дорожка стала шире, и вскоре Уинстон вышел к местности, о которой говорила девушка, на простую козью тропу, петлявшую между кустов. Часов у него не было, но он точно явился раньше пятнадцати. Колокольчики росли так плотно, что сами лезли под ноги. Он присел и принялся рвать их — отчасти, чтобы скоротать время, отчасти в надежде вручить букетик девушке. Уинстон набрал целую охапку и вдыхал их легкий сладковатый аромат, когда вдруг замер, услышав за спиной хруст веточек под ногами. Он продолжил собирать цветы. Хорошее прикрытие. Возможно, это девушка, но могут быть и агенты. Оглянуться — значит признать вину. Он срывал цветок за цветком. Чья-то рука легко легла ему на плечо.

Он поднял взгляд. Это была девушка. Она покачала головой, видимо, веля ему молчать, затем раздвинула кусты и быстро повела его по узкой тропке в лес. Очевидно, что она была здесь не первый раз — так уверенно обходила топкие места. Уинстон шел за ней, сжимая в руке букетик. Облегчение при виде девушки сменилось тягостным чувством ущербности, когда он смотрел на движения этого крепкого молодого тела перед собой. Вокруг талии — алый кушак, подчеркивавший изгиб бедер. Уинстону казалось, сейчас

она обернется, посмотрит на него и передумает. Благоуханный воздух и зелень листвы только сильнее смущали его. Как только он сошел с поезда, майское солнце заставило его почувствовать себя грязным и чахлым комнатным созданием с лондонской копотью, въевшейся в поры. Он вдруг подумал, что сейчас девушка впервые увидела его в ярком свете дня и на свежем воздухе. Они приблизились к упавшему дереву, о котором она говорила. Перескочив через ствол, девушка раздвинула кусты, казавшиеся непролазными. Последовав за ней, Уинстон увидел, что они дошли до прогалины — крохотного пригорка, плотно окруженного высокими молодыми деревцами. Девушка остановилась и обернулась.

— Вот и пришли, — сказала она.

Он стоял в нескольких шагах перед ней и не смел приблизиться.

— Я не хотела разговаривать на дорожке, — объяснила она, — на случай, если там воткнули микрофон. Вообще я так не думаю, но мало ли. Всегда есть вероятность, что кто-то из этих скотов узнает твой голос. А здесь безопасно.

Он никак не решался подойти к ней.

— Здесь безопасно? — глупо повторил он.

— Да. Посмотри на деревья. — Это были моло-

дые ясени на месте вырубки. Лес жердочек не толще запястья. — Здесь негде спрятать микрофон. К тому же я уже тут бывала.

Они только вели беседу, и он осмелился подойти к ней ближе. Девушка стояла перед ним очень прямо и слегка иронично улыбалась, как будто недоумевая, почему он медлит. Колокольчики осыпались на землю словно сами собой. Уинстон взял ее за руку.

— Веришь ли, — спросил он, — что до этого момента я не знал, какого цвета у тебя глаза? — Глаза оказались карими, светло-карими, с темными ресницами. — Теперь, когда ты увидела, какой я есть, ты еще можешь меня терпеть?

— Да, легко.

— Мне тридцать девять лет. Я женат и не могу избавиться от этого. У меня варикозные вены и пять вставных зубов.

— Меня это нисколько не смущает, — сказала девушка.

И тут же — неясно, кто к кому потянулся, — она оказалась в его объятиях. Сперва он не почувствовал ничего, кроме изумления. К нему прижималось ее молодое тело, копна темных волос ласкала ему лицо и — да! — она откинула голову. Он поцеловал ее раскрытые красные

губы. Она обвила его руками за шею, называя милым, родным, любимым. Он потянул ее к земле, и девушка подчинилась — он мог делать с ней все что захочет. Только Уинстон почему-то не испытывал вожделения, несмотря на их близость. Он ощущал лишь изумление и гордость. Он был рад происходящему, но не испытывал физического возбуждения. Все слишком быстро — ее молодость и красота пугали его, он слишком отвык от женщины — Уинстон не понимал, в чем дело. Девушка села и вынула из волос колокольчик. Она прислонилась к Уинстону и обняла его за талию.

— Не волнуйся, дорогой. Можем не спешить. У нас еще полдня. Правда, отличное укрытие? Я нашла его, когда была в походе с группой. Если кто-то сюда направится, то мы услышим его за сто метров.

— Как тебя зовут? — спросил Уинстон.

— Джулия. Твое имя я знаю. Уинстон… Уинстон Смит.

— Как ты это выяснила?

— Пожалуй, из нас двоих я лучшая шпионка, дорогой. Скажи, что ты думал обо мне, пока я не передала тебе записку?

Ему совсем не хотелось ей лгать. Выложить сразу самое худшее — это было своеобразной

жертвой любви.

— Видеть тебя не мог, — признался он. — Хотелось тебя изнасиловать, а потом убить. Две недели назад я всерьез планировал размозжить тебе голову булыжником. Если хочешь знать, я думал, что ты как-то связана с Мыслеполицией.

Девушка радостно рассмеялась, очевидно услышав в этом признание своих актерских способностей.

— Только не Мыслеполиция! Нет, ты всерьез так думал?

— Ну, может, не именно так. Но по всему твоему виду… ты ведь такая молодая, цветущая и здоровая — ты понимаешь… я думал, что, наверное…

— Ты думал, что я примерный член Партии. Чиста в делах и помыслах. Знамена, парады, лозунги, игры, групповые походы — вся эта чушь. И ты считал, что будь у меня хоть малейший шанс, я бы сдала тебя как мыслефелона на верную смерть?

— Что-то вроде того. Большинство девушек такие, ты же знаешь.

— Все эта чертова гадость.

Она стянула с себя алый кушак молодежной лиги Антисекс и швырнула в кусты. Затем, словно вспомнив о чем-то, засунула руку в карман

комбинезона и достала маленькую плитку шоколада. Она разломила ее надвое и дала половинку Уинстону. Еще не успев откусить, он уже понял по запаху, что это очень необычный шоколад. Темный и блестящий, завернутый в фольгу. Обычный шоколад тускло-коричневого цвета крошился и напоминал на вкус — если подбирать сравнения — дым горящего мусора. Но когда-то ему доводилось пробовать и шоколад, которым его угостили сейчас. Едва вдохнув его запах, он почувствовал, как в нем всколыхнулось какое-то смутное воспоминание, при этом сильное и тревожное.

— Где ты его достала? — поинтересовался он.

— На черном рынке, — равнодушно ответила она. — Вообще, конечно, с виду я именно такая. Хорошая спортсменка. Была командиром отряда Разведчиц. Три вечера в неделю занимаюсь общественной работой для лиги Антисекс. Сколько часов я потратила, расклеивая по Лондону их паскудные листовки… Всегда с транспарантами на парадах. Всегда такая радостная, берусь за любую работу. «Всегда вопи вместе с толпой» — так я это называю. Только тогда ты в безопасности.

Первый кусочек шоколада растаял у Уинстона во рту. Восхитительный вкус. Но где-то на пери-

ферии сознания мелькало воспоминание, очень сильное, но расплывчатое, словно он видел его боковым зрением. Он отогнал это ощущение, когда понял, с чем оно связано. С чем-то, что он хотел бы — и не мог — исправить.

— Ты очень молода, — сказал он. — Моложе меня лет на десять-пятнадцать. Что тебя могло привлечь в таком, как я?

— Что-то в твоем лице. Я решила испытать удачу. Я умею различать несогласных. Как только тебя увидела, сразу поняла: ты против *них*.

Они, по-видимому, означали Партию, и прежде всего Внутреннюю Партию. Джулия говорила о ней с такой издевкой и ненавистью, что Уинстону стало не по себе, хотя здесь они были в безопасности, насколько это вообще возможно. Что его поразило в девушке, так это грубость. Партийным ругаться не разрешалось, и сам Уинстон редко вставлял крепкое словцо — вслух, во всяком случае. Но Джулия, похоже, не могла упомянуть Партию вообще и Внутреннюю в частности, чтобы не присовокупить одно из тех словечек, что пишут мелом на заборах. Но его это не отталкивало. В ругани он видел бунт против Партии и партийных порядков, и это казалось чем-то естественным и здоровым, как всхрап

лошади, унюхавшей прелое сено. Они ушли с прогалины и снова бродили под пестрой тенью, обнимая друг друга за талию, когда тропинка становилась достаточно широкой для двоих. Уинстон отметил, насколько податливей казалась ее талия без кушака. Они беседовали шепотом. Джулия предупредила, что за пределами прогалины лучше быть потише. Они добрались до опушки рощи, и Джулия его остановила.

— Не выходи наружу. Вдруг кто-нибудь увидит. За деревьями мы в безопасности.

Они стояли под кроной орешника. Солнечный свет, хоть и просеянный густой листвой, грел им лица. Уинстон посмотрел на лежавший впереди луг и застыл, пораженный: вид оказался знакомым. Он узнал его. Старое выщипанное пастбище с петляющей тропинкой и россыпью кротовых кочек. По дальнему краю неровной стеной тянулись вязы, чуть покачивая кронами на легком ветру, и густая листва колыхалась, словно женские волосы. Где-то неподалеку вне зоны видимости непременно должен был журчать ручей с зелеными заводями, в которых плещется плотва.

— Здесь есть где-нибудь ручей? — прошептал он.

— Верно, есть. На границе следующего луга, если точно. Там рыбы, большущие такие. Видно, как они замирают в заводях под ивами и шевелят хвостами.

— Это же Золотая страна… почти, — пробормотал он.

— Золотая страна?

— Да так, неважно. Иногда мне снится такой пейзаж.

— Смотри! — шепнула Джулия.

Метрах в пяти от них, почти на уровне лиц, на ветку уселся дрозд. Возможно, он их не заметил. Они находились в тени, а он на солнце. Дрозд расправил крылья, потом аккуратно сложил, на миг склонил головку, словно поклонился солнцу, и начал выводить трели. В послеполуденном затишье птичья песня лилась удивительно громко. Уинстон и Джулия прильнули друг к другу, завороженные. Минута за минутой музыка лилась и лилась, с удивительными вариациями и никогда не повторяясь, словно бы дрозд вознамерился показать все свое мастерство. Иногда он замолкал на несколько секунд, расправлял и складывал крылья, затем раздувал крапчатую грудку и снова начинал петь. Уинстон смотрел на него с безотчетным трепетом. Для кого, для чего пела

птица? Ни подруги, ни соперника поблизости. Что побуждало дрозда сидеть на опушке пустого леса и изливать свою песню в никуда? Уинстон снова подумал, что где-нибудь поблизости может быть скрытый микрофон. Они с Джулией только перешептывались, так что их не услышат, но зато различат птичье пение. Может, где-то далеко сидел и внимательно слушал жукоподобный человечек — слушал все это. Но постепенно поток музыки вытеснил из головы Уинстона все размышления. Мелодия словно омывала его с головы до ног, смешиваясь с солнечным светом, который струился сквозь листву. Он перестал мыслить и только чувствовал. Талия девушки под его рукой была податливой и теплой. Он повернул Джулию к себе, прижался грудью к груди, и ее тело словно вплавилось в его. Где бы ни скользили его руки, они словно гладили воду. Их губы соединились, совсем непохоже на первые жадные поцелуи. После поцелуев оба глубоко вздохнули. Даже такая малость спугнула дрозда, и он улетел, шурша крыльями.

Уинстон приблизился губами к уху девушки.

– *Сейчас*, — прошептал он.

— Не здесь, — прошелестела она в ответ. — Вернемся в укрытие. Там безопасней.

Похрустывая веточками, они в спешке вернулись на прогалину. Снова оказавшись в кругу молодых деревьев, Джулия повернулась к нему. Оба они часто дышали, но в уголках ее губ заиграла улыбка. Секунду девушка смотрела на него, а затем нащупала молнию своего комбинезона. И — да! — это случилось почти как в его сне. Почти так же быстро она сорвала с себя одежду и отбросила тем же великолепным жестом, словно перечеркнувшим целую цивилизацию. Ее тело сияло белизной на солнце. Но прежде чем изучать наготу, его глаза обратились к ее веснушчатому лицу с легкой и дерзкой улыбкой. Он опустился перед ней на колени и взял ее руки в свои.

— Ты занималась этим раньше?

— Конечно. Сотни раз… ну, десятки, уж точно.

— С партийцами?

— Да, только с партийцами.

— И из Внутренней Партии?

— Нет, не с этими скотами. Но многие из них были бы *рады*, будь у них хоть малейший шанс. Они не такие святоши, как делают вид.

Сердце его взыграло. Десятки раз она занималась этим — жаль, что не сотни… не тысячи. Все порочное вселяло в него дикую надежду. Как знать, может, Партия внутри давно прогнила, и

ее культ усердия и самоотречения — это бутафория, скрывающая распад. С какой бы радостью он заразил их всех проказой и сифилисом! Что угодно, лишь бы разложить, ослабить, подорвать! Он потянул Джулию к себе, и она тоже опустилась на колени.

— Слушай. Чем больше было у тебя мужчин, тем больше я люблю тебя. Ты это понимаешь?

— Да, прекрасно.

— Ненавижу чистоту, ненавижу благочестие! Хочу, чтобы не было никаких добродетелей. Чтобы все были испорчены до мозга костей.

— Что ж, дорогой, тогда я должна тебе подойти. Я как раз испорчена до мозга костей.

— Тебе нравится заниматься этим? В смысле, не именно со мной, а сам процесс?

— Обожаю.

Даже больше, чем он надеялся услышать. Не просто любовь к одному человеку, но животный инстинкт, первобытное безраздельное вожделение — такая сила разорвет Партию на куски. Он повалил Джулию на траву в россыпь колокольчиков. На этот раз у него все получилось.

Постепенно их разгоряченное дыхание вернулось к норме, и они разлепились в приятной истоме. Солнце, похоже, начало припекать

сильнее. Обоим хотелось спать. Он потянулся к валявшимся в траве комбинезонам и укрыл ее. Почти сразу они заснули и грезили около получаса.

Уинстон проснулся первым. Он сел и засмотрелся на веснушчатое лицо, мирно покоившееся на предплечье. Если бы не губы, Джулию нельзя было назвать красавицей. Под глазами, если приглядеться, залегли морщинки. Короткие темные волосы были невероятно густыми и мягкими. Ему пришло на ум, что он все еще не знает ее фамилии и адреса.

Это молодое сильное тело, такое беззащитное во сне, пробудило в нем чувство жалости, желание оберегать его. Но та бездумная нежность, что охватила его под орешником, пока пел дрозд, вернулась не полностью. Он стянул с Джулии комбинезон и принялся рассматривать ее гладкий белый бок. В прежние дни, подумал он, мужчина видел женское тело, вожделел его, и дальше все было понятно. Но сейчас невозможна ни любовь, ни влечение в чистом виде. Больше нет чистых чувств — все запятнано страхом и ненавистью. Их слияние стало битвой, а кульминация наслаждения — победой. Это был удар по Партии. Политическая акция.

III

— Можем прийти сюда еще, — сказала Джулия. — Использовать одно укрытие два раза не так уж опасно. Но, конечно, не раньше чем через месяц-другой.

Едва встав на ноги, она изменилась, стала настороженной и деловитой. Она оделась, повязала на талию алый кушак и стала объяснять обратный маршрут. Казалось естественным довериться ей. Очевидно, у девушки имелась практическая хватка, которой недоставало Уинстону, к тому же она, по всей вероятности, досконально изучила окрестности Лондона за время бесчисленных турпоходов. Маршрут, что она ему описала, весьма отличался от поездки сюда и завершался другой станцией. «Никогда не возвращайся тем же путем», — подчеркнула она, словно сформулировала важный тезис. Она уйдет первой, а он последует за ней через полчаса.

Джулия назвала место, где они смогут увидеться через четыре дня после работы. На улице в одном бедном квартале с открытым рынком, обычно людным и шумным. Она будет прохаживаться вдоль прилавков, как будто высматривая шнурки или нитки. Если она решит, что все

чисто, то при виде него высморкается; в ином случае он должен будет пройти мимо, не узнав ее. Если им повезет, они смогут безопасно пообщаться в толпе минут пятнадцать и договориться о следующей встрече.

— А теперь мне пора, — сказала она, убедившись, что он все усвоил. — Я должна вернуться к девятнадцати тридцати. Надо отдать два часа молодежной лиге Антисекс: буду раздавать листовки или что-то вроде. Ну не дрянь ли? Отряхни меня, ладно? Травинок нет в волосах? Точно? Тогда прощай, любовь моя, прощай!

Она бросилась ему в объятия, поцеловала едва не до боли, а в следующую секунду уже юркнула между деревцами и почти бесшумно скрылась в роще. Он по-думал, что так и не выяснил ни ее фамилии, ни адреса. Хотя это было ни к чему, ведь они никогда не смогут ходить в гости друг к другу или писать письма.

Вышло так, что на прогалину они больше не вернулись. В течение мая им удалось еще лишь раз заняться любовью в другом укрытии, известном Джулии: на колокольне разрушенной церкви, в почти безлюдной местности, где тридцать лет назад упала атомная бомба. Отличное укрытие само по себе, но дорога туда была очень

опасной. В остальном они могли видеться только на улицах, всякий вечер в новом месте и не дольше, чем на полчаса. На улице обычно удавалось пообщаться, прибегая к ухищрениям. Они двигались в толчее по тротуару, не рядом и не поднимая глаз друг на друга, и вели причудливый разговор, который то и дело прерывался, словно луч маяка, вблизи телеэкрана или при приближении партийца, а через несколько минут продолжался с середины предложения. Снова резко обрывался, когда они расходились в условленном месте, и возобновлялся почти без преамбулы на следующий день. Джулия, похоже, вполне привыкла к такому «общению в рассрочку», как она это называла. А еще она мастерски владела умением говорить, едва шевеля губами. И только раз за месяц таких вечерних встреч они смогли поцеловаться. Они молча шли по переулку (Джулия никогда не подавала голоса вне людных улиц), как вдруг раздался оглушительный рев, земля содрогнулась, воздух потемнел, и Уинстон в шоке оказался на боку, весь в синяках. Должно быть, бомба упала совсем близко. Внезапно он увидел лицо Джулии в нескольких сантиметрах от себя, смертельно-бледное, как мел. Даже губы ее побелели. Она была мертва!

Он прижал девушку к себе, покрывая поцелуями, и почувствовал тепло живого лица. Но губы его покрыл какой-то белый порошок. Лица у обоих оказались густо присыпаны известкой.

Бывали вечера, когда они являлись на *рандеву*, но проходили друг мимо друга как чужие, если из-за угла показывался патруль или над ними зависал вертолет. Но даже без этих опасностей им было сложно выкраивать время для встреч. Уинстон работал шестьдесят часов в неделю, Джулия даже больше, а выходные у обоих плавали в зависимости от объема работы и совпадали нечасто. К тому же у Джулии редко выдавался свободный вечер. Она тратила уйму времени на лекции и парады, раздачу брошюр молодежной лиги Антисекс, изготовление транспарантов для Недели Ненависти, сбор средств на хозяйственные нужды и тому подобные занятия. Оно того стоит, утверждала она, ведь это камуфляж. Если придерживаться мелких правил, можно нарушать большие. Она даже уговорила Уинстона пожертвовать еще одним вечером в неделю и записаться в бригаду добровольцев по изготовлению боеприпасов, куда вступали самые ревностные члены Партии. И теперь раз в неделю Уинстон изнывал от скуки по четыре часа,

свинчивая металлические детальки, вероятно, для использования в бомбовых взрывателях. Работа в полутемной мастерской, на сквозняке, где стук молотков тоскливо сливался с музыкой телеэкранов.

Когда же они встретились на колокольне, то наверстали все пробелы в общении. Вечер выдался знойный. В маленькой квадратной комнатке над звонницей было душно и нестерпимо пахло голубиным пометом. Они несколько часов просидели за разговорами на пыльном полу, замусоренном веточками, и время от времени по очереди вставали, чтобы выглянуть из бойниц, не идет ли кто.

Джулии было двадцать шесть лет. Она делила общежитие с тридцатью другими девушками («Все провоняло бабами! Как я ненавижу баб»! — заметила она), а работала в Художественном отделе, на романной машине, как он верно решил раньше. Ей нравилось ее занятие, которое состояло в основном в запуске и обслуживании мощного, но капризного электромотора. Она «не отличалась умом», но любила работать руками и хорошо разбиралась в технике. Джулия могла описать весь процесс производства романа: от общей директивы сверху из планового комитета до

финальной доработки в Отделе правки. Но конечный продукт ее не интересовал. Ее «не слишком увлекало чтение», как она призналась. Книги ей казались всего лишь одним из потребительских товаров, наравне с джемом или шнурками.

Ее первые воспоминания относились к началу шестидесятых, а единственным близким человеком, который охотно говорил о времени до Революции, был ее дедушка. Он исчез, когда ей шел девятый год. В школе она стала капитаном хоккейной команды и два года подряд выигрывала первенство по гимнастике. До вступления в молодежную лигу Антисекс она успела побывать командиром отряда Разведчиков и секретарем отделения юношеской лиги. Она везде числилась на отличном счету. Ее даже выдвинули (свидетельство безупречной репутации) на работу в порносеке, подсекции Художественного отдела, которая выпускала дешевую порнографию на потребу пролам. Сами сотрудники называли эту секцию Гнойным домом, как сказала Джулия. Она проработала там год, занимаясь производством брошюрок в целлофане с названиями вроде «Их надо отшлепать» или «Одна ночь в женской школе» — их украдкой скупала пролетарская молодежь, распаляемая ощущением чего-то

нелегального.

— И на что похожи эти книжки? — спросил Уинстон с любопытством.

— О, чушь полнейшая. И скукотища, между прочим. Там только шесть сюжетов, но их слегка варьируют. Конечно, я работала только с барабанами. В Отдел правки меня не пускали. Не гожусь я в литераторы, милый, — даже для такого.

Он с изумлением узнал, что в порносеке, за исключением заведующих, работают одни девушки. Считается, что мужчины, половой инстинкт которых контролировать труднее, чем у женщин, подвергаются большей опасности развратиться на такой работе.

— Даже замужних туда стараются не брать, — добавила она.

Девушки всегда считаются чистыми созданиями. Джулия, конечно, исключение.

Первый роман у нее случился в шестнадцать лет с одним шестидесятилетним партийцем, который потом покончил с собой, чтобы избежать ареста.

— И правильно сделал, — сказала Джулия, — иначе из него бы вытянули мое имя на допросе.

С тех пор у нее были другие любовники. На жизнь она смотрела довольно просто. Ты хочешь

жить для себя; «они», то есть Партия, хотят тебе помешать; ты нарушаешь правила, как только можешь. То, что «они» хотят отнять у тебя удовольствия, казалось ей таким же естественным, как и то, что ты не хочешь попасться. Она ненавидела Партию и крыла ее последними словами, но особой критики не высказывала. Партийная идеология интересовала ее лишь в тех сферах, где затрагивала ее жизнь. Уинстон отметил, что она совсем не использует новояз, кроме слов, вошедших в общий обиход. О Братстве она никогда не слышала и не желала верить в его существование. Любое организованное противостояние Партии она считала полнейшей глупостью, обреченной на провал. Умный нарушает правила и при этом остается в живых. Уинстон смутно подумал, много ли подобных ей в молодом поколении — тех, кто вырос после Революции, не знает другого мира и воспринимает Партию как нечто неизменное, вроде неба над головой, не восстает против ее диктата, а просто уклоняется от него, как кролик от собаки.

О возможности женитьбы они и речь не заводили. Это было слишком туманное дело. Никакой партийный комитет никогда бы не дал им одобрения на брак, даже если бы каким-то образом

Уинстон смог избавиться от жены Кэтрин. Не стоило и мечтать.

— Какой она была, твоя жена? — поинтересовалась Джулия.

— Она была… Знаешь такое слово в новоязе — *хоромысл*? Означает человека, от природы правоверного и неспособного на дурную мысль.

— Слова не знаю, а вот людей таких — да, очень даже.

Он начал рассказывать ей о своей супружеской жизни, но Джулия, как ни странно, уже знала самое главное. Она описала ему, словно сама видела или чувствовала, как цепенело тело Кэтрин, едва он к ней прикасался, как она обнимала его и при этом словно отталкивала всеми силами. С Джулией он мог свободно обсуждать такие вещи; так или иначе Кэтрин давно перешла из разряда мучительных воспоминаний просто в неприятные.

— Я мог бы это вытерпеть, если бы не одна вещь. — И он рассказал ей о маленьком фригидном ритуале, который Кэтрин принуждала его проделывать над ней ровно раз в неделю. — Она все это ненавидела, но и слышать не хотела, чтобы перестать. Она это называла… ни за что не догадаешься.

— Наш долг перед Партией, — тут же отозвалась Джулия.

— Откуда ты знаешь?

— Я тоже ходила в школу, милый. Раз в месяц проводились беседы о половом воспитании для всех старше шестнадцати. И в юношеском движении тоже. Тебе это внушают годами. Смею сказать, со многими срабатывает. Но, конечно, точно никогда не знаешь; люди такие лицемеры.

Она решила развить эту тему. Любой разговор у Джулии сводился к ее собственной сексуальности. Всякий раз, затрагивая тему секса, она становилась очень проницательна. В отличие от Уинстона девушка ухватила самую суть партийного пуританства. Дело не только в том, что сексуальный инстинкт порождает собственный мир, неподвластный Партии, и потому подлежит искоренению. Важнее, что сексуальный голод порождает истерию, а это только на руку Партии, поскольку истерию можно направлять на военную горячку и поклонение вождю. Вот как она все это выразила:

— Когда занимаешься любовью, затрачиваешь энергию; а после ты счастлив и тебе на все плевать. Они такого вынести не могут. Им надо, чтобы тебя все время распирало. Все эти парады

вдоль улиц, громкие лозунги и флаги — это просто тухлый секс. Если ты счастлив внутри, зачем тебе возбуждаться на Большого Брата, планы Трехлеток, Двухминутки Ненависти и прочую хренотень?

В самую точку, подумал он. Между воздержанием и политической правоверностью есть прямая и тесная связь. А иначе как бы Партия поддерживала в своих членах столь необходимые ей страх, ненависть и фанатичную преданность, если не закупорив наглухо какой-нибудь мощный инстинкт, чтобы использовать его силу в своих целях? Сексуальное влечение несет угрозу Партии, и Партия поставила его себе на службу. Подобный же фокус она проделала с родительским инстинктом. Семью упразднить нельзя, так что в людях даже поощряют любовь к детям, почти как в прежние времена. Но вот детей систематически настраивают против родителей, учат шпионить за ними и докладывать о любых отклонениях. По существу, семью сделали придатком Мыслеполиции. Тем самым к каждому человеку приставили круглосуточных осведомителей, знавших его лично.

Неожиданно мысли Уинстона вернулись к Кэтрин. Кэтрин, несомненно, донесла бы на него

в Мыслеполицию, не будь она слишком тупой, чтобы уловить его инакомыслие. Но главное, что повернуло его мысли к ней, так это удушающий зной, от которого его лоб покрылся испариной. Он стал рассказывать Джулии о том, что случилось (точнее, чуть не случилось) почти таким же знойным летним вечером одиннадцать лет назад.

Месяца через три-четыре после женитьбы они пошли в групповой турпоход где-то в Кенте и потерялись. Они отстали от группы всего на пару минут, но повернули не туда и вышли к старому меловому карьеру. Перед ними был отвесный обрыв метров десять или двадцать глубиной с валунами на дне. Спросить дорогу было не у кого. Едва поняв, что они заблудились, Кэтрин очень заволновалась. Отстать хотя бы на минуту от оравы туристов виделось ей уже нарушением. Она захотела поскорее вернуться прежним путем и начать поиски в другом направлении. Но тут Уинстон заметил пучки вербейника, цветущего в расщелинах под ними. Один пучок был двухцветным, пурпурным и красно-кирпичным, хотя произрастал, очевидно, от одного корня. Уинстон никогда не видел ничего подобного и захотел показать это Кэтрин.

— Смотри, Кэтрин! Посмотри на те цветы. На

тот куст почти в самом низу. Видишь, там два разных цвета?

Кэтрин уже двинулась в обратный путь, но все же вернулась, не скрывая раздражения. Она даже нагнулась над откосом, чтобы рассмотреть, что он ей показывал. Уинстон, стоявший чуть сзади, положил для страховки руку ей на талию. И неожиданно подумал, что они здесь совершенно одни. Вокруг ни души, лист не шелохнется, птиц не слышно. В таком месте не стоило опасаться даже скрытого микрофона, да и что бы он мог уловить — только звуки. Был самый жаркий, самый сонный час дня. Солнце нещадно палило, пот щекотал лицо. И у него мелькнула мысль…

— Чего же ты не дал ей хорошего пенделя? — спросила Джулия. — Я бы дала.

— Да, дорогая, ты бы дала. И я тоже, будь я тогда таким, как сейчас. Скорее всего… Но я не уверен.

— Жалеешь, что не толкнул?

— Да. В общем и целом жалею.

Они сидели бок о бок на пыльном полу. Он притянул ее к себе. Голова ее легла ему на плечо, и душистый запах ее волос заглушил птичью вонь. Он подумал, что Джулия очень молода, что она еще ожидает чего-то от жизни и не понимает: ничего не решишь, если столкнешь с обрыва

одного неприятного человека.

— На самом деле это бы ничего не поменяло, — сказал он.

— Тогда почему ты жалеешь, что не сделал этого?

— Только потому, что предпочитаю действие бездействию. В игре, в которую мы играем, нам не одержать победу. Просто какие-то поражения лучше других, вот и все.

Он почувствовал, как она недовольно повела плечами. Джулия всегда возражала ему на такие слова. Не желала признавать, что одиночка по закону природы обречен на поражение. В каком-то смысле она сознавала, что обречена, что рано или поздно Мыслеполиция поймает ее и убьет, но вместе с тем убеждала себя, что можно выстроить тайный мир и жить в нем, как считаешь нужным. Для этого требуется удача, хитрость и дерзость. Она не понимала, что счастье недостижимо, что победа возможна лишь в далеком будущем, до которого никому из них не дожить, что лучше сразу считать себя трупом, как только ты объявляешь войну Партии.

— Мы мертвецы, — заявил он.

— Пока что еще нет, — резонно заметила Джулия.

— Физически — нет. Полгода, год… пять лет, возможно. Я боюсь смерти. Ты молода, так что наверняка боишься даже больше моего. Мы, конечно, будем оттягивать ее как можно дольше. Но разница очень невелика. Пока человек остается человеком, смерть или жизнь — разницы нет.

— Какая чушь! С кем бы ты хотел спать: со мной или скелетом? Разве тебе не нравится, что ты живой? Не нравится чувствовать: вот он я, вот моя рука, вот моя нога, я реален, я плотный, я живой! Не нравится *это*?

Она развернулась и прижалась к нему грудью. Он почувствовал ее груди сквозь комбинезон, полные, но крепкие. Ее тело словно бы вливало в него часть своей юности и задора.

— Да, нравится, — подтвердил он.

— Тогда хватит говорить о смерти. А теперь послушай, дорогой: нам надо условиться насчет следующей встречи. Мы вполне можем опять наведаться на лесную прогалину. Мы дали ей хорошенько проветриться. Но в этот раз ты поедешь туда другим путем. Я уже все продумала. Ты сядешь на поезд… подожди, дай-ка лучше нарисую.

Она в своей практичной манере сгребла пыль на полу в квадратик и начала чертить карту прутиком из голубиного гнезда.

IV

Уинстон оглядел обшарпанную комнатку над лавкой мистера Чаррингтона. Огромная кровать у окна с голым валиком вместо подушек была застелена рваными покрывалами. На каминной полке тикали старинные часы с двенадцатью цифрами. В полутемном углу на раскладном столике поблескивало стеклянное пресс-папье, купленное в прошлый раз.

За решеткой камина стоял потертый жестяной примус, кастрюлька и две чашки, одолженные у мистера Чаррингтона. Уинстон зажег фитиль и поставил кастрюльку с водой на огонь. Он принес с собой целый пакет кофе «Победа» и несколько таблеток сахарина. Стрелки часов показывали семнадцать двадцать, хотя на самом деле было уже девятнадцать двадцать. В девятнадцать тридцать должна прийти Джулия.

Блажь, блажь, твердило его сердце: явная, ненужная, смертельная блажь. Из всех преступлений, какие мог совершить член Партии, такое скрыть почти невозможно. Сама эта идея пришла к нему, когда он представил стеклянное пресс-папье, которое отражается в глади раскладного столика. Как Уинстон и предполагал, уговорить

мистера Чаррингтона сдать комнату не составило труда. Тот обрадовался, что удастся заработать несколько долларов. А когда узнал, что комната нужна Уинстону для любовных свиданий, не смутился и не перешел на пошлую фамильярность. Напротив, он отвел глаза и заговорил об этом с такой деликатностью, будто частично превратился в невидимку.

«Уединение, — сказал он, — это очень ценная вещь. Каждому нужно место, где можно побыть одному. Когда у тебя есть такое место, обычная вежливость требует, чтобы каждый знающий о нем держал эти сведения при себе». И добавил, словно бы совсем развоплотившись, что в доме есть два входа: через лавку и через задний двор, из переулка.

Под окном кто-то пел. Уинстон выглянул, прикрывшись муслиновой занавеской. Июньское солнце стояло высоко в небе, а внизу, на залитом светом дворе, топала между корытом и бельевой веревкой здоровенная баба в холщовом переднике, мощная, как норманнская колонна, с натруженными красными руками. Она развешивала белые прямоугольники — пеленки, понял Уинстон. Когда ее рот не был занят прищепками, она выводила могучим контральто:

Давно уж нет мечтаний, сердцу милых.

Они прошли, как первый день весны,

Но позабыть я и теперь не в силах

Тем голосом навеянные сны!

Вот уже несколько недель, как эта мелодия гуляла по Лондону. Подобные песенки на радость пролам поставляла в бесчисленном множестве подсекция Музыкального отдела. Их тексты сочинялись на устройстве под названием версификатор без всякого вмешательства людей. Но женщина пела так мелодично, что эта дребедень почти ласкала слух. Вместе с пением Уинстон слышал шарканье туфель певицы по каменным плитам, детские крики на улице и доносившийся издалека гул транспорта, однако в комнате было на удивление тихо благодаря отсутствию телеэкрана.

«Блажь, блажь, блажь»! — вновь подумал он.

Немыслимо было надеяться, что они смогут здесь встречаться дольше нескольких недель, прежде чем их поймают. Но соблазн иметь свое гнездышко — свое и больше ничье — под крышей и недалеко от дома был слишком велик. После встречи в заброшенной церкви им все никак не

удавалось побыть вдвоем. В преддверии Недели Ненависти рабочий день резко увеличили. Впереди оставалось еще больше месяца, но необъятные многотрудные приготовления требовали активного участия каждого. Наконец, Уинстон с Джулией умудрились выкроить свободное время. Они условились поехать на лесную прогалину. Вечером накануне они торопливо встретились на улице. Как обычно, он почти не смотрел на нее, приближаясь сквозь толпу, но, едва бросив взгляд, отметил ее бледность.

— Все отменяется, — пробормотала она, как только увидела, что можно говорить. — Я про завтра.

— Что?

— Завтра вечером. Я не смогу.

— Почему?

— Да просто месячные. Раньше обычного.

Сперва он жутко рассердился. За месяц отношений природа его влечения к ней поменялась. Вначале он не испытывал настоящей чувственности. Их первая близость шла от головы. Но вторая раскрыла в нем что-то новое. Запах ее волос, вкус губ, ощущение ее кожи словно бы пропитали его или воздух вокруг него. Она стала ему физически необходима, он уже не просто хо-

тел ее, но и чувствовал, что она — его. Услышав, что Джулия не сможет прийти, он подумал, что она его обманывает. Но тут толпа надавила, и руки их соприкоснулись. Она быстро пожала ему кончики пальцев, выразив не столько страсть, сколько привязанность. Он вдруг понял, что время от времени такие осечки должны быть в порядке вещей, когда живешь с женщиной; и его охватила глубокая, неведомая раньше нежность к ней. Ему захотелось, чтобы они были женаты уже десять лет. Захотелось гулять с ней по улицам, как сейчас, только открыто, без страха, и болтать о пустяках, и покупать всякую всячину для дома. А больше всего он жаждал, чтобы у них было такое место, где они могли бы спокойно побыть вдвоем, не думая только о том, как бы скорее заняться любовью. Но идея снять комнату у мистера Чаррингтона осенила его не сразу, а только на следующий день. Когда он предложил это Джулии, она согласилась с удивительной для него готовностью. Оба понимали, что это безумие. Они словно бы намеренно приближались к собственным могилам.

Вот и сейчас, сидя на краю кровати, он подумал о подвалах Министерства любви. Странное дело, как этот неотвратимый кошмар то забывался, то

снова напоминал о себе. Он надежно застолбил за собой будущее, предваряя смерть, как 99 предваряет 100. Его не избежать, но, пожалуй, можно отсрочить; однако же вместо этого человек то и дело сознательно и старательно приближает неминуемый конец.

Послышались быстрые шаги на лестнице. В комнату ворвалась Джулия. С собой она принесла коричневую брезентовую сумку, с какой он иногда видел ее по дороге в министерство и обратно. Он потянулся к девушке, чтобы обнять, но она поспешно высвободилась отчасти из-за мешающей громоздкой сумки.

— Секундочку, — сказала она. — Дай только покажу, что притащила. Ты ведь не принес эту гадость, кофе «Победа»? Я так и знала. Неси назад, откуда взял — он нам не понадобится. Смотри.

Она опустилась на колени, раскрыла сумку и вывалила лежавшие сверху гаечные ключи и отвертку. Под ними покоились несколько аккуратных бумажных свертков. Первая же врученная Уинстону упаковка показалась ему странно знакомой на ощупь. Под пальцами проминалась увесистая масса, похожая на песок.

— Неужели сахар? — удивился он.

— Настоящий сахар. Не сахарин — сахар. А вот

батон хлеба — хорошего белого хлеба, не нашей ваты — и баночка джема. А вот немного молока… Но гляди! Это моя главная гордость. Пришлось завернуть в мешковину, чтобы…

Но она могла не объяснять ему — запах уже наполнил комнату, насыщенный и жаркий, словно дух из его раннего детства. Изредка ему случалось уловить его таинственным мимолетным шлейфом в каком-нибудь коридоре (прежде чем захлопнется с грохотом дверь) или уличной толчее.

— Это кофе, — пробормотал он, — настоящий кофе.

— Кофе Внутренней Партии, — сказала она. — Здесь целое кило.

— Как ты сумела раздобыть все это?

— Из запасов Внутренней Партии. У этих сволочей есть все, буквально все. Но официанты и челядь — все понемножку, — конечно, таскают. И… глянь, у меня даже есть пакетик чая.

Уинстон уселся на пол рядом с ней. Он надорвал пакетик.

— Настоящий чай. Не ежевичные листья.

— В последнее время появилось много чая. Индию заняли или вроде того, — объяснила она рассеянно. — Но, слушай, милый. Я хочу, чтобы

ты отвернулся минутки на три. Иди, посиди с той стороны кровати. Не слишком близко к окну. И не оборачивайся, пока не разрешу.

Уинстон праздно смотрел во двор сквозь муслиновую занавеску. Внизу баба с красными руками все так же расхаживала между корытом и веревкой. Она вынула изо рта еще две прищепки и запела с глубоким чувством:

Пусть говорят мне: время все излечит.
Пусть говорят: страдания забудь.
Но музыка давно забытой речи
Мне и сегодня разрывает грудь!

Похоже, она знала наизусть всю эту вздорную песенку. Ее голос — очень мелодичный, полный самозабвенной меланхолии — взмывал в нежном летнем воздухе. Казалось, что она была бы совершенно счастлива, если бы этот июньский вечер длился вечно, а запас белья никогда не иссякал — лишь бы тысячу лет развешивать пеленки и напевать всякую чушь. Уинстон с удивлением подумал, что ни разу не слышал хоть одного партийца, поющего самого по себе, без видимой причины. Это сочли бы признаком вольнодумства, опасной эксцентричностью вроде привычки разговаривать с самим собой.

Возможно, только живущим впроголодь людям есть о чем петь.

— Можешь повернуться, — сказала Джулия.

Он повернулся — и в первый миг с трудом узнал ее. На самом деле он ожидал увидеть ее голой. Но девушка была одета. Преображение оказалось куда более смелым. Она накрасилась.

Должно быть, она заскочила в какой-нибудь магазин в пролетарском квартале и купила полный набор косметики. Губы покрашены в пунцовый, щеки — нарумянены, нос — напудрен; даже глаза чем-то оттенены. Макияж не слишком искусный, но и познания Уинстона в этой области были весьма скромны. Он никогда еще не видел (и даже не представлял) женщину из Партии с косметикой на лице. Джулия просто расцвела. Лишь несколько касаний краской в нужных местах — и она не только похорошела, но, что еще важнее, стала женственнее. Короткая стрижка и мальчишеский комбинезон только усиливали это впечатление. Уинстон крепко обнял ее, и нос ему защекотал синтетический запах фиалок. В памяти всплыла тусклая подвальная кухня и женщина с беззубым ртом. От нее пахло так же; но это уже не имело значения.

— И духи! — воскликнул он.

— Да, дорогой, и духи. А знаешь, что я теперь сделаю? Я собираюсь где-нибудь достать настоящее женское платье и начну носить его вместо этих чертовых брюк. Буду носить шелковые чулки и туфли на высоком каблуке! В этой комнате я женщина, а не партийный товарищ.

Они скинули с себя одежду и забрались на огромную кровать из красного дерева. Он впервые разделся перед ней догола. До сих пор он стыдился своего бледного тщедушного тела, варикозных вен на икрах и пятна над щиколоткой. Простыней не было, но они расстелили потертое гладкое одеяло, а размер кровати и ее упругость изумили их.

— Наверно, в ней полно клопов, — сказала Джулия, — но какая разница?

Теперь двуспальные кровати остались только в домах пролов. Уинстону случалось спать на подобной в детстве, а Джулия, сколько себя помнила, ни разу на такой не лежала.

После они ненадолго уснули. Когда Уинстон проснулся, время подходило к девяти. Он не пошевелился, так как Джулия спала у него на руке. Почти весь ее макияж переместился ему на лицо и на валик, но остаток румян подчеркивал красоту скулы. Желтый луч заходящего

солнца пересекал изножье кровати и камин, где вовсю кипела вода в кастрюльке. Со двора уже не слышалось пение, но с улицы доносились отдаленные детские крики. Уинстон лениво подумал, могло ли быть чем-то обычным в упраздненном прошлом, чтобы мужчина и женщина лежали вот так в постели прохладным летним вечером без одежды, занимаясь любовью, когда захотят, разговаривая, о чем захотят, без всякой спешки — просто лежали и слушали мирные звуки с улицы? Не может быть, чтобы такое хоть когда-то было в порядке вещей. Джулия проснулась, потерла глаза и, приподнявшись на локте, посмотрела на примус.

— Половина воды выкипела, — сказала она. — Сейчас встану, заварю кофе. У нас еще час. Во сколько вырубают свет в твоем доме?

— Двадцать три тридцать.

— В общаге — в двадцать три. Но возвращаться надо раньше, а то… Эй! Пошла отсюда, гадина такая!

Джулия свесилась с кровати, схватила туфлю, размахнулась, как мальчишка, и запустила ее в угол в той же манере, как когда-то на Двухминутке Ненависти швырнула словарь в Голдштейна.

— В чем дело? — удивился Уинстон.

— Крыса. Высунула морду из-за панели. Там дыра внизу. Но я хорошенько ее пуганула.

— Крысы! — вздохнул Уинстон. — В этой комнате!

— Да они повсюду, — сказала Джулия равнодушно и снова легла. — Даже в общаге на кухне бывают. В отдельных районах Лондона кишмя кишат. Ты знаешь, что они на детей нападают? Да, нападают. Есть улицы, где женщина не может оставить ребенка даже на пару минут. Хуже всего здоровые такие, бурые. А как противно, что эти твари всегда…

– *Ну, перестань!* — вскрикнул Уинстон, крепко зажмурившись.

— Миленький! Ты аж побледнел. Что такое? Терпеть не можешь крыс?

— Крысы… Страшнее любых ужасов!

Она прижалась к нему, обвила руками и ногами, как бы стараясь придать ему сил теплом своего тела. Уинстон не сразу открыл глаза. Несколько секунд у него было ощущение, словно он опять видит кошмар, который всю жизнь периодически мучил его. Он повторялся почти без изменений. Уинстон стоял на пороге тьмы, а по другую сторону было нечто невыносимое, нечто слишком чудовищное. И все время над ним

довлело ощущение самообмана, потому что на самом деле он знал, что там таилось за порогом. Чудовищным усилием он мог бы даже вытащить это нечто на свет, словно бы выкрутив часть своего мозга. И каждый раз он просыпался, так и не узнав, что это такое. Каким-то образом оно было связано со словами Джулии, которые он не дослушал.

— Извини, — сказал он. — Это ерунда. Мне просто не нравятся крысы, вот и все.

— Не волнуйся, милый, мы не пустим сюда этих зверюг. Перед уходом я заткну дыру тряпкой. А в следующий раз принесу штукатурку — и заделаем ее как следует.

Черный миг паники почти прошел. Уинстон приподнялся и откинулся на спинку кровати, чуть стыдясь своего срыва. Джулия встала с кровати, надела комбинезон и заварила кофе. Запах от кастрюльки шел до того крепкий и бодрящий, что им пришлось закрыть окно, иначе кто-нибудь его бы почуял и начал вызнавать. Самым приятным в кофе был даже не его вкус, а сахарная шелковистость — Уинстон почти забыл это ощущение после стольких лет на сахарине. Джулия ходила по комнате, засунув одну руку в карман и держа в другой хлеб с джемом: равнодушно

оглядывала книжный стеллаж, прикидывала, как лучше отремонтировать раскладной столик, плюхалась в драное кресло, проверяя удобство, и со снисходительным любопытством рассматривала нелепые часы с двенадцатью цифрами. Она взяла стеклянное пресс-папье и подошла к кровати, чтобы лучше его рассмотреть. Уинстон взял у нее эту игрушку, залюбовавшись, как и прежде, матовым, дождевым блеском стекла.

— Для чего это, как думаешь? — поинтересовалась Джулия.

— Думаю, ни для чего… То есть не уверен, что эту вещь как-то использовали в практических целях. Это мне в ней и нравится. Кусочек истории, который они забыли исправить. Послание из прошлого века — надо только суметь прочитать его.

— А картинка на стене, — она кивнула на гравюру, — тоже из прошлого века?

— Старше. Из позапрошлого, пожалуй. Трудно сказать. Теперь нельзя так просто определить возраст вещей.

Она подошла к гравюре поближе.

— Вот откуда эта зверюга высунула нос, — сказала она, пнув панель под самой картиной. — Что тут нарисовано? Я раньше где-то видела.

— Это церковь, по крайней мере была когда-то.

Святого Климента Датского, так она называлась. — Ему на ум пришел стишок, который декламировал мистер Чаррингтон, и он произнес с оттенком ностальгии: — *Апельсинчики как мед, в колокол Сент-Клемент бьет.*

К его изумлению, Джулия продолжила:

– И звонит Сент-Мартин:
Отдавай мне фартинг.
А Олд-Бейли, ох, сердит:
Возвращай должок! – гудит.

Что там дальше, не помню. Но конец, будь уверен, такой: *«Вот зажгу я пару свеч — ты в постельку можешь лечь; вот возьму я острый меч — и головка твоя с плеч»!*

Это прозвучало как пароль и отзыв. Но после «Олд-Бейли» должна была быть еще строчка. Возможно, удастся вытянуть ее из памяти мистера Чаррингтона, если должным образом его мотивировать.

— Кто тебя научил? — спросил он.

— Дедушка. Рассказывал мне стишки, когда я была совсем маленькой. Его испарили, когда мне было восемь… Так или иначе он исчез. Интересно, как выглядят апельсины? — добавила она неожиданно. — Лимоны я видела. Желтые такие,

с пимпочкой.

— Я тоже помню лимоны, — сказал Уинстон. — В пятидесятые их было немало. Кислющие такие: только понюхаешь, уже зубы сводит.

— Спорим, в этой картине клопы? — продолжила Джулия. — Я сниму ее и как-нибудь почищу хорошенько. Похоже, нам уже скоро пора. Надо мне смывать краску. Вот тоска! А потом сотру помаду с твоего лица.

Уинстон повалялся еще несколько минут. В комнате темнело. Он повернулся к свету и стал всматриваться в пресс-папье. Его бесконечно притягивал не коралл, а сама внутренность стекла. В нем виднелась такая глубина и вместе с тем воздушная прозрачность. Словно бы поверхность стекла была небесным сводом, заключавшим в себе крохотный мир со своей атмосферой. И ему чудилось, что он мог попасть туда, что он уже там вместе с этой старинной кроватью, и раскладным столиком, и часами, и гравюрой, и самим этим пресс-папье. Игрушка представляла собой эту комнату, а коралл — их с Джулией жизнь, как бы в вечности замершую в сердце этого кристалла.

V

Исчез Сайм. Однажды утром он просто не вышел на работу; кое-кто беспечно высказался о его отсутствии. На следующий день никто о нем не вспоминал. На третий день Уинстон вышел в вестибюль Отдела документации и взглянул на доску объявлений. В числе прочего там висел напечатанный список членов Шахматного комитета, в котором состоял Сайм. Список был почти как раньше — никаких исправлений, — только стал короче на одну фамилию. Все ясно. Сайма больше не было; его никогда не было.

Жара держалась удушающая. В министерских лабиринтах, в комнатах без окон, кондиционеры поддерживали нормальную температуру, но на улицах тротуары обжигали ноги, а в метро в часы пик было не продохнуть. Подготовка к Неделе Ненависти шла полным ходом, и сотрудники всех министерств работали сверхурочно. Демонстрации, митинги, военные парады, лекции, восковые муляжи, выставки, кинопоказы, телепрограммы — все это требовало организации; надо было возвести трибуны, смонтировать статуи, составить лозунги, написать песни, запустить слухи, подделать фотографии. Бригаду Джулии в Худо-

жественном отделе перебросили с производства романов на брошюры о вражеских зверствах. Уинстон, помимо своей обычной работы, каждый день подолгу прочесывал подшивки «Таймс», изменяя и приукрашивая сводки новостей, которые предназначались для зачитывания на докладах. Поздними вечерами, когда по улицам бродили шумные толпы пролов, город словно лихорадило. Бомбы с ракетными ускорителями сыпались чаще обычного, а иногда вдалеке громыхали чудовищные взрывы, источник которых никто не мог объяснить, что порождало дикие слухи.

Телеэкраны бесконечно крутили новую музыкальную тему Недели Ненависти — Песню Ненависти, как ее называли. Лающий варварский ритм заслуживал определения музыки не больше, чем барабанный бой. Когда Песню Ненависти орали сотни глоток под стройный топот, становилось страшно. Пролы приняли ее на ура, так что она потеснила на ночных улицах все еще популярную «Давно уж нет мечтаний». Дети Парсонсов исполняли Песню Ненависти в любой час дня и ночи, чудовищно аккомпанируя себе на расческах. Уинстон по вечерам был загружен, как никогда. Бригады добровольцев под руководством Парсонса готовили улицу к

Неделе Ненависти: шили знамена, рисовали плакаты, укрепляли флагштоки на крышах и, рискуя жизнью, натягивали проволоку через улицу для вывешивания лент с лозунгами. Парсонс хвастался, что только на флаги и транспаранты для жилкомплекса «Победа» пошло четыреста метров материи. Он попал в свою стихию и был счастлив как ребенок. Жара и ручной труд давали ему повод щеголять по вечерам в шортах и рубашке с короткими рукавами. Он рыскал всегда и всюду: что-то толкал, что-то тянул, пилил, прибивал, изобретал, всех веселил и по-товарищески подбадривал, и все поры его тела источали, похоже, нескончаемые запасы едкого пота.

Неожиданно по всему Лондону расклеили новый плакат. Никаких надписей, лишь гигантская чудовищная фигура евразийского солдата в три-четыре метра высотой, который шагал вперед с непроницаемым монгольским лицом, в огромных сапогах, с автоматом наперевес. Откуда бы ты ни смотрел на плакат, дуло автомата диаметром с артиллерийскую пушку всегда было направлено прямо на тебя. Плакаты висели везде, где только можно, численно превзойдя даже портреты Большого Брата. Обычно равнодушных к войне пролов взнуздывали до очередного припадка

патриотизма. И будто в унисон общему настрою, бомбы стали убивать людей в небывалых количествах. Одна из них угодила в переполненный кинотеатр в Степни, похоронив под развалинами несколько сотен человек. Все население прилегающих кварталов вышло на похороны; они длились несколько часов и переросли в митинг протеста. Другая бомба разорвалась на пустыре с детской площадкой, и несколько десятков детей разорвало в клочья. Последовали новые гневные демонстрации, сожгли чучело Голдштейна, сорвали со стен и уничтожили в пламени сотни плакатов с евразийским солдатом; в общей суматохе разграбили несколько магазинов. Потом разнесся слух, что шпионы наводят бомбы при помощи радиоволн; кто-то поджег дом пожилой четы, заподозренной в иностранном происхождении, и старики задохнулись в дыму.

В комнате над лавкой мистера Чаррингтона, когда им удавалось туда выбраться, Джулия с Уинстоном лежали голышом бок о бок и прохлаждались в постели у открытого окна. Крыса больше не показывалась, хотя клопы в жару размножились в страшных количествах. Но парочке было все равно. Грязной или чистой, эта комната стала раем. Едва войдя, они посыпали все вокруг

перцем, купленным на черном рынке, срывали одежду и, потные, предавались любви; потом они засыпали, а проснувшись, обнаруживали, что клопы снова сплотились и стягиваются для контратаки.

Четыре, пять, шесть… семь раз они встречались в течение июня. Уинстон бросил привычку пить джин в любое время дня. У него как будто пропала сама потребность. Он набрал вес, варикозная язва уменьшилась, оставив только коричневое пятно над щиколоткой, прекратились приступы кашля по утрам. Жизнь перестала казаться невыносимой, ему больше не хотелось строить рожи телеэкрану или орать во весь голос ругательства. Теперь, когда у них было надежное укрытие, почти свой дом, ему не казалось таким уж лишением, что они могут встречаться лишь изредка и всего на пару часов. Важно было, что у них имелась сама эта комната. Знать о ее существовании только для них одних было почти то же самое, что находиться в ней. Эта комната стала отдельным миром, заповедником прошлого, где водились вымершие животные. Уинстон причислял к ним мистера Чаррингтона. Обычно по пути в комнату он останавливался поболтать с хозяином. Старик, похоже, редко выходил из

дома, если вообще выходил, и в лавку к нему почти никто не заглядывал. Его призрачное бытие протекало между крохотной темной лавкой и еще более тесной кухонькой, где он готовил себе еду и где среди прочих вещей стоял немыслимо древний граммофон с огромным раструбом. Казалось, старик всегда был рад поболтать. Длинноносый и сутулый, в толстых очках и бархатном пиджаке, он слонялся среди своих никчемных залежей, похожий больше на коллекционера, чем на торговца. Он трогал с увядшим воодушевлением какую-нибудь безделушку — фарфоровую затычку для бутылки, разрисованную крышку от сломанной табакерки, позолоченный медальон с прядью неведомого и давно умершего ребенка — и предлагал Уинстону не купить ее, а просто полюбоваться. Речь его напоминала мелодию давно изношенной музыкальной шкатулки. Он извлек из закоулков своей памяти еще несколько обрывков забытых стишков. Один был про птиц в пироге, другой про криворогую корову, а еще один про смерть снегиря. «Просто подумалось, вам может быть интересно», — говорил он с неловким смешком перед тем, как озвучить очередной фрагмент. Но ни в одном стишке он не мог припомнить больше двух-трех строк.

Уинстон с Джулией понимали — точнее, постоянно помнили, — что такое положение вещей не может длиться долго. Бывало, что грядущая смерть казалась им такой же ощутимой, как и кровать, на которой они лежали. Тогда они прижимались друг к другу со страстью обреченных, как пропащая душа хватает последние крохи наслаждения за миг до Страшного суда. Но в другие дни они тешили себя иллюзией не только безопасности, но и постоянства. Во всяком случае, пока они находились в комнате, им казалось, что ничего плохого с ними не случится. Путь до убежища был трудным и опасным, но сама комната стала неприкосновенным святилищем. Похожее чувство Уинстон испытывал, вглядываясь в пресс-папье. Тогда ему чудилось, что он сейчас окажется в самой сердцевине стеклянного мира и время замрет. Часто они предавались грезам о спасении. Удача никогда их не покинет, и они продолжат все так же встречаться тайком до самой старости. Или Кэтрин умрет, и Уинстон с Джулией с помощью разнообразных ухищрений смогут пожениться. Или они совершат двойное самоубийство. Или скроются: изменят внешность, освоят пролетарский диалект, устроятся работать на фабрику и будут жить, никем не

узнанные, на задворках. Но оба понимали, что все это чепуха. В действительности спасения не было. Единственный реально выполнимый план — самоубийство — они не спешили приводить в исполнение. Казалось, непобедимый инстинкт велел им день за днем и неделю за неделей существовать в подвешенном состоянии, растягивая настоящее, у которого нет будущего — так легкие всегда делают следующий вдох, пока еще есть воздух.

Иногда они говорили об участии в активном сопротивлении Партии, хотя совершенно не представляли, с чего нужно начинать. Даже если мифическое Братство действительно существует, как найти к нему дорогу? Уинстон рассказал Джулии о странной близости, возникшей (возникшей ли?) между ним и О'Брайеном, что иногда его так и тянет пойти к О'Брайену, признаться в противостоянии Партии и попросить о помощи. Как ни странно, Джулия не посчитала это несусветной глупостью. Она привыкла судить о людях по лицам, и ей казалось естественным, когда по мимолетному взгляду О'Брайена Уинстон сумел понять, что тот заслуживает доверия. Более того, она считала само собой разумеющимся, что втайне все или почти все ненавидят Партию

и норовят при любой возможности нарушить ее правила. Но она не верила в существование — и даже в саму возможность существования — разветвленной и организованной оппозиции. Джулия считала, что россказни о Голдштейне и его подпольной армии Партия выдумала в собственных интересах и всем приходится притворяться, что они верят в эту чушь. На бессчетных партийных собраниях и стихийных демонстрациях она изо всех сил вопила, требуя смертной казни для людей, чьи имена впервые слышала и в чьи преступления ничуть не верила. Когда шли публичные процессы, она всегда стояла в отрядах Юношеской лиги, с утра до ночи окружавших здание суда и скандировавших: «Смерть предателям»! На Двухминутках Ненависти она громче всех выкрикивала разные оскорбления в адрес Голдштейна. Однако у нее было весьма смутное представление о том, кто это такой и в чем суть его учения. Она выросла после Революции и не могла помнить идеологических баталий пятидесятых и шестидесятых годов. Такое явление, как независимое политическое движение, лежало за гранью ее понимания. В любом случае Партия непобедима. Партия будет всегда и никогда не изменится. Противиться ей можно лишь

тайным неповиновением или, самое большее, отдельными актами террора: кого-нибудь убить, что-нибудь взорвать.

В некоторых отношениях она была проницательнее Уинстона и менее подвержена партийной пропаганде. Однажды, когда Уинстон между делом упомянул войну с Евразией, Джулия небрежно заметила, весьма его изумив, что никакой войны, по ее мнению, не было и нет. А бомбы, которые каждый день падают на Лондон, скорее всего, запускаются по приказу правительства Океании, «чтобы держать людей в страхе». Уинстону подобная мысль никогда не приходила в голову. Один раз он даже позавидовал Джулии, когда она призналась, что на Двухминутках Ненависти ей стоит больших усилий не расхохотаться. Но учение Партии она подвергала сомнению только в тех случаях, когда оно напрямую задевало ее интересы. Зачастую она была готова принять официальный миф просто потому, что ей было неважно, правда это или ложь. Например, она верила, что Партия, как учили в школе, изобрела самолет. (Уинстон помнил, что в пятидесятые, когда он был школьником, утверждали, что Партия изобрела лишь вертолет; через десяток лет в школьные годы Джулии стали

уже говорить о самолетах; еще через поколение, подумал Уинстон, Партии припишут изобретение паровоза.) Когда он рассказал Джулии, что самолет изобрели до его рождения и задолго до Революции, ее это нисколько не заинтересовало. Впрочем, какая разница, кто изобрел самолет? Больше его поразило, что Джулия совершенно не помнила, как четыре года назад Океания воевала против Остазии и была в мире с Евразией. Правда, Джулия и саму войну считала аферой, так что какое ей было дело до смены противника. «Я думала, мы всегда воевали с Евразией», — призналась она рассеянно. Это его слегка испугало. Пусть самолеты изобрели за много лет до ее рождения, но военный противник сменился всего четыре года назад, когда она была уже взрослой. Он растолковывал ей все это минут пятнадцать. С трудом она припомнила, что вроде бы когда-то врагом действительно была Остазия, а не Евразия. Но это все равно казалось ей неважным. «Ну и что? — сказала она раздраженно. — Всегда идут эти чертовы войны, и все слова о них — сплошное вранье».

Иногда он рассказывал ей об Отделе документации, о возмутительных подлогах, которыми он занимался. Но это, похоже, не ужасало ее.

Пропасть не разверзалась у нее под ногами при мысли, что ложь становится правдой. Он рассказал ей про Джонса, Аронсона и Рузерфорда, как в руки ему случайно попал обрывок газеты. Это не произвело на нее особого впечатления. Джулия просто не уловила смысла истории.

— Они были твоими друзьями? — спросила она.

— Нет, мы не были знакомы. Они были членами Внутренней Партии. К тому же гораздо старше меня. Они из прежних времен, до Революции. Я едва знал их в лицо.

— Тогда о чем переживать? Людей все время убивают, разве нет?

Он попытался ей объяснить.

— Это исключительный случай. Здесь вопрос не в том, что кого-то убили. Ты сознаешь, что прошлое, начиная со вчерашнего, фактически отменено? Если оно где и сохранилось, то только в материальных предметах, к которым не привязаны слова — вроде этой стеклянной штуки. Мы и так уже почти ничего не знаем ни о Революции, ни о времени до нее. Все записи уничтожены или подделаны, каждая книга переписана, каждая картина тоже, каждая статуя, и улица, и здание переименованы, все даты передвинуты. И

этот процесс не прекращается ни на день, ни на минуту. История закончилась. Нет больше ничего, кроме бесконечного настоящего, в котором Партия всегда права. Я-то *знаю*, что прошлое подделано, но никогда не смогу этого доказать, даже если сам занимаюсь фальсификацией. Когда дело сделано, не остается никаких свидетельств. Единственное доказательство у меня в голове, но нет никакой уверенности, что кто-то еще помнит то же самое. Только тогда, в первый и последний раз за всю мою жизнь, я держал в руках действительное надежное доказательство события, годы спустя *после* его завершения.

— И что толку?

— Толку никакого, потому что я его выбросил через несколько минут. Но если бы такое случилось сегодня, я бы оставил.

— А я бы нет, — сказала Джулия. — Я готова рисковать, но только ради чего-то стоящего, не за клочок старой газеты. Что бы ты с ним сделал, даже если бы оставил?

— Мало что, наверное. Но это было доказательство. Оно могло бы посеять в ком-то сомнения, если бы я осмелился кому-нибудь его показать. Я вовсе не ожидаю, что мы способны хоть что-нибудь изменить при нашей жизни. Но можно

представить, как в разных местах возникнут крохотные очаги сопротивления — группки сплоченных вместе людей, — как они постепенно будут расти и, может, даже оставят какие-то записи, чтобы следующее поколение продолжило нашу борьбу.

— Милый, меня не волнует следующее поколение. Только *мы*.

— Ты бунтарка только ниже пояса, — сказал он.

Эта фраза показалась ей невероятно остроумной, и девушка в восторге его обняла.

Хитросплетения партийной идеологии совершенно не увлекали ее. Стоило ему заговорить о принципах Ангсоца, о двоемыслии, о мутациях прошлого и отрицании объективной реальности, вставляя при этом слова новояза, как Джулия начинала скучать и кукситься. Она утверждала, что никогда не придавала значения таким вещам. Если ты знаешь, что все это чушь, зачем переживать о ней? Она знала, когда кричать «ура», а когда улюлюкать, и этого ей хватало. Если же он продолжал рассуждать, то она обычно засыпала, приводя его в замешательство. Джулия была из тех людей, которые могут заснуть в любое время и в любой позе. Из разговоров с ней он понял,

как легко притворяться идейным, не имея никаких понятий о самих идеях. В каком-то смысле партийное мировоззрение успешнее всего прививалось тем, кто был не в состоянии его осознать. Таким людям можно внушить самые вопиющие искажения реальности, поскольку они не могут охватить всего масштаба этих искажений и не настолько вникают в общественные события, чтобы заметить происходящее. Этот недостаток понимания защищает их от безумия. Они просто заглатывают все подряд, и это не приносит им вреда, потому что не усваивается, подобно тому, как кукурузное зернышко, проглоченное птицей, выходит из нее непереваренным.

VI

Наконец, это случилось. Пришла долгожданная весть. Ему показалось, что вся его жизнь проходила в ожидании этого момента.

Он шел длинным коридором по министерству рядом с тем местом, где Джулия передала ему записку, и вдруг почувствовал, как за ним следует какая-то крупная фигура. Этот некто деликатно кашлянул, видимо, намереваясь с ним заговорить. Уинстон замер и обернулся. Это был О’Брайен.

Наконец, они оказались лицом к лицу, и Уинстону вдруг захотелось броситься наутек. Сердце его выпрыгивало из груди. Он понял, что не сможет заговорить. Однако О'Брайен, продолжая идти в прежнем темпе, по-дружески тронул Уинстона за руку, и они пошли рядом. О'Брайен заговорил в своей неизменно учтивой манере, отличавшей его от большинства членов Внутренней Партии.

— Я питал надежду пообщаться с вами, — сказал он. — Читал намедни в «Таймс» одну из ваших новоязовских статей. У вас, я полагаю, научный интерес к новоязу?

Уинстон сумел отчасти взять себя в руки.

— Едва ли научный, — ответил он. — В сущности, я дилетант. Это не моя специальность. Я не имею отношения к практической разработке языка.

— Но пишете вы на нем весьма элегантно, — сказал О'Брайен. — Это не только мое мнение. Я недавно говорил с одним вашим другом, несомненно, специалистом. Имя его как-то выскользнуло у меня из памяти.

И снова сердце Уинстона болезненно подпрыгнуло. Не могло быть сомнений, что он ссылался на Сайма. Но Сайм был не просто мертв — от-

менен, испарен, превращен в *нелицо.* Всякий более-менее прозрачный намек на него смертельно опасен. Очевидно, замечание О'Брайена было не чем иным, как сигналом или паролем. Разыграв при Уинстоне эту маленькую мыслефелонию, он признал его своим сообщником. Они все так же неспешно шагали по коридору, но тут О'Брайен остановился. Он поправил очки тем занятным жестом, всегда внушавшим дружеское расположение, и сказал:

— Собственно, я вот что хотел сказать: в вашей статье, как я заметил, вы использовали два слова, которые успели устареть. Но устарели они совсем недавно. Вы видели десятое издание словаря новояза?

— Нет, — сказал Уинстон. — Я полагал, что оно еще не вышло. Мы в Отделе документации все еще пользуемся девятым.

— Десятое издание должно выйти, насколько я знаю, не ранее чем через несколько месяцев. Но несколько сигнальных экземпляров уже разосланы куда надо. Один есть у меня. Вероятно, вам было бы интересно взглянуть?

— Очень даже, — подтвердил Уинстон, тут же смекнув, куда он клонит.

— Некоторые нововведения чрезвычайно ост-

роумны. Сокращение числа глаголов… Думаю, этот момент вам понравится. Давайте подумаем: направить вам словарь с нарочным? Боюсь, я до крайности забывчив в таких вещах. Пожалуй, вы могли бы заглянуть ко мне домой в любое удобное время. Погодите. Сейчас дам вам адрес.

Они стояли у телеэкрана. О'Брайен с рассеянным видом ощупал два кармана и достал кожаный блокнотик и позолоченный карандаш. У самого теле-экрана, под таким углом, что всякий наблюдающий с той стороны мог бы все прочитать, он вывел адрес, вырвал страничку и отдал Уинстону.

— Обычно я дома по вечерам, — сказал он. — Если меня не окажется на месте, словарь вам отдаст слуга.

И он пошел дальше, оставив Уинстона стоять с бумажкой в руке, которую на этот раз скрывать не было надобности. Тем не менее он тщательно заучил адрес и несколькими часами позже выбросил записку в провал памяти вместе с другими бумагами.

Они говорили от силы пару минут. Их встреча могла иметь только одно значение. Она была устроена, чтобы Уинстон смог узнать адрес О'Брайена. Необходимая вещь, ведь узнать, где

живет человек, можно было только с помощью прямого вопроса. Адреса людей нигде не значились. «Если вам захочется меня увидеть, вы найдете меня там-то» — вот что донес до него О'Брайен. Возможно, Уинстон даже найдет записку, спрятанную в словаре. Во всяком случае, одно несомненно. Заговор, которым он грезил, действительно существовал, и он приблизился к нему вплотную.

Он понимал, что рано или поздно явится на зов О'Брайена. Возможно, завтра, возможно, не скоро — оставалось только гадать. Происходящее сейчас логически следовало из процесса, который начался за годы до того. Первым шагом стала тайная неотступная мысль, вторым — дневник. Уинстон перешел сперва от мысли к слову, а теперь от слова — к делу. Последний шаг будет сделан в Министерстве любви. Он смирился с этим. Конец содержался уже в начале. Но это страшило Уинстона, как пугает предсказание смерти, словно бы умаляя в тебе чувство жизни. Даже при разговоре с О'Брайеном, когда до него дошел смысл услышанного, его прошиб озноб и дрожь прошла по всему телу. Он словно бы вступил в сырую могилу. И хотя он всегда знал, что могила поджидает его где-то рядом, легче ему

от этого не стало.

VII

Уинстон проснулся в слезах. Джулия сонно прильнула к нему и пролепетала что-то вроде: «Что случилось»?

— Сон приснился, — признался он и осекся.

Слишком сложно было выразить словами. С этим сном было связано одно воспоминание, всплывшее в памяти, едва он проснулся.

Он снова лег на спину и закрыл глаза, все еще пропитанный атмосферой сновидения. Сон был обширный, лучезарный, и казалось, вся его жизнь раскинулась там, точно пейзаж летним вечером после дождя. Сон разворачивался внутри стеклянного пресс-папье, но поверхность стекла была небосводом, а внутри все заливал мягкий свет, открывая глазу бескрайние дали. И в этом сне присутствовал — можно сказать, главенствовал — жест материнской руки, который повторился тридцать лет спустя в той кинохронике, где еврейка пыталась защитить мальчика от пуль, пока вертолет не разнес обоих в клочья.

— Знаешь, — сказал Уинстон, — я до этого момента думал, что убил мать.

— Зачем ты убил ее? — спросила Джулия спро-

сонья.

— Я не убивал ее. Физически.

Во сне к нему вернулось воспоминание, как он последний раз видел мать, а вскоре после пробуждения всплыли все мелкие подробности того дня. Много лет он не помнил об этом — должно быть, вытеснил в подсознание. Он не был уверен, когда все произошло, но ему, вероятно, было лет десять, самое большее — двенадцать.

Отец его исчез чуть раньше; насколько раньше, он тоже не знал. Главное, что осталось в памяти о том времени, это общая разруха и неустроенность: паника от авианалетов, бомбоубежища на станциях метро, груды битого кирпича, сумбурные воззвания, висевшие на перекрестках, ватаги парней в одноцветных рубахах, длиннющие очереди перед булочными и пулеметная стрельба вдалеке. И над всем этим неотступное чувство голода. Он припомнил, как долгими вечерами рылся с другими ребятами в мусорных баках и на помойках, выискивая хряпу, картофельные очистки и, если повезет, черствые хлебные корки, с которых они аккуратно соскребали горелки; помнил, как они подкарауливали в разных местах грузовики с фуражом, рассыпавшие иногда на колдобинах кусочки жмыха.

Когда исчез отец, мать не выразила ни удивления, ни безутешного горя, но как-то вся переменилась. Казалось, жизнь оставила ее. Даже Уинстон почувствовал, что она покорилась чему-то неотвратимому. Она делала всю работу по дому — стряпала, стирала, штопала, застилала кровать, подметала пол, протирала каминную полку, — но так медленно и скованно, что напоминала марионетку, колыхавшуюся на ветру. Ее рослое величавое тело как бы невольно впадало в спячку. Иногда она часами просиживала на кровати почти не шевелясь и баюкая его сестренку — крохотную, чахлую девочку двух-трех лет, от худобы похожую лицом на обезьянку. Изредка мать обнимала Уинстона и надолго прижимала к себе, не говоря ни слова. Он понимал, несмотря на свое малолетство и детский эгоизм, что это как-то связано с ощущением чего-то неотвратимого, о чем мать никогда не говорила.

Он помнил их комнату, темное душное помещение, почти половину которого занимала кровать под белым стеганым покрывалом. Рядом стоял камин с газовой конфоркой и полка с продуктами, а на лестничной площадке — коричневая керамическая раковина, одна на несколько комнат. Он помнил, как статная фигура матери склонялась

над конфоркой, помешивая что-то в кастрюле. Но отчетливей всего в памяти запечатлелся неотступный голод и жестокие, безобразные склоки из-за еды. Он без конца изводил мать вопросами, почему больше нечего есть, кричал на нее, скандалил (он даже помнил свой голос, уже начавший ломаться и срывавшийся на бас) или давил на жалость, выпрашивая добавку. Мать и так давала ему больше всех. Она принимала как должное, что ему, «как мальчику», полагалась самая большая порция; но сколько бы она ему ни положила, все было мало. Каждый раз она заклинала его не жадничать и помнить, что его сестренка болеет и тоже должна питаться, но без толку. Как только она разливала еду по тарелкам, он принимался злобно кричать, вырывал у нее кастрюлю с половником, хватал куски с тарелки сестры. Он понимал, что объедает их, но не мог ничего поделать; он даже чувствовал себя вправе. Голод, бунтовавший у него в животе, словно бы оправдывал его. Стоило матери отвернуться между приемами пищи, как он то и дело хватал что-нибудь с продуктовой полки.

Как-то раз им выдали по талону шоколад — впервые за несколько недель, если не месяцев. Он довольно отчетливо помнил этот лакомый

кусочек. Плитка в две унции (тогда еще считали в унциях) на них троих. Было ясно, что шоколад следует поделить на три равные части. И вдруг Уинстон словно со стороны услышал, как он громко, срываясь на крик, требует, чтобы ему отдали всю плитку. Мать велела ему не жадничать. Последовал долгий нудный спор, повторявшийся по кругу, с криками, нытьем, слезами, уговорами, подкупами. Сестренка, которая вцепилась в мать обеими ручонками, точно обезьянка, смотрела на него через плечо матери большими скорбными глазами. Наконец, мать отломила от плитки три четверти и протянула Уинстону, а четвертушку дала сестренке. Малышка взяла свой кусочек и уставилась на него, вероятно, не понимая, что это такое. Секунду Уинстон стоял и смотрел на нее. Затем внезапно подскочил, вырвал у сестренки шоколад и бросился за дверь.

— Уинстон, Уинстон! — кричала мать. — Вернись! Отдай сестренке шоколад!

Он остановился, но не вернулся. Мать не сводила с него тревожных глаз. В тот момент он представил все неведомое и неминуемое, что надвигалось на них. Сестренка слабо запищала, осознав, что ее обидели. Мать обхватила ее рукой и прижала к груди. И что-то в этом жесте дало ему

понять, что сестренка умирает. Он повернулся и бросился вниз по лестнице, чувствуя, как шоколад тает в руке.

Больше он мать не видел. Слопав всю плитку шоколада, он почувствовал что-то вроде стыда и несколько часов слонялся по улицам, пока голод не привел его домой. Но мать его не встретила — она исчезла. Обычное дело для того времени. В комнате все осталось по-прежнему, только не хватало мамы и сестренки. Вся одежда висела на месте, даже пальто матери. До сих пор Уинстон не знал в точности, умерла ли она. Вполне возможно, ее просто отправили в трудовой лагерь. Что же до сестренки, то ее могли определить, как и Уинстона, в одну из колоний для беспризорников («воспитательные центры», как их называли), которые разрослись в результате гражданской войны. А могли отправить в лагерь вместе с матерью или просто бросить где-нибудь умирать.

Сон все еще отчетливо виделся ему, особенно обнимающий, охранный жест матери, в котором, кажется, и заключалось все его значение. Уинстон подумал о другом сне двухмесячной давности. В точности как мать сидела на потертой кровати с белым покрывалом, держа на руках дочку, так же она приснилась и на тонущем

корабле, глубоко под Уинстоном, поминутно погружаясь все глубже, но продолжая смотреть на него сквозь толщу воды.

Он рассказал Джулии, как исчезла его мать. Джулия, не открывая глаз, перекатилась на другой бок, устроившись поудобней.

— Похоже, ты был тогда адским свиненком, — пробормотала она. — Все дети — свинята.

— Да. Но главное в этой истории…

По ее дыханию стало ясно, что она опять засыпает. Ему хотелось еще рассказать ей о матери. Из его воспоминаний не складывалось впечатления, что мать была женщиной выдающейся или особенно умной; и все же ее отличало некое благородство, чистота, просто потому, что принципы, которым она следовала, были ее личными. Ее чувства являлись ее собственными, их нельзя было изменить извне. Она бы никогда не посчитала, что если действие не приносит результата, то оно бессмысленно. Если ты любишь кого-то, то ты его просто любишь, и даже когда тебе больше нечего дать, ты даришь ему любовь. Когда не стало последнего кусочка шоколада, мать прижала к себе дочь. В этом не было пользы, объятья ничего не меняли, они не вернули шоколадку и не отвратили ничью смерть; но обнять ребенка

было для нее естественно. Беженка в лодке так же закрыла рукой ребенка, хотя рука защищала от пуль не лучше картона. Партия сделала с людьми ужасную вещь: она внушила, что твои душевные порывы, твои чувства ничего не значат, и в то же время она лишила тебя всякой власти над внешним миром. Как только ты попал в лапы Партии, все твои чувства или их отсутствие, все твои действия и бездействие уже не имели никакого значения. В любом случае ты исчезнешь, и никто никогда не услышит ни о тебе, ни о твоих делах. Тебя просто начисто сотрут из истории. Однако всего пару поколений назад людей это ничуть не заботило — они не собирались менять историю. Они жили исходя из понятия личной верности, которая не подвергалась сомнению. Значение имели личные отношения, и самые бессмысленные жесты — объятия, слезы, слова, сказанные умирающему — были самоценны. Уинстон вдруг понял, что пролы сохранили в себе все это. Они верны не Партии, не стране и не абстрактной идее, а друг другу. Впервые в жизни он подумал о пролах без презрения — не просто как об инертной силе, которая когда-нибудь пробудится и возродит мир. Пролы остались людьми. Они не очерствели душой. Они сохранили в себе

простейшие чувства, которым ему пришлось сознательно учиться заново. Подумав об этом, он вспомнил вроде бы не к месту, как несколько недель назад увидел оторванную руку на тротуаре и отшвырнул ее ногой в канаву, словно кочерыжку.

— Пролы — люди, — произнес он вслух. — Мы — не люди.

— Чем мы хуже? — осведомилась Джулия, снова проснувшись.

Он немного подумал.

— Тебе не приходило в голову, — сказал он, — что нам бы было лучше просто выйти отсюда, пока не слишком поздно, и больше никогда не видеться?

— Да, милый, приходило, и не раз. Но я все равно не пойду на это.

— Нам пока везет, — сказал он, — но долго так продолжаться не может. Ты молодая. Выглядишь нормальной и невинной. Если будешь держаться подальше от таких, как я, можешь прожить еще лет пятьдесят.

— Нет. Я уже все решила. Куда ты, туда и я. И не падай духом. Живучести мне не занимать.

— Мы можем продержаться еще полгода… год… никто не знает. Но в итоге нас все равно

разлучат. Ты сознаешь, какое одиночество на нас обрушится? Как только нас схватят, мы ничего — абсолютно ничего — не сможем сделать друг для друга. Если я сознаюсь, тебя расстреляют, а если откажусь сознаться, тебя все равно расстреляют. Что бы я ни сказал или ни сделал, о чем бы ни промолчал, это отсрочит твою смерть самое большее на пять минут. Никто из нас даже не узнает, жив другой или мертв. Мы будем абсолютно беспомощны. Единственное, что важно — это не предавать друг друга, хотя даже это абсолютно ничего не изменит.

— Если ты насчет допроса, — сказала она, — то мы сознаемся как миленькие. Все сознаются, всегда. Тут никуда не денешься. Тебя же пытают.

— Я не об этом. Сознаться не значит предать. Неважно, что ты скажешь или сделаешь; только чувства важны. Если меня заставят разлюбить тебя, вот что будет настоящим предательством.

Она задумалась и сказала:

— Этого они не смогут. Единственное, чего не смогут. Сказать они тебя заставят *что угодно* — что угодно, — но только не поверить в это. Они не могут влезть в тебя.

— Да, — ответил он уже не так безнадежно, — да; это верно. Влезть в тебя они не могут. Если

ты *чувствуешь*, что стоит оставаться человеком, даже если это ни к чему не приведет, то победа на твоей стороне.

Он подумал о телеэкране, который подслушивает тебя даже во сне. Они могут следить за тобой круглые сутки, но если не терять головы, есть способы их перехитрить. При всем своем уме они не могут прочесть твоих мыслей. Впрочем, когда они тебя схватят, в этом уже нельзя быть уверенным. Неизвестно, что именно творится в Министерстве любви, но есть догадки: пытки, наркотики, полиграфы, постепенное изматывание бессонницей и одиночеством, постоянные допросы. В любом случае факты от них не скроешь. Факты можно выяснить логическим путем, можно вытянуть под пыткой. Но если цель не остаться в живых, а остаться человеком, какая, в конце концов, разница? Они не могут изменить твоих чувств; да ты и сам не сможешь изменить их, даже если захочешь. Они способны во всех подробностях выяснить твои действия, слова или мысли; но душа твоя, движения которой загадочны даже тебе самому, останется вне их досягаемости.

VIII

Удалось! Наконец-то им удалось.

Они стояли в продолговатой, мягко освещенной комнате. Телеэкран бормотал еле слышно; темно-синий ковер под ногами был точно бархат. В дальнем конце комнаты за столом с зеленой лампой сидел О'Брайен, а по обе стороны от него высились кипы бумаг. Он даже не поднял взгляда, когда слуга ввел Джулию и Уинстона.

Уинстон боялся, что не сможет заговорить — так сильно колотилось его сердце. Удалось, наконец-то им удалось, только и повторял он про себя. Прийти сюда было рискованно само по себе, но заявиться вдвоем — чистое безумие; пусть даже они добирались разными путями и встретились только перед домом О'Брайена. Но и просто войти в такой дворец требовало немалой решимости. Лишь в самых редких случаях людям удавалось побывать в домах членов Внутренней Партии или хотя бы в кварталах, где они проживали. Вся атмосфера громадного здания, богатство и простор, непривычные запахи хорошей еды и хорошего табака, снующие повсюду слуги в белых пиджаках, бесшумные и удивительно быстрые лифты, скользящие вверх-

вниз, — все это внушало робость. И хотя Уинстон явился под уважительным предлогом, на каждом шагу его преследовал страх, что сейчас из-за угла возникнет охранник в черной форме, потребует у него документы и прикажет убираться. Однако слуга О'Брайена впустил их беспрекословно. Невысокий и темноволосый, в белом пиджаке, он походил на китайца своим ромбовидным, совершенно бесстрастным лицом. Он провел их по коридору с мягкой ковровой дорожкой, кремовыми обоями и белыми, безукоризненно чистыми панелями. Это тоже внушало робость. Уинстон не мог припомнить, когда он видел коридор, стены которого не были бы затерты человеческими телами.

О'Брайен держал в пальцах листок и, похоже, внимательно вчитывался в него. Его тяжелое лицо склонилось так, что хорошо виднелся профиль, оно выглядело и грозным, и умным. Пожалуй, секунд двадцать О'Брайен сидел не шевелясь. Затем подтянул к себе речепис и отчеканил на гибридном министерском жаргоне:

— Позиции первую запятая пятую запятая седьмую одобрить всецело точка предложение по позиции шесть дубльплюс нелепость на грани мыслефелонии отменить точка не продолжать

разработку до получения плюсовых данных накладных аппарата точка конец сообщения.

Он неспешно поднялся из-за стола и бесшумно направился к ним по ковру. Казалось, часть его официальности осталась за столом, но лицо казалось непривычно хмурым, словно ему не понравилось, что его потревожили. Овладевший Уинстоном ужас мгновенно разбавился обычной растерянностью. Весьма вероятно, что он совершил дурацкую ошибку. Чем он, в сущности, руководствовался, когда решил, что О'Брайен какой-то политический заговорщик? Ничем, кроме мимолетного взгляда и единственной двусмысленной фразы; в остальном лишь своими тайными мечтаниями, рожденными из сна. Его не спасет даже предлог, что он пришел за словарем, — это никак не объясняло присутствия Джулии. Проходя мимо телеэкрана, О'Брайен словно вспомнил о чем-то. Он остановился, повернулся и нажал на стене выключатель. Раздался щелчок. И голос телеэкрана смолк.

Джулия сдавленно пискнула, не сдержав удивления. Уинстон, при всей своей панике, так изумился, что невольно воскликнул:

— Вы можете выключать его!

— Да, — кивнул О'Брайен, — мы можем его

выключать. Есть такая привилегия.

Теперь он стоял совсем рядом. Его массивная фигура возвышалась над ними, а лицо оставалось непроницаемым. Он ждал с непреклонным видом, что Уинстон заговорит, но о чем? Даже сейчас ничто не мешало считать О'Брайена всего лишь занятым человеком, который недоумевает, зачем его оторвали от дела. Все стояли молча. Когда затих телеэкран, в комнате, казалось, повисла мертвая тишина. Секунды — длиннющие — тянулись бесконечно. Уинстону стоило больших усилий смотреть в глаза О'Брайену. Затем вдруг на хмуром лице хозяина обозначилось подобие улыбки. Своим характерным жестом он поправил очки.

— Мне сказать или вы скажете? — осведомился О'Брайен.

— Я скажу, — ответил Уинстон с готовностью. — Эта штука действительно выключена?

— Да, все выключено. Мы одни.

— Мы пришли потому, что…

Он замялся, впервые осознав расплывчатость своих мотивов. Он ведь в точности не представлял, какой помощи ожидает от О'Брайена, поэтому было непросто сформулировать, зачем он пришел. Но Уинстон продолжил, хотя и по-

нимал, как легковесно и претенциозно звучат его слова:

— Мы верим, что существует какой-то заговор, какая-то тайная организация, которая действует против Партии, и вы в ней состоите. Мы хотим вступить в нее и работать на нее. Мы враги Партии. Мы не верим в принципы Ангсоца. Мы мыслефелоны. А еще развратники. Я вам это рассказываю, потому что мы предаем себя вашей власти. Если хотите, чтобы мы сознались в чем-то еще, то мы готовы.

Он умолк и оглянулся через плечо — ему показалось, что открылась дверь. Так и было: маленький желтолицый слуга вошел без стука. Уинстон увидел, что он несет поднос с графином и бокалами.

— Мартин — наш человек, — сказал О'Брайен бесстрастно. — Неси напитки сюда, Мартин. Поставь на круглый столик. Стульев хватает? Тогда мы вполне можем присесть и поговорить с комфортом. Принеси себе стул, Мартин. У нас дело. На десять минут можешь забыть, что ты слуга.

Человечек присел довольно непринужденно, но все же почтительно, как подчиненный, которому оказывают честь. Уинстон украдкой поглядывал на него. Он вдруг подумал, что всю

жизнь слуга разыгрывает роль и опасается сбросить личину даже на миг. О'Брайен взял графин за горлышко и наполнил бокалы темно-красной жидкостью. Уинстону смутно припомнилась виденная когда-то огромная бутылка из неоновых огней, которая двигалась — на стене или рекламном щите — вверх-вниз, наливая содержимое в бокал. Сверху жидкость выглядела почти черной, но в графине просвечивала рубиновым. Пахла она кисло-сладким. Он увидел, как Джулия взяла бокал и понюхала с откровенным любопытством.

— Это называется вино, — сказал О'Брайен с легкой улыбкой. — Вы, несомненно, читали о нем в книгах. Боюсь, оно нечасто перепадает членам Внешней Партии. — Лицо его снова посерьезнело, и он поднял бокал. — Думаю, будет уместно выпить для начала за здоровье. За нашего вождя, Эммануила Голдштейна.

Уинстон с готовностью взял бокал. Он читал о вине и мечтал его попробовать. Подобно стеклянному пресс-папье и полузабытым стишкам мистера Чаррингтона вино принадлежало ушедшему, романтическому прошлому — былым временам, как Уинстон называл их про себя. Ему почему-то казалось, что вино должно быть очень

сладким, словно черносмородиновый джем, и моментально опьяняющим. Но первый глоток разочаровал его. Привыкнув за столько лет к джину, он почти ничего не почувствовал. Поставив пустой бокал, он спросил:

— Значит есть такой человек — Голдштейн?

— Да, такой человек реален, и он все еще жив. Где он находится, я не знаю.

— А заговор… организация? Она существует? Это не просто выдумка Мыслеполиции?

— Нет, это правда. Братство, как мы его называем. Вы никогда не сможете узнать о нем больше того, что оно существует и вы в нем состоите. Я еще вернусь к этой теме. — Он взглянул на наручные часы. — Даже членам Внутренней Партии лучше не отключать телеэкран дольше чем на полчаса. Вам не стоило приходить сюда вместе, и уйти вам придется по одному. Вы, товарищ, — он кивнул Джулии, — уйдете первой. В нашем распоряжении около двадцати минут. Как вы понимаете, для начала я должен задать вам некоторые вопросы. В общем и целом что вы готовы делать?

— Все, что только сможем, — сказал Уинстон.

О'Брайен чуть повернулся на стуле к Уинстону. Он почти не обращал внимания на Джулию, ви-

димо, не сомневаясь, что Уинстон будет говорить за них двоих. На миг О'Брайен опустил взгляд. Он стал задавать вопросы тихим, бесстрастным голосом, как что-то заученное вроде катехизиса, заранее уверенный в большей части ответов.

— Вы готовы отдать ваши жизни?

— Да.

— Готовы совершить убийство?

— Да.

— Совершить вредительство, которое повлечет за собой смерть сотен невиновных?

— Да.

— Изменить родине в пользу иностранных держав?

— Да.

— Вы готовы обманывать, совершать подлоги, шантажировать, развращать детские умы, распространять наркотики, способствовать проституции, разносить венерические заболевания — что угодно для деморализации и ослабления власти Партии?

— Да.

— Если, к примеру, наши цели потребуют плеснуть в лицо ребенку серной кислотой, вы это сделаете?

— Да.

— Вы готовы расстаться с привычной жизнью и до конца своих дней служить официантом или портовым рабочим?

— Да.

— Вы готовы совершить самоубийство, если — и когда — мы вам прикажем?

— Да.

— Вы готовы — вы оба — расстаться и больше никогда не видеться?

— Нет! — вмешалась Джулия.

Уинстону показалось, что прошло много времени, прежде чем он ответил. Он словно бы утратил способность говорить. Его язык беззвучно двигался во рту, и горло снова и снова тщетно напрягалось. Пока не прозвучал ответ, он и сам не представлял, что именно произнесет.

— Нет, — выдавил он.

— Хорошо, что вы это сказали. Нам необходимо знать все. — О'Брайен повернулся к Джулии и спросил уже не так бесстрастно: — Вы понимаете, что даже если он останется в живых, то может стать другим человеком? Возможно, нам придется изменить его внешность. Лицо, движения, форму рук, цвет волос… даже его голос станет другим. И вам самим, не исключено, придется сильно измениться. Наши хирурги умеют добиваться

полной неузнаваемости. Иногда это необходимо. Иногда мы даже ампутируем конечности.

Уинстон невольно бросил еще один косой взгляд на азиатское лицо Мартина. Никаких шрамов он не заметил. Джулия чуть побледнела, так что у нее проступили веснушки, но храбро взглянула в лицо О'Брайену. И пролепетала что-то утвердительное.

— Хорошо. Стало быть, с этим решили.

На столе лежал серебряный портсигар. О'Брайен рассеянным жестом подвинул его к остальным, сам взял сигарету, а затем встал и начал расхаживать по комнате, словно так ему лучше думалось. Сигареты были очень хорошими, толстыми и плотно набитыми, в шелковистой бумаге. О'Брайен снова взглянул на часы.

— Тебе лучше вернуться в буфетную, Мартин, — сказал он. — Через четверть часа я включу телеэкран. Напоследок хорошенько запомни лица товарищей. Ты теперь будешь видеться с ними. За себя я не могу ручаться.

Темные глаза Мартина скользнули по их лицам в точности как на входе. Без малейшего дружелюбия. Он запоминал их внешность, но не испытывал к ним интереса, во всяком случае, не проявлял его. Уинстон подумал, что, быть может,

синтетическое лицо просто не может менять выражение. Мартин, не сказав ни слова и никак не попрощавшись, вышел и бесшумно закрыл за собой дверь. О'Брайен мерил комнату шагами, засунув одну руку в карман черного комбинезона, а в другой держа сигарету.

— Поймите, — сказал он, — что вы будете сражаться во тьме. Вы всегда будете во тьме. Будете получать приказы и выполнять их, не зная зачем. Позже я пришлю вам книгу, откуда вы узнаете подлинную природу нашего общества и стратегию, посредством которой мы его разрушим. Когда прочтете книгу, станете полноправными членами Братства. Но вы ничего не будете знать, кроме общих целей нашей борьбы и конкретных заданий. Я подтверждаю вам, что Братство существует, но не могу сказать, насчитывает ли оно сотни членов или десять миллионов. По вашим личным наблюдениям вы никогда не насчитаете даже десяток его членов. С вами будут держать связь трое-четверо человек, и время от времени им придется сменяться, когда кто-то из них исчезнет. Поскольку это ваш первый контакт с Братством, мы его сохраним. Когда будете получать приказы, знайте, что они исходят от меня. Если мы сочтем необходимым связаться с вами,

это сделает Мартин. Когда вас в итоге поймают, вы сознаетесь. Это неизбежно. Но вряд ли вы сможете сознаться в чем-то помимо собственных действий. Вы не сможете выдать больше горстки незначительных людей. Вероятно, даже меня за собой не потянете. Не исключено, что к тому времени я буду мертв или стану другим человеком с иным лицом.

Он продолжал расхаживать по мягкому ковру. При всей своей грузности двигался он с удивительным изяществом. Манера проявлялась даже в том, как он засовывал руку в карман, как держал сигарету. В нем чувствовалась сила, но в еще большей степени уверенность в себе и острый ум, сдобренный иронией. Как бы серьезен он ни был, в нем совсем не ощущалось узости мышления, свойственной фанатикам. Говоря об убийствах, самоубийствах, венерических заболеваниях, ампутации конечностей и пластической хирургии, он словно бы посмеивался над судьбой.

«Это неизбежно, — казалось, говорил он, — это то, что нам приходится делать без колебаний. Но мы не будем этого делать, когда жизнь снова станет достойной».

Уинстон ощутил прилив восхищения О'Брайеном — почти благоговение, так что он заслонил

собой на миг призрачный образ Голдштейна. При взгляде на эти мощные плечи и грубое лицо, такое невзрачное и вместе с тем интеллигентное, невозможно было поверить, что этот человек способен потерпеть поражение. Не было такой хитрости, какую бы он не разгадал, такой опасности, какую бы он не предвидел. Даже Джулия, похоже, была под впечатлением. Сигарета у нее потухла, и она внимательно слушала О'Брайена.

— До вас, конечно, доходили слухи о существовании Братства, — продолжал О'Брайен. — Не сомневаюсь, что у вас сложились о нем свои представления. Вероятно, вы воображаете широкое подполье заговорщиков, которые тайно встречаются по подвалам, царапают на стенах надписи, узнают друг друга по паролям и особым жестам. Ничего подобного. Члены Братства никак не могут узнать друг друга, и ни один из них не может быть знаком больше, чем с несколькими своими собратьями. Сам Голдштейн, попадись он в лапы Мыслеполиции, не смог бы выдать всех членов Братства или какие-то сведения, чтобы агенты всех вычислили. Этого никто не знает. Братство нельзя искоренить, так как оно не является организацией в общепринятом смысле. Ничто не сплачивает его, кроме идеи, которая

неистребима. Вы никогда ни на что не сможете опереться, кроме этой идеи. Не будет ни товарищества, ни одобрений. Когда вас в итоге схватят, вы не получите помощи. Мы никогда не помогаем нашим. В крайнем случае, когда абсолютно необходимо, чтобы кто-нибудь замолчал, нам иногда удается переправить в камеру лезвие. Вам придется научиться жить без результатов, без надежды. Вы будете работать какое-то время, потом вас схватят, вы сознаетесь, а затем умрете. Других результатов вы не увидите. Нет никаких оснований считать, что ощутимые перемены наступят при нашей жизни. Мы мертвецы. Наша единственная подлинная жизнь — в будущем. Мы застанем его горсткой праха и обломками костей. Невозможно узнать, когда наступит это будущее. Быть может, через тысячу лет. В настоящее время единственное, что возможно, это расширять мало-помалу область здравомыслия. Мы не можем действовать коллективно. Можем только распространять наши знания вовне от человека к человеку, от поколения к поколению. Мыслеполиция не оставляет нам другого выбора.

Остановившись, он в третий раз взглянул на часы.

— Вам почти пора, товарищ, — сказал он Джу-

лии. — Погодите. Графин еще наполовину полон.

Он снова налил вино в бокалы и поднял свой за тонкую ножку.

— За что на этот раз? — вопросил он все с той же легкой иронией. — За бездействие Мыслеполиции? За смерть Большого Брата? За гуманизм? За будущее?

— За прошлое, — сказал Уинстон.

— Прошлое важнее, — хмуро согласился О'Брайен.

Они осушили бокалы, и Джулия собралась уходить. О'Брайен достал коробочку со шкафа и дал Джулии белую таблетку, велев положить под язык. Было важно, чтобы от нее не пахло вином, — лифтеры очень внимательны. Едва за ней закрылась дверь, как он, похоже, забыл о ее существовании. Он еще немного прошелся по комнате и остановился.

— Нужно кое-что еще уладить, — сказал он. — Полагаю, у вас есть какое-то убежище?

Уинстон рассказал о комнате над лавкой мистера Чаррингтона.

— На первое время сойдет. Потом подберем вам что-то еще. Важно почаще менять убежища. А пока постараюсь как можно скорее послать вам *книгу*, — даже О'Брайен, как заметил Уинстон,

произнес это слово с нажимом, — вы понимаете, книгу Голдштейна. Возможно, я достану экземпляр через несколько дней. Их у нас немного, как вы догадываетесь. Мыслеполиция разыскивает их и уничтожает едва ли не быстрее, чем мы их печатаем. Но это почти не имеет значения. Эту книгу нельзя уничтожить. Даже если пропадет последний экземпляр, мы восстановим все почти дословно. Вы ходите на работу с портфелем?

— Как правило, да.

— Как он выглядит?

— Черный, очень потертый. С двумя застежками.

— Черный, две застежки, сильно потертый… хорошо. Как-нибудь в обозримом будущем — точный день не скажу — в одном из ваших утренних заданий попадется слово с опечаткой, и вы затребуете повтор. На следующий день вы пойдете на работу без портфеля. В течение дня на улице вас тронет за руку человек и скажет: «По-моему, вы обронили портфель». Он передаст вам портфель с экземпляром книги Голдштейна. Вы вернете его в течение двух недель.

Наступило недолгое молчание.

— У вас есть пара минут до ухода, — сказал О’Брайен. — Мы еще встретимся… если встре-

тимся…

Уинстон поднял на него взгляд.

— Там, где нет темноты? — спросил он неуверенно.

О'Брайен кивнул, ничуть не удивившись.

— Там, где нет темноты, — подтвердил он, словно понял некий намек. — А пока, возможно, вы хотите что-нибудь сказать напоследок? Передать? Спросить?

Уинстон задумался. Спрашивать как будто больше было не о чем; еще меньше хотелось изрекать какие-то высокопарные банальности. В уме у него возникло что-то вроде коллажа, никак не связанного ни с О'Брайеном, ни с Братством: темная спальня, где он последний раз видел мать, комнатка над лавкой мистера Чаррингтона, стеклянное пресс-папье и гравюра на стали в палисандровой раме. Он сказал почти наобум:

— Вам не случалось слышать один старый стишок, начинающийся словами: «Апельсинчики как мед, в колокол Сент-Клемент бьет»?

О'Брайен кивнул и завершил всю строфу с выражением сумрачной учтивости:

Апельсинчики как мед,
В колокол Сент-Клемент бьет.

И звонит Сент-Мартин:
Отдавай мне фартинг!
А Олд-Бейли, ох, сердит:
Возвращай должок! – гудит.
Все верну с получки! – хнычет
Колокольный звон Шордитча.

— Вы знаете последнюю строчку! — воскликнул Уинстон.

— Да, я знаю последнюю строчку. А теперь, боюсь, вам пора идти. Но постойте. Вам я бы тоже дал таблеточку.

Уинстон встал, и О'Брайен пожал ему руку. Ладонь Уинстона хрустнула, смятая мощной хваткой. У двери он оглянулся, но О'Брайен уже, по всей видимости, мысленно отгородился от него. Он ждал, положив руку на выключатель телеэкрана. Позади него Уинстон видел письменный стол с зеленой лампой и речеписом и проволочные корзины, заваленные бумагами. Их встреча осталась в прошлом. Не пройдет и полминуты, подумал он, как О'Брайен вернется к своей важной работе партийного чиновника.

IX

От усталости Уинстон словно превратился в желе. Верное определение для его состояния — желе-образный. Оно само пришло ему на ум. Он чувствовал себя не только дряблым, как желе, но и таким же прозрачным. Казалось, если поднять ладонь, она будет просвечивать. Трудовая оргия высосала из него всю кровь и лимфу, оставив только хрупкий каркас из нервов и обтянутых кожей костей. Все ощущения обострились до безумия. Комбинезон натирал плечи, тротуар щекотал ступни, даже движение пальцев требовало усилий, так что хрустели суставы.

За пять дней он наработал больше девяноста часов. Как и все в министерстве. Теперь аврал прошел, и Уинстон не знал, чем себя занять, — не осталось никакой партийной работы до завтрашнего утра. Он мог провести шесть часов в убежище и еще девять у себя в постели. Он медленно брел в мягком предвечернем свете по замызганной улице к лавке мистера Чаррингтона, вяло высматривая патрули, но отчего-то уверенный, что сегодня ему никто не помешает. При каждом шаге тяжелый портфель хлопал его по колену, вызывая зуд во всей ноге. В портфеле

лежала *книга* — она находилась у Уинстона уже шесть дней, но он еще ни разу не открыл ее, даже не взглянул.

На шестой день Недели Ненависти, после бесчисленных демонстраций, речей, галдежа, песен, знамен, транспарантов, кинофильмов, восковых муляжей, барабанного боя и трубного визга, после топота марширующих ног, лязга танковых гусениц, рева эскадрилий и грохота пушек — после шести распаленных дней, когда коллективный оргазм приближался к кульминации и всеобщая ненависть к Евразии дошла до такого исступления, что попадись толпе две тысячи евразийских военных преступников, которых должны были публично повесить в последний день Недели Ненависти, их бы растерзали голыми руками — в этот самый момент объявили, что Океания не воюет с Евразией. Океания воюет с Остазией, а Евразия — союзник.

Не было, разумеется, ни намека на какую-либо перемену во внешней политике. Просто всем и сразу стало известно, что враг — Остазия, а не Евразия. Когда это произошло, Уинстон участвовал в демонстрации на одной из центральных лондонских площадей. Был поздний вечер, и прожектора зловеще подсвечивали бледные лица и

алые знамена. В многолюдной толпе на площади выделялся отряд примерно из тысячи школьников в форме Разведчиков. С трибуны, обтянутой алой материей, разглагольствовал оратор Внутренней Партии — щуплый, невысокий человечек с непропорционально длинными руками и большим блестящим черепом, над которым качались жидкие волосинки. Перекошенный от ненависти карлик одной рукой душил микрофон, а другой грозно рвал воздух, растопырив огромную пятерню. Лязгающим голосом из репродукторов он бубнил о нескончаемых зверствах, погромах, депортациях, мародерствах, изнасилованиях, пытках военнопленных, бомбардировках мирного населения, о лживой пропаганде, неоправданной агрессии и нарушенных соглашениях. Слушая его, было очень трудно не поверить во все это, а поверив — не взбеситься. Ярость толпы то и дело переливалась через край, и голос оратора тонул в диком реве, который непроизвольно рвался из тысяч глоток. Яростней всех орали школьники. Речь продолжалась уже минут двадцать, когда на трибуну поспешно поднялся посыльный и сунул оратору бумажку. Тот развернул ее и прочел, продолжая разглагольствовать. Ничто не изменилось ни в его голосе, ни в поведении,

ни в содержании речи, но неожиданно изменились имена и названия. По толпе прокатилась беззвучная волна понимания. Океания воюет с Остазией! В следующий миг возник чудовищный переполох. Оказалось, что плакаты и транспаранты, украшавшие площадь, в корне ошибочны! На половине из них не те лица! Вредительство! Дело рук агентов Голдштейна! В считаные секунды плакаты начали бурно срывать со стен, транспаранты изорвали в клочья и затоптали, а Разведчики, проявляя чудеса ловкости, вскарабкались по крышам и срезали полоскавшиеся между трубами вымпелы. Через две-три минуты порядок был восстановлен. Оратор, чуть сутулясь — одна рука все так же душила микрофон, другая рвала воздух, — продолжил свою речь. Еще через минуту толпа разразилась первобытными криками ярости. Ненависть продолжилась как ни в чем не бывало, только мишень стала другой.

Вспоминая об этом, Уинстон особенно поражался, как оратор переобулся на середине предложения, не только не запнувшись, но даже не нарушив синтаксиса. Впрочем, в тот момент его волновало другое. Когда поднялась суматоха и начали срывать плакаты, какой-то человек, лица которого он не заметил, тронул его за плечо

со словами: «Извините, по-моему, вы обронили портфель». Он принял портфель механически, без слов. Он понимал, что откроет его не раньше чем через несколько дней. Как только демонстрация закончилась, Уинстон направился в Министерство правды, хотя уже почти пробило двадцать три часа. Все сотрудники министерства поступили так же. Приказы вернуться на рабочие места, звучавшие с телеэкранов, были излишни.

Океания воевала с Остазией — Океания всегда воевала с Остазией. Большая часть политической литературы последних пяти лет безнадежно устарела. Всевозможные доклады и отчеты, газеты, книги, памфлеты, фильмы, звукозаписи и фотографии — все это требовалось моментально пересмотреть и уточнить. Хотя никаких распоряжений не поступало, стало известно, что руководство отдела постановило: через неделю не должно остаться ни единого упоминания о войне с Евразией или союзе с Остазией. Работа предстояла колоссальная, тем более что она подразумевала действия, которые нельзя было называть своими именами. Все в Отделе документации трудились по восемнадцать часов в сутки с двумя трехчасовыми перерывами на сон. Из подвалов министерства принесли матрасы и

разложили в коридорах; из столовой доставляли на тележках сэндвичи и кофе «Победа». Перед каждым перерывом на сон Уинстон старался оставлять стол чистым, но едва он приползал обратно, с зудящими глазами и ломотой во всем теле, его уже ждал очередной сугроб бумажных рулончиков, осыпавшихся на пол и почти скрывших речепис. Так что первым делом приходилось разгребать завал, расчищая рабочее пространство. Больше всего напрягало, что работа не была чисто механической. Во многих случаях достаточно было заменить имена и названия, но все подробные отчеты требовали внимания и воображения. Не обойтись и без географических познаний, чтобы переносить военные действия из одной части света в другую.

На третий день глаза нестерпимо болели, и приходилось поминутно протирать очки. Уинстон ощущал, что он выполняет изнурительную физическую работу, принуждать к которой его не имеют права, но нервный зуд подстегивал его поскорее разделаться с ней. Время от времени он отмечал отсутствие беспокойства по поводу того факта, что каждое слово, которое он бормочет в речепис, и каждый росчерк его чернильного карандаша — это расчетливая ложь. Единственное,

что его тревожило, как и всех в отделе — чтобы подделка получилась безупречной. Утром шестого дня поток цилиндров замедлился. За полчаса из пневматической трубы не вылезло ни одного, потом появился один, наконец — больше ничего. Примерно в это же время работа повсюду пошла на спад. Глубокий, хоть и затаенный вздох облегчения прошел по всему отделу. Совершился великий и негласный подвиг. Никто теперь не сможет документально доказать, что Океания когда-либо воевала с Евразией. В двенадцать ноль-ноль неожиданно объявили, что все служащие министерства свободны до следующего утра. Уинстон схватил портфель с книгой, который все эти дни хранил в ногах, пока работал, и под боком, когда спал. Он направился домой, где побрился и чуть не заснул в еле теплой ванне.

Уинстон поднялся по лестнице в комнату над лавкой мистера Чаррингтона, сладостно хрустя суставами. Усталость никуда не делась, но спать уже не хотелось. Он открыл окно, зажег грязный примус и поставил на огонь воду для кофе. Скоро придет Джулия, а пока он ознакомится с книгой. Он уселся в засаленное кресло и расстегнул портфель.

Черная увесистая книга в самодельном пере-

плете без всякого заголовка. Текст набран чуть неровно. Обтрепанные по краям страницы раскрывались без малейшего усилия — книга явно прошла через множество рук. На титульном листе значилось:

Эммануил Голдштейн
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
ОЛИГАРХИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВИЗМА

Уинстон начал читать:

Глава I
Незнание – это сила

На протяжении всей известной истории и, вероятно, с конца неолита в мире существуют три вида людей: Высшие, Средние и Низшие. Раньше они подразделялись множеством способов, назывались бессчетными именами, а их относительная численность, как и взаимные отношения менялись от века к веку; но фундаментальная структура общества оставалась неизменной. Даже после колоссальных потрясений и, казалось бы, необратимых изменений всегда воз-

вращалась одна и та же модель, подобно тому, как гироскоп всегда восстанавливает равновесие, сколь бы сильно его ни толкали.

Цели этих групп совершенно несовместимы…

Уинстон прервался, главным образом чтобы прочувствовать сам факт чтения в комфорте и безопасности. Он был один: ни телеэкрана, ни соседей, греющих уши под дверью, ни нервного позыва оглянуться через плечо или закрыть рукой страницу. Летний ветерок ласкал его щеку. Откуда-то издали долетали детские крики; в самой же комнате стояла тишина, не считая стрекота часов. Уинстон глубже устроился в кресле и поставил ноги на каминную решетку. Вот оно, блаженство, вот она, вечность. Он вдруг открыл книгу наугад, как бывает, когда знаешь, что прочтешь и перечтешь все от корки до корки. Уинстон попал на начало третьей главы и стал читать:

Глава III
Война – это мир

Раскол мира на три великие сверхдер-

жавы стал событием не только закономерным, но и предсказанным еще до середины двадцатого века. Две сверхдержавы – Евразия и Океания – фактически сложились, когда Россия поглотила Европу, а Соединенные Штаты – Британскую империю. Третья, Остазия, сформировалась как единое целое только после десятка лет кровопролитной смуты. Границы между тремя сверхдержавами в одних местах условны, в других сдвигаются, согласно военной фортуне, но в целом совпадают с географическими рубежами. Евразия занимает всю северную часть Евразийского материка, от Португалии до Берингова пролива. Океания включает в себя обе Америки, Атлантические острова (в том числе Британские), Австралазию и южную часть Африки. Остазия, наименьшая из трех, не вполне определилась с западной границей. Она включает Китай, страны южнее Китая, Японские острова и значительные, но непостоянные части Маньчжурии, Монголии и Тибета.

Три эти сверхдержавы в том или ином сочетании ведут войну на протяжении

вот уже двадцати пяти лет. Война, однако, больше не является тем отчаянным противоборством до полного разгрома, каким она была в первой половине двадцатого века. Это военные действия с условными целями между противниками, которые не в состоянии уничтожить друг друга. Они не побуждаются материальными интересами и не имеют подлинно идеологических противоречий. При этом нельзя сказать, чтобы методы ведения войны или преобладающее отношение к ней обнаруживают меньшую кровожадность или большее благородство. Напротив, во всех странах отмечается устойчивая и поголовная военная истерия, а такие акты, как изнасилования, мародерства, детоубийства, массовые обращения в рабство и репрессии против пленных, вплоть до утопления в кипятке и погребения заживо, считаются нормой и даже приветствуются в отношении противника. Физически в войне участвует очень малая часть населения, в первую голову – хорошо обученные профессионалы, так что людские потери сравнительно

невелики. Военные действия прерывистого характера ведутся на отдаленных рубежах, местоположение которых рядовые граждане представляют весьма смутно, или вокруг Плавучих крепостей, охраняющих стратегические точки на морских путях. В центрах цивилизации война дает о себе знать лишь постоянной нехваткой потребительских товаров и отдельными ракетными ударами, уносящими до нескольких десятков жизней. Характер войны, по существу, изменился. Точнее сказать, сменились приоритеты ее ведения. На первый план выдвинулись факторы, которые в великих войнах начала двадцатого века имели второстепенное значение, а теперь их сознательно взяли на вооружение.

Для понимания природы нынешней войны – несмотря на перегруппировку, происходящую каждые несколько лет, это одна и та же война – нужно, во-первых, осознать невозможность поражения ни одной из трех сверхдержав. Ни одна из них не может быть завоевана даже союзом двух других. Силы эти слишком

равны, а естественный оборонный потенциал каждой страны слишком устойчив. Евразия защищена своими обширными пространствами, Океания – шириной Атлантического и Тихого океанов, Остазия – плодовитостью и трудолюбием своего населения. Во-вторых, больше нет материальных стимулов ведения войны. С образованием замкнутых экономических систем, в которых производство и потребление уравновешены, борьба за рынки прекратилась, тогда как прежде она служила главной причиной начала и завершения большинства войн. Соперничество из-за источников сырья перестало быть вопросом жизни и смерти. В любом случае каждая из трех сверхдержав так велика, что может добыть почти все нужное сырье на своей территории. Если же говорить о собственно экономической цели войны, то это борьба за рабочую силу. Между границами сверхдержав, попеременно переходя под власть каждой из них, располагается неправильный четырех-угольник с вершинами в Танжере, Браззавиле, Дарвине и Гонконге, на

территории которого проживает примерно пятая часть всего населения Земли. За обладание этими густонаселенными областями, а также арктической ледяной шапкой постоянно сражаются три державы. На деле ни одна из них никогда в полной мере не контролирует всю спорную территорию. Части ее постоянно переходят из рук в руки, и только возможность захватить тот или иной участок внезапным предательским маневром диктует бесконечную перемену союзников.

Все спорные территории располагают ценными минеральными ресурсами, а некоторые производят важные растительные продукты, такие как каучук, который в странах с более холодным климатом приходится синтезировать сравнительно дорогими способами. Но самое главное, они располагают неистощимым запасом дешевой рабочей силы. Кто бы ни владел Экваториальной Африкой, странами Ближнего Востока, Южной Индией или Индонезийским архипелагом, он получает в свое распоряжение

десятки, если не сотни миллионов работящих полунищих кули. Население этих областей практически низведено до состояния рабов и постоянно переходит от одного оккупанта к другому. Оно расходуется, словно уголь или нефть, чтобы произвести больше оружия, захватить больше территорий, получить больше рабочей силы – и так до бесконечности. Следует отметить, что военные действия никогда, по большому счету, не выходят за границы спорных территорий. Рубежи Евразии колеблются между бассейном Конго и северным побережьем Средиземного моря; острова Индийского океана попеременно оккупирует то Океания, то Остазия; через Монголию проходит неустойчивая линия раздела между Евразией и Остазией; на Северном полюсе все три державы претендуют на бескрайние малонаселенные и малоисследованные территории; но баланс сил всегда сохраняет условное равновесие, а метрополии каждой из сверхдержав остаются неприступны. Более того, мировая экономика не испытывает необходимости в труде

эксплуатируемых народов экваториальных стран. Они не обогащают мировое благосостояние, поскольку все плоды их труда используются для дальнейшего ведения войны, а задача войны всегда одна – подготовить лучшую позицию для ведения очередных боевых действий. Своим рабским трудом эти народы способствуют наращиванию темпов постоянной войны. Но если бы даже все они исчезли, структура мирового сообщества и стоящие за ней процессы не претерпели бы существенных изменений.

Первичная цель современной войны (согласно принципам *двоемыслия* она признается и одновременно отрицается руководящей верхушкой Внутренней Партии) состоит в том, чтобы расходовать продукцию машинного производства, не повышая общего уровня жизни. С конца девятнадцатого века в индустриальном обществе подспудно назревала проблема распределения излишков потребительских товаров. К настоящему времени, когда большинство людей живет впроголодь, эта проблема, очевидно,

потеряла актуальность, и, весьма вероятно, не только вследствие искусственных процессов разрушения. Сегодняшняя реальность по сравнению с миром до 1914 года – это воплощение убожества, голода и разрухи, тем более если сравнивать действительность с воображаемым будущим, которым грезили люди того времени. В начале двадцатого века в сознании едва ли не каждого просвещенного человека жило представление об обществе будущего как о баснословно богатом, праздном, благонравном и рациональном – сияющем стерильном мире из стекла, металла и белоснежного бетона. Наука и техника развивались поразительными темпами, и казалось естественным, что так и будет продолжаться. Этого не случилось по ряду причин. Отчасти вследствие обнищания из-за длинной череды войн и революций, отчасти потому, что научно-технический прогресс имеет в своей основе эмпирическое мышление, которое не могло уцелеть в жестко регламентированном обществе. В целом современный мир стал примитивней,

чем полвека назад. Достигнут прогресс в некоторых прежде отсталых областях, и созданы различные устройства, так или иначе связанные с военными и полицейскими задачами, но эксперименты и изобретения, по большому счету, прекратились, а страшные последствия атомной войны пятидесятых годов до сих пор не вполне преодолены. Тем не менее никуда не делись опасности, которые несет с собой машинное производство. С появлением первой машины всем мыслящим людям стало ясно, что отпала необходимость тяжкого труда, лежавшая в основе человеческого неравенства. Если бы машинное производство применялось непосредственно для этих целей, тогда бы в течение нескольких поколений мы покончили с голодом, тяжелой работой, грязью, безграмотностью и болезнями. И в самом деле, даже не будучи применяемой для освобождения человека, а, так сказать, в автоматическом порядке – производя блага, распределение которых было порой неизбежным, – машина таки внушительно подняла жизненный

уровень среднего человека в течение примерно пятидесяти лет, начиная с конца девятнадцатого века.

Но также стало ясно, что всеобщий рост благосостояния грозит уничтожением – в каком-то смысле являет собой погибель – иерархического общества. В мире, где рабочий день мал, никто не голодает и все живут в домах с ванными и холодильниками, владеют автомобилями, а то и самолетами, наиболее явная и, пожалуй, главнейшая форма неравенства уже ликвидирована. Став всеобщим, благосостояние не ведет к общественному расслоению. Можно, разумеется, представить общество, в котором *блага* в виде личной собственности и предметов роскоши будут распределены поровну, тогда как *власть* останется в руках малочисленной привилегированной касты. Но в действительности такое общество не могло бы долго сохранять стабильность. Ведь если обеспеченность и досуг станут всеобщим достоянием, то огромные массы людей, обычно живущих в нищете и невежестве, станут образованными и на-

учатся думать самостоятельно, вслед за чем рано или поздно осознают, что привилегированное меньшинство не несет никакой полезной функции. Тогда от него избавятся. Иерархическое общество в долговременной перспективе зиждется на нищете и невежестве. Возвращение в сельскохозяйственное прошлое, о котором мечтали отдельные мыслители начала двадцатого века, неосуществимо на практике. Оно не учитывало тенденции к индустриализации, ставшей почти всемирным квазиинстинктом, а кроме того, отсталая индустриально страна беспомощна в военном отношении и попадает в прямую или косвенную зависимость от своих более развитых соперников.

Не оправдало себя и удержание масс в нищете путем ограничения товаропроизводства. В значительной степени это можно было наблюдать в заключительной фазе капитализма, приблизительно между 1920 и 1940 годами. В экономике многих стран допустили застой, земли не возделывались, орудия производства не наращивались, огромные массы

населения не получали работы и поддерживались в полуголодном состоянии за счет государственной благотворительности. Но это опять-таки ослабляло военный потенциал, а лишения без явной необходимости неизбежно порождали оппозицию. Задача состояла в том, чтобы заставить промышленность работать полным ходом, не повышая при этом реального благосостояния мира. Товары должны были производиться, но не распределяться. И единственным практическим решением проблемы стала постоянная война.

Сущность войны – уничтожение. Не только людей, но и плодов человеческого труда. Война позволяет взрывать, распылять в стратосфере или топить в морских глубинах материалы, которые могли бы обеспечить излишний комфорт широким массам, а значит, в долговременной перспективе и нежелательную образованность. Даже когда военная техника не уничтожается, само ее производство легко позволяет задействовать рабочую силу, не производя товаров потребления.

К примеру, Плавучая крепость требует столько труда, сколько нужно для производства нескольких сотен грузовых судов. В конечном счете она устаревает и идет на лом, не принеся никому никакой материальной выгоды. Нужно создавать новую Плавучую крепость с последующими колоссальными трудозатратами. В теории военные нужды всегда планируются так, чтобы поглотить любые излишки, которые остаются после обеспечения минимальных нужд населения. На практике нужды населения всегда недооцениваются, что приводит к хронической нехватке всевозможных предметов первой необходимости; но это в конечном счете только приветствуется. Такая расчетливая политика позволяет удерживать даже избранные группы на грани лишений, поскольку всеобщий дефицит повышает важность малых привилегий и тем самым усиливает различия между отдельными группами. По стандартам начала двадцатого века даже член Внутренней Партии ведет аскетичную трудовую жизнь. Но и те немногие

доступные ему излишества – просторная, хорошо обставленная квартира, лучшее качество одежды, еды, напитков и табака, двое-трое слуг, личный автомобиль или вертолет – указывают на его принадлежность к особому миру, отличному от мира члена Внешней Партии. Член Внешней Партии, в свою очередь, имеет аналогичные преимущества перед беднейшими массами, которых мы называем «пролами». Это социальная атмосфера осажденного города, когда различие между богатством и бедностью определяется тем, достался ли тебе кусок конины. В то же время ощущение военного положения и сопряженной с ним опасности оправдывает передачу всей власти малочисленной касте под видом естественного и обязательного условия выживания.

Война, как можно убедиться, обеспечивает не только необходимое уничтожение излишков, но и достигает этого психологически приемлемым способом. В принципе можно было бы легко расходовать избыточный труд на возведение

храмов и пирамид, рытье скважин с их последующей засыпкой или даже на производство и торжественное сожжение огромного количества товаров. Все это смогло бы обеспечить только экономическую, но не эмоциональную базу иерархического общества. Здесь подразумевается не мораль народных масс, которая не принимается в расчет, пока они загружены работой, но мораль самой Партии. Даже от самого скромного члена Партии ожидается, что он компетентен, трудолюбив и умственно развит в своих узких пределах, но не менее важно, чтобы он был легковерным и невежественным фанатиком, одержимым страхом, ненавистью, низкопоклонством и оргиастическим восторгом. Другими словами, его менталитет должен соответствовать военному времени. Не имеет значения, ведется ли война в действительности, хорошо или плохо обстоят дела на фронте, ибо решительная победа невозможна. Достаточно находиться в самом состоянии войны. Расщепление сознания, которого Партия требует от своих членов, наибо-

лее естественно в военной атмосфере. Сейчас оно приняло почти всеобщий характер, и чем выше положение партийца, тем отчетливей это проявляется. Именно во Внутренней Партии отмечается самая безудержная военная истерия и ненависть к врагу. Член Внутренней Партии на административной должности, как правило, осознает ложность той или иной военной сводки. Как правило, он понимает, что вся война – фикция, и даже если она и ведется, то вовсе не для официальных целей. Но такое знание легко нейтрализуется методом *двоемыслия.* Ни в одном члене Внутренней Партии ни на миг не дрогнет мистическая вера в реальность войны и в неизбежность победы, когда Океания станет безраздельной хозяйкой всего мира.

Для всех членов Внутренней Партии грядущий триумф – догмат веры. Он должен быть достигнут либо за счет постепенного расширения территории, что даст решительное превосходство в силе, либо благодаря какому-нибудь новому неотразимому оружию. Поиски новых

видов оружия ведутся постоянно, и это одна из очень немногих областей, где еще может найти себе применение изобретательный или теоретический ум. Наука в современной Океании в прежнем значении этого понятия почти перестала существовать. В новоязе нет такого слова, как «наука». Эмпирический метод мышления, на котором основаны все научные достижения прошлого, противоречит самым базовым принципам Ангсоца. Даже технический прогресс допустим только в том случае, когда его достижения могут как-либо способствовать уменьшению человеческой свободы. В отношении всех ремесел мир стоит на месте либо движется вспять. Поля пашут плугом, тогда как книги пишут машинным способом. Но в жизненно важных областях – то есть в первую голову в военном и полицейском шпионаже – эмпирический метод все еще поощряется или хотя бы допускается. У Партии две цели: завоевать весь земной шар и навсегда искоренить возможность независимой мысли. Отсюда вытекают две большие задачи, решением которых

она озабочена. Первая – как вопреки воле человека узнавать его мысли; и вторая – как убить несколько сотен миллионов человек за несколько секунд и без всякого предупреждения. Таковы предметы научного исследования в пределах, еще доступных современной науке. Современный ученый – это либо гибрид психолога с инквизитором, который скрупулезно изучает значение мимики, жестов и интонаций или испытывает действие наркотиков, шоковой терапии, гипноза и физических пыток для извлечения правды; либо это химик, физик, биолог, занятый исключительно смертоносными отраслями своей научной дисциплины. В огромных лабораториях Министерства мира, на экспериментальных станциях, скрытых в бразильских джунглях, австралийской пустыне и на островах Антарктики, неутомимо трудятся научные группы. Одни планируют материально-техническое обеспечение будущих войн; другие разрабатывают все более крупные самонаводящиеся бомбы, все более мощную взрывчатку и все более непроби-

ваемую броню; третьи изобретают новые, еще более губительные газы и растворимые яды, которые можно произвести в огромных количествах, необходимых для уничтожения растительности целых континентов, или новые виды микробов, неуязвимые для любых возможных антител; четвертые пытаются сконструировать машину, способную перемещаться под землей, как подлодка – под водой, или самолет, которому не нужен ни аэродром, ни авианосец; пятые занимаются перспективными исследованиями вроде фокусировки солнечных лучей с помощью линз в космическом пространстве за тысячи километров от поверхности Земли или искусственного вызывания землетрясений и приливных волн путем воздействия на раскаленное земное ядро.

Но ни один из этих проектов так и не приблизился к осуществлению, а ни одна из трех сверхдержав никогда не достигала решительного преимущества над другими. Что еще примечательней, каждая из них уже обладает атомной бомбой – оружием гораздо более мощным, чем

любая из возможных разработок их ученых. И хотя Партия, следуя известному обычаю, приписывает это изобретение себе, первые атомные бомбы появились еще в сороковых годах и впервые были применены для массированных ударов в следующем десятилетии. Сотни бомб сбросили на промышленные центры, главным образом в европейской части России, в Западной Европе и Северной Америке. В результате правящие группы всех стран убедились, что еще несколько атомных бомб положат конец организованному обществу, а значит, и их власти. Бомбардировки прекратились, хотя никакого официального соглашения не было даже в проекте. Все три державы, однако, продолжают производить и накапливать атомные арсеналы с расчетом, что рано или поздно представится удачный случай. А тем временем военное искусство, можно сказать, топчется на месте вот уже тридцать-сорок лет. Вертолеты получили более широкое применение, большинство бомбардировщиков вытеснили беспилотные снаряды, а непрочные

подвижные линкоры уступили место почти непотопляемым Плавучим крепостям; в остальном говорить о прогрессе не приходится. Все так же применяются танки, подлодки, торпеды, пулеметы, даже винтовки и ручные гранаты. И несмотря на бесконечные сообщения в прессе и по телеэкранам о кровопролитных боях, уже не повторяются отчаянные сражения прошлых войн, когда за пару недель часто гибли сотни тысяч и даже миллионы человек.

Ни одна из трех сверхдержав никогда не предпринимает маневров, чреватых риском серьезного поражения. Если и проводится крупная операция, то это обычно внезапное нападение на союзника. Все три державы следуют (или уверяют себя, что следуют) одной стратегии. Идея ее такова: путем сочетания военных действий, переговоров и своевременных предательств полностью окружить одного из противников кольцом военных баз, после чего подписать пакт о ненападении и поддерживать мир сколько-то лет, чтобы усыпить всякую бдительность.

За это время можно будет смонтировать во всех стратегических точках ракеты с атомными боеголовками, чтобы в конечном счете нанести массированный удар, столь разрушительный, что ответная атака станет невозможна. Затем можно будет подписать пакт о ненападении с оставшейся мировой державой и готовиться к новому штурму. Пожалуй, излишне говорить, что подобный план – это неосуществимая в реальности фантазия. Тем более что бои ведутся исключительно на спорных землях вблизи экватора и полюса; никто никогда не вторгался на вражескую территорию. Именно отсюда вытекает тот факт, что границы между сверхдержавами в некоторых областях произвольны. Евразия, к примеру, могла бы легко завоевать Британские острова, которые географически относятся к Европе, а Океания могла бы раздвинуть свои границы к Рейну или даже Висле. Но тогда нарушился бы принцип культурной целостности, которого негласно придерживаются все стороны. Если бы Океания завоевала области, из-

вестные ранее как Франция и Германия, то пришлось бы либо истребить их жителей, что физически затруднительно, либо ассимилировать стомиллионное население, которое в техническом отношении находится примерно на том же уровне, что и Океания. Эта проблема одинакова для всех трех сверхдержав. Их режим совершенно нетерпим к контактам с иностранцами, за малым исключением в виде военнопленных и цветных рабов. Даже на текущего официального союзника смотрят с глубочайшим подозрением. Средний гражданин Океании никогда не видит граждан Евразии или Остазии, не считая военнопленных, и знать иностранные языки ему запрещено. Если бы ему позволили контактировать с иностранцами, то он бы обнаружил, что они не так уж отличаются от него самого, а большая часть внушенной о них информации – явная ложь. Тогда бы нарушился закупоренный мир, в котором он существует, и основы его гражданского духа – страх, ненависть и чувство собственного превосходства – испарились бы.

Поэтому все три стороны понимают, что основные границы не должно пересекать ничто, кроме ракет, как бы часто ни переходили из рук в руки Персия, Египет, Ява или Цейлон.

Тем самым скрывается факт, никогда не признаваемый вслух, но негласно принимаемый в расчет, а именно: условия жизни во всех трех сверхдержавах весьма схожи. В Океании государственная философия называется Ангсоц, в Евразии – Необольшевизм, в Остазии закрепилось китайское название, которое обычно переводят как «Культ Смерти», хотя более точное его значение – «стирание самости». Гражданину Океании не положено ничего знать о постулатах двух других философий, его учат питать к ним отвращение как к варварскому надругательству над моралью и здравым смыслом. На самом же деле все три идеологии мало чем отличаются друг от друга, а общественные системы, возведенные на их основе, не различаются вовсе. Это все та же пирамидальная структура, тот же культ полубожественного вождя, та

же экономика за счет и для постоянной войны. Отсюда следует, что три сверхдержавы не только не могут покорить друг друга, но и ничего не выиграли бы от этого в случае успеха. Наоборот, во время непрекращающейся войны они подпирают друг друга, подобно трем снопам. И как обычно, правящие группы всех трех держав сознают и в то же время не сознают свои действия. Они посвятили себя завоеванию мира, но при этом понимают, что война должна продолжаться без конца и без победы. А тот факт, что опасность покорения не грозит НИКОМУ, делает возможным отрицание действительности, которое является характерной чертой как Ангсоца, так и вражеских учений. Здесь надо повторить сказанное выше: война в корне изменила свой характер, когда стала постоянной.

Можно сказать, что в прежние века война по определению была чем-то таким, что рано или поздно подходит к концу – как правило, путем бесспорной победы или поражения. К тому же в прошлом война служила одним из главных

средств привязки общества к физической реальности. Все правители во все времена пытались навязывать своим подданным ложное представление о мире, но они не могли позволить себе поощрять иллюзии, которые подрывали бы военную силу. Когда поражение означает потерю независимости или иной нежелательный результат, его следует избегать самым серьезным образом. Нельзя пренебрегать физическими фактами. В философии, религии, этике или политике дважды два может равняться пяти, но когда вы конструируете пушку или самолет, дважды два должно быть четыре. Нерациональные страны рано или поздно будут завоеваны, а борьба за рациональность несовместима с иллюзиями. Более того, чтобы достичь такой рациональности, нужно уметь извлекать уроки из прошлого, а стало быть, знать его более-менее точно. Газеты и учебники истории, конечно же, всегда страдали предвзятостью и тенденциозностью, но раньше фальсификация в сегодняшних масштабах была невозможна. Война слу-

жила надежным стражем здравомыслия, а применительно к правящим классам она являлась, вероятно, важнейшей его гарантией. Пока войну можно было выиграть или проиграть, никакой правящий класс не мог позволить себе полной безответственности.

Но когда война становится в буквальном смысле постоянной, она перестает быть опасной. При постоянной войне исчезает такое понятие, как военная необходимость. Можно прекратить технический прогресс, можно отрицать или не принимать в расчет самые явные факты. Как мы уже видели, исследования, которые можно назвать научными, все еще ведутся для военных целей, хотя это, по существу, фантазии. Они неспособны принести результатов, но это и не важно. Рациональность, в том числе военная, больше не нужна. В Океании нерационально все, кроме Мыслеполиции. Поскольку ни одна из трех сверхдержав не может быть побеждена, каждая из них является фактически отдельной вселенной, в пределах которой допустимо почти

любое умственное извращение. Реальность дает себя знать только в бытовых нуждах: есть и пить, иметь кров и одежду, не принимать внутрь ядов и не выходить через окно на высоком этаже и т. п. По-прежнему существует различие между жизнью и смертью, между физическим удовольствием и физической болью, но и только. Гражданин Океании, отрезанный от внешнего мира и от прошлого, подобен человеку в межзвездном пространстве, который не знает, где верх, а где низ. Правители такого государства обладают абсолютной властью, какой не было ни у фараонов, ни у цезарей. Они не должны допускать, чтобы их подданные умирали от голода в неудобных количествах, и вынуждены поддерживать военную технику на столь же низком уровне, что и их противники; соблюдая эти минимальные требования, они могут извращать реальность, как им вздумается.

Таким образом, нынешняя война, если судить ее по прежним меркам, – форменное на-дательство. Она напоминает схватки между отдельными видами

жвачных животных, рога которых растут под таким углом, что не могут нанести им увечий. Но эта война при всей своей ирреальности не бессмысленна. Она поглощает излишки производства и помогает поддерживать то особое умонастроение, которого требует иерархическое общество. Война теперь, как можно видеть, дело чисто внутреннее. В прошлом правители всех стран хоть и могли сознавать общность своих интересов и потому стремиться ограничивать военные потери, но все же действительно сражались между собой, и победитель всегда грабил побежденного. В наши дни они воюют вовсе не между собой. Каждая правящая группа ведет войну против своих же подданных, и целью такой войны является не захват чужой или удержание собственной территории, а сохранение в неприкосновенности своего общественного строя. Поэтому само слово «война» утратило изначальный смысл. Пожалуй, можно сказать, что война, став постоянной, перестала быть войной. Со времен неолита и до начала двадцатого века она оказывала

особое воздействие на людей, но сейчас все сменилось чем-то совершенно иным. Того же эффекта можно было бы достичь, если бы все три сверхдержавы отказались враждовать между собой и согласились жить в вечном мире, оставаясь неприкосновенными внутри своих границ. В таком случае каждая из них точно так же была бы замкнутой вселенной, навсегда избавленной от отрезвляющего влияния внешней угрозы. Подлинно перманентное состояние мира ничем не отличалось бы от перманентной войны. И пусть подавляющее большинство партийцев понимают его лишь поверхностно, но именно в этом состоит глубинный смысл лозунга Партии: *Война – это мир.*

Уинстон на миг отвлекся. Где-то вдалеке прогремела бомба. Его не покидало блаженное чувство уединения с запрещенной книгой в комнате без телеэкрана. Уединение и надежность были физически ощутимы наравне с телесной усталостью, мягкостью кресла, легким бризом из окна, дышавшим ему в щеку. Книга его заворожила, точнее сказать, приободрила. Она как будто не

рассказала ему ничего нового, но в этом и была часть ее притягательности. Она говорила то, что он и сам мог бы сказать, если бы сумел привести в порядок свои разрозненные мысли. Она была продуктом схожего с ним разума, но гораздо более могучего, более систематизированного, менее подверженного страху. Он подумал, что лучшие книги говорят тебе то, что ты и так уже знаешь. Едва открыв первую главу, он услышал шаги Джулии на лестнице и поднялся, чтобы встретить ее. Она бросила на пол коричневую сумку с инструментами и кинулась ему на шею. Они не виделись больше недели.

— У меня *книга*, — сказал он, когда они разомкнули объятия.

— О, надо же? Хорошо, — откликнулась она без особого интереса и почти сразу присела к примусу варить кофе.

Они вернулись к этой теме после получаса в постели. Вечер был нежаркий, так что они укрылись одеялом. Со двора доносилось знакомое пение и шарканье ботинок по плитам. Могучая краснорукая баба, которую Уинстон увидел в первый вечер, будто никуда и не уходила. Казалось, не было такого часа, когда бы она не расхаживала между корытом и веревкой, то закусывая белье-

вые прищепки, то разражаясь зычной песней. Джулия устроилась на своей стороне и, похоже, готовилась заснуть. Он поднял с пола книгу и сел к изголовью.

— Мы должны прочитать ее, — сказал он. — Ты тоже. Всем членам Братства нужно ее прочитать.

— Ты читай, — сказала она, не открывая глаз. — Вслух. Так будет лучше. Будешь по ходу мне объяснять.

Стрелки часов показывали шесть, то есть восемнадцать. Оставалось еще три-четыре свободных часа. Он устроил книгу на коленях и начал читать:

Глава I
Незнание – это сила

На протяжении всей известной истории и, вероятно, с конца неолита в мире существуют три вида людей: Высшие, Средние и Низшие. Раньше они подразделялись множеством способов, назывались бессчетными именами, а их относительная численность, как и взаимные отношения, менялись от века к веку; но фундаментальная структура обще-

ства оставалась неизменной. Даже после колоссальных потрясений и, казалось бы, необратимых изменений всегда возвращалась одна и та же модель, подобно тому, как гироскоп всегда восстанавливает равновесие, сколь бы сильно его ни толкали.

— Джулия, не спишь? — спросил Уинстон.
— Нет, милый, я слушаю. Читай. Это чудесно.
Он стал читать дальше:

Цели этих групп совершенно несовместимы. Цель Высших – оставаться на своем месте. Цель Средних – поменяться местами с Высшими. Цель Низших, когда у них есть цель, – собственно, Низших и отличает, что они слишком задавлены тяжким трудом и только урывками сознают что-либо вне своей рутинной жизни – стереть все различия и создать общество, в котором все люди будут равны. Таким образом, на протяжении всей истории вновь и вновь вспыхивает, по существу, одна и та же борьба. Высшие могут, казалось бы, долгое время надежно удерживать власть, но рано или позд-

но всегда наступает момент, когда они теряют веру в себя или способность к эффективному управлению, а то и все разом. Тогда их свергают Средние, заручившись поддержкой Низших, которым они внушили, что борются за свободу и справедливость. Как только цель бывает достигнута и Средние становятся Высшими, они бросают Низших в прежнем рабском положении. Тем временем возникают новые Средние, отслоившись от одной из новых групп (или сразу от обеих), и борьба начинается заново. Из трех групп только Низшие никогда не добиваются своих целей даже на время. Неверно было бы утверждать, что развитие истории не сопровождается никаким материальным прогрессом. Даже сегодня, в период упадка, средний человек материально обеспечен лучше, чем несколько веков назад. Но никакой рост благосостояния, никакое смягчение нравов, никакие реформы и революции ни на миллиметр не приблизили равенство людей. Для Низших любые исторические перемены значат немногим больше, чем

смену хозяев.

К концу девятнадцатого века такая закономерность стала для многих очевидной. Возникли философские учения, которые утверждали циклическое развитие истории и доказывали, что неравенство – неизбежный закон человеческого бытия. Конечно, такое учение и раньше привлекало сторонников, но теперь оно преподносилось несколько иначе. В прошлом необходимость иерархического общества была доктриной Высших. Ее проповедовали короли и аристократы, а также паразитировавшие на них священники, адвокаты и им подобные касты, умасливая Низших обещаниями воздаяния в воображаемом загробном мире. Средние в борьбе за власть обычно прибегали к таким понятиям, как свобода, равенство и братство. Однако теперь на идею всеобщего братства ополчились люди, которые не имели пока никакой власти, но надеялись захватить ее в скором будущем. В прошлом Средние совершали революции под знаменем равенства, а потом, сбросив старую тира-

нию, немедленно устанавливали новую. Теперь же новые Средние фактически заранее провозгласили собственную тиранию. Социализм – теория, возникшая в начале девятнадцатого века в качестве последнего звена идейной традиции и брала начало от восстаний рабов в античности, – остался насквозь пропитан утопизмом прошлых веков. Но все варианты социализма, возникшие в двадцатом веке, все более открыто отвергали цель достижения свободы и равенства. Новые движения появились ближе к середине века – Ангсоц в Океании, Необольшевизм в Евразии и Культ смерти, как его обычно называют, в Остазии. Они неизменно ставили себе целью установление вечной НЕсвободы и НЕравенства. Эти новые движения, конечно, выросли из старых. Они сохранили их названия и на словах придерживались первоначальной идеологии. Но все они преследовали цель остановить прогресс и в нужный момент заморозить историю. Знакомый маятник должен был качнуться еще раз и застыть. Как обычно, Средние намере-

вались свергнуть Высших и занять их место; но на этот раз, следуя продуманной стратегии, Высшие смогут удерживать свое положение перманентно.

Отчасти новые доктрины возникли благодаря накопленным историческим знаниям и росту исторического сознания, о котором едва ли можно говорить до девятнадцатого века. Теперь же пришло понимание – возможно, мнимое – циклического развития истории; а раз его можно понять, значит, можно и изменить. Но главной, фундаментальной предпосылкой являлось то, что в начале двадцатого века всеобщее равенство стало технически осуществимо. Пусть люди по-прежнему не были равны по своим природным способностям и не исчезло разделение труда, ставившее одних над другими; зато отпала необходимость в классовых различиях и большом материальном неравенстве. В прежние века классовые различия были не только неизбежны, но и желательны. Неравенство являлось условием цивилизации. Однако с развитием машинного производства

ситуация изменилась. Даже если людям как и прежде приходилось выполнять различные виды работ, они больше не должны были жить на различных социальных или экономических уровнях. Поэтому, с точки зрения новых групп, собиравшихся захватить власть, человеческое равенство стало не идеалом, к которому стоит стремиться, а опасностью, которой следует избегать. В более примитивные века, когда справедливого и мирного общества фактически нельзя было достичь, в него было несложно верить. Тысячелетиями человеческое воображение преследовала идея земного рая, где люди жили бы вместе как братья, без законов и тяжкого труда. И этот образ захватывал умы даже тех групп, которые на деле выигрывали от исторических перемен. Наследники французской, английской и американской революций отчасти верили в свои высказывания о правах человека, о свободе слова, о равенстве перед законом и прочие подобные вещи – и даже до некоторой степени подчиняли им свое поведение. Но к четвер-

той декаде двадцатого века все главные течения политической мысли стали авторитарными. Земной рай сбросили со счетов как раз тогда, когда он стал достижим. Каждая новая политическая теория, как бы она ни называлась, звала назад, к иерархии и регламентации. В согласии с общим ожесточением нравов, которое наметилось около 1930 года, возродились обычаи, считавшиеся пережитком далекого многовекового прошлого: тюремное заключение без суда, рабский труд военнопленных, публичные казни, пытки для получения показаний, взятие заложников и выселение целых народов; мало того, все это признавали и даже оправдывали люди, считавшие себя просвещенными и прогрессивными.

Только спустя десятилетие сотрясений мира национальными и гражданскими войнами, революциями и контрреволюциями Ангсоц и его конкуренты оформились в виде готовых политических теорий. Впрочем, их предвосхищали различные системы, возникшие ранее в двадцатом веке. В совокупности их

называли тоталитарными, и очертания мира, который должен был возникнуть из всеобщего хаоса, давно были ясны. Лежало на поверхности и то, какого рода люди станут править таким миром. Новую аристократию в большинстве своем составили бюрократы, ученые, технологи, профсоюзные руководители, специалисты по связям с общественностью, социологи, учителя, журналисты и профессиональные политики. Этих людей, происходивших из служащих среднего класса и верхних прослоек рабочего класса, сформировал и свел вместе выхолощенный мир монополистической промышленности и централизованной власти. По сравнению со своими предшественниками прошлых веков они были менее алчны, менее падки на роскошь, но сильнее жаждали чистой власти и, самое главное, отчетливей сознавали свои действия и настойчивей стремились сокрушить оппозицию. Последнее различие и сыграло решающую роль. Рядом с сегодняшними режимами все тирании прошлого кажутся половинчатыми и

нерациональными. Правящие группы всегда в какой-то степени были заражены либеральными идеями, допускали всяческие послабления, реагировали только на открытое неповиновение и не интересовались мыслями своих подданных. По современным понятиям даже католическая церковь Средневековья была терпимой. Отчасти это объясняется тем, что в прошлом никакое правительство не имело возможности держать своих граждан под постоянным наблюдением. Появление печатных изданий упростило манипуляцию общественным мнением, а кино и радио продвинулись еще дальше. С развитием телевидения и сопутствующих технологий, сделавших возможным одновременный прием и передачу информации, частная жизнь подошла к концу. Любого гражданина, по крайней мере каждого, за кем стоит следить, можно теперь держать под круглосуточным полицейским наблюдением и безостановочно внушать ему пропаганду, перекрыв все прочие каналы связи. Впервые стало возможным достичь не

только полного подчинения воле государства, но и единогласия по всем вопросам.

После революционных волнений пятидесятых-шестидесятых годов общество, как всегда, расслоилось на Высших, Средних и Низших. Однако новые Высшие в отличие от своих предшественников не полагались на чутье, но твердо знали, что нужно делать для сохранения своего положения. Давно было подмечено, что единственная надежная основа олигархии – это коллективизм. Богатство и привилегии легче всего защитить при совместном владении. Так называемая «отмена частной собственности», проведенная в середине века, означала, по существу, сосредоточение собственности в руках гораздо меньшего числа людей, чем прежде, но с той разницей, что новые владельцы являлись группой, а не массой индивидуумов. Индивидуально ни один член Партии не владеет ничем, кроме ничтожного личного имущества. Коллективно Партия владеет всем в Океании, поскольку она всем управляет и распоряжается продуктами производства так,

как считает нужным. В годы после Революции она смогла занять командующее положение почти беспрепятственно благодаря тому, что весь этот процесс прошел под видом коллективизации. Всегда бытовало мнение, что стоит устранить класс капиталистов и экспроприировать их собственность, как наступит социализм – и капиталистов решительно экспроприировали. У них отобрали все: заводы, шахты, землю, дома, транспорт; а раз эта собственность перестала быть частной, значит, стала общественной. Ангсоц вырос из раннего социалистического учения и перенял его фразеологию, так что он фактически выполнил главный пункт социалистической программы. Ангсоц достиг результата, которого давно и с нетерпением ждали, – перманентного закрепления экономического неравенства.

Однако проблемы увековечивания иерархического общества этим не ограничиваются. Есть всего четыре причины, по которым правящая группа теряет власть. Либо ее побеждает внешний враг; либо она правит так неразумно, что

массы поднимают восстание; либо образуется сильная и недовольная группа Средних; либо она теряет уверенность в собственных силах и желание править. Эти причины проявляются не по отдельности, а, как правило, все одновременно сказываются в какой-то мере. Правящий класс, который сможет уберечь себя от всех четырех, сможет удерживать власть постоянно. В конечном счете, решающим фактором является психологическое состояние самого правящего класса.

После середины нашего века первая опасность перестала существовать. Каждая из трех держав, поделивших мир, фактически непобедима, разве только путем медленных демографических изменений, которые может легко предотвратить правительство с широкими полномочиями. Вторая опасность также лишь теоретическая. Массы никогда не восстают сами по себе и по той единственной причине, что они угнетены. Более того, не имея возможности сравнить с чем-либо свое положение, они даже не будут знать о своем угнетении.

Экономические кризисы, периодически повторявшиеся в прошлом, потеряли всякую необходимость, и их не допускают. Другие не менее значительные неурядицы могут возникать и действительно возникают, но не приводят к политическим последствиям, поскольку нет никакой возможности внятно выразить недовольство. Что касается проблемы перепроизводства, которая назревала внутри нашего общества с тех пор, как развилась машинная техника, то ее разрешают посредством перманентной войны (см. главу III). Война к тому же помогает должным образом подогревать моральный дух народных масс. Поэтому нашим сегодняшним правителям следует опасаться лишь двух вещей: появления новой группы способных, не очень занятых и жадных до власти людей, а также роста либерализма и скептицизма в их собственных рядах. Все это – задача воспитательная. Она требует постоянной формовки сознания как ведущей группы, так и более многочисленной группы исполнителей, занимающей следую-

щую ступень. Что же касается сознания народных масс, то на него нужно воздействовать только в негативном ключе.

Принимая во внимание сказанное, несложно вывести – если бы кто-то этого не знал – общую структуру общества Океании. На вершине пирамиды находится Большой Брат. Большой Брат непогрешим и всемогущ. Всякий успех, всякое достижение, всякая победа, всякое научное открытие, все знания, вся мудрость, все счастье, вся доблесть проистекают непосредственно из его мудрого руководства. Никто никогда не видел Большого Брата. Он – лицо на плакатах, голос с телеэкранов. Мы можем быть вполне уверены, что он никогда не умрет, и даже сейчас довольно затруднительно сказать, когда он родился. Большой Брат – это тот образ, в котором Партия желает предстать перед миром. Его задача – внушать любовь, страх и почтение, то есть эмоции, более естественные в отношении отдельного человека, нежели целой организации. За Большим Братом идет Внутренняя Партия. Численность

ее составляет всего шесть миллионов, то есть менее двух процентов населения Океании. После Внутренней Партии идет Внешняя Партия. Если уподобить Внутреннюю Партию мозгу государства, то Внешняя может быть названа его руками. Далее следуют косные массы, которых мы обычно называем «пролами», составляющие, пожалуй, восемьдесят пять процентов населения. В понятиях нашей прежней классификации пролы являются Низшими, поскольку они, как и рабское население экваториальных земель, постоянно переходящее от одного завоевателя к другому, не являются постоянной или необходимой частью всей структуры.

В принципе принадлежность к любой из этих трех групп не является наследственной. Теоретически ребенок членов Внутренней Партии не принадлежит к ней по рождению. Вступление в ту или иную часть Партии определяется экзаменом в шестнадцатилетнем возрасте. При этом нет ни расовой дискриминации, ни предпочтения одной провинции другой.

В высших рядах Партии можно встретить и еврея, и негра, и чистокровного индейца из Южной Америки, а администраторов любой провинции всегда набирают из местных жителей. Нигде в Океании люди не ощущают себя колониальным народом, которым управляют из далекой столицы. В Океании нет столицы, и никто не знает, где находится номинальный глава государства. За вычетом того, что английский язык – это лингва франка [4], а новояз – официальный язык, никакой другой централизации в Океании нет. Правителей Океании объединяют не кровные узы, а преданность общей доктрине. Наше общество действительно расслоено, причем весьма четко, и на первый взгляд все расслоение носит наследственный характер. Перемещения между различными группами случаются реже, чем при капитализме или даже в доиндустриальную эпоху. Между двумя частями Партии происходит определенный взаимообмен,

[4] Примечания: 4

Лингва франка (*итал.* Lingua franca) — это язык, который используется для всеобщей коммуникации между людьми, родными языками которых могут являться другие языки.

но лишь чтобы избавлять Внутреннюю Партию от малахольных и поощрять наиболее честолюбивых из Внешней Партии, продвигая их по карьерной лестнице. Пролетариям дорога в Партию практически закрыта. Самых способных из них, могущих стать возмутителями спокойствия, берет на заметку и устраняет Мыслеполиция. Но такое положение дел не принципиально и не обязательно должно быть перманентным. Партия – это не класс в прежнем значении. Она не стремится передавать власть именно своим детям; и если не найдется другого способа сконцентрировать наверху самых способных, Партия без колебаний наберет новое поколение из рядов пролетариата. В критические годы тот факт, что Партия не является наследственным институтом, значительно способствовал нейтрализации оппозиции. Социалисты старой формации, приученные бороться с тем, что они называли «классовыми привилегиями», полагали, будто все ненаследственное не может носить постоянный характер. Они не понимали,

что преемственность олигархии не обязательно реализуется физически, и не задумывались над недолговечностью наследственной аристократии, тогда как организации, открытые для всех – к примеру, католическая церковь, – продержались сотни, а то и тысячи лет. Суть олигархического правления не в наследовании власти от отца к сыну, а в стойкости определенного мировоззрения и образа жизни, налагаемых мертвыми на живых. Правящий класс до тех пор правит, пока он может назначать своих преемников. Партия заботится не о том, чтобы увековечить свою кровь, а о том, чтобы увековечить самое себя. *Кто* держит власть в своих руках – неважно, лишь бы иерархический строй оставался неизменным.

Все убеждения, обычаи, вкусы, чувства и взгляды, свойственные нашему времени, целенаправленно прививаются для поддержания таинственного ореола вокруг Партии, скрывающего понимание подлинной природы современного общества. Восстание или хотя бы какое-

то движение к нему сейчас физически невозможно. Пролетариев опасаться не приходится. Предоставленные сами себе, они будут все так же из поколения в поколение и из века в век работать, плодиться и умирать не только без малейшего побуждения восстать, но даже не в силах осознать, что мир может быть устроен иначе. Они могли бы представлять опасность только в том случае, если бы развитие промышленной техники потребовало, чтобы им давали лучшее образование; но учитывая, что ни военное, ни коммерческое соперничество уже не имеют значения, уровень народного образования фактически снижается. Какие мнения бытуют в массах и есть ли у них вообще свое мнение, партийцам совершенно безразлично. Пролам может быть дарована интеллектуальная свобода, поскольку интеллекта у них нет. С другой стороны, для члена Партии малейшее отклонение во взглядах на самый незначительный предмет недопустимо.

Жизнь члена Партии с рождения до смерти проходит на глазах Мыслеполи-

ции. Даже когда он один, он никогда не может быть в этом уверен. Где бы он ни был – спит он или бодрствует, работает или отдыхает, в ванной или в постели, – за ним могут наблюдать без его ведома. Любое его действие имеет значение. Дружеские связи, развлечения, отношения с женой и детьми, выражение лица наедине с собой, произнесенные во сне слова, даже характерные движения тела – все это тщательно изучается. Не только действительные проступки, но любая сколь угодно малая эксцентричность, любое изменение в привычках, любой нервозный маньеризм, который может быть симптомом возможной внутренней борьбы, непременно будут замечены. Член Партии лишен свободы выбора во всем. С другой стороны, его действия не регулируются законом или каким-либо четко сформулированным кодексом поведения. В Океании нет закона. Мысли и действия, почти наверняка караемые смертью, формально не запрещены. Бесконечные чистки, аресты, пытки, посадки и испарения имеют целью не наказать

кого-то за фактически совершенные преступления, а лишь избавиться от тех, кто мог бы когда-нибудь в будущем их совершить. Член Партии должен иметь не только правильные мнения, но и верные инстинкты. Многие из его обязательных верований и взглядов никогда не были ясно сформулированы, да и не могли быть сформулированы, потому что тогда бы обнажились противоречия, присущие Ангсоцу. Человеку от природы правоверному (на новоязе – *хоромыслу*) при любых обстоятельствах будет ясно без всяких мыслей, какое убеждение верно и какое чувство желательно. Но в любом случае тщательная умственная тренировка, практикуемая с детства и выражаемая тремя словами новояза (*самостоп*, *белочерный* и *двоемыслие*), лишает человека воли и способности глубоко задумываться о чем бы то ни было.

Члену Партии не положены личные чувства и сбои в энтузиазме. Предполагается, что он на протяжении всей жизни должен захлебываться от ненависти к внешним врагам и внутренним предате-

лям, ликовать по поводу одержанных побед и преклоняться перед могуществом и мудростью Партии. Недовольство, порождаемое скудной и безрадостной жизнью, планомерно направляется на внешние объекты и рассеивается путем таких приемов, как Двухминутки Ненависти, а размышления, которые могли бы вызвать скептическое или мятежное настроение, убиваются в зародыше привитой с детства внутренней дисциплиной. Первое и простейшее упражнение, которое могут усвоить даже малые дети, называется на новоязе *самостоп. Самостоп* означает умение как бы инстинктивно останавливаться на пороге опасной мысли. Сюда относится умение не проводить аналогий, не замечать логических нестыковок, не понимать простейших аргументов, если они враждебны Ангсоцу, а также испытывать скуку и пренебрежение ко всякому ходу мыслей, способному привести к ереси. Коротко говоря, *самостоп* означает защитную тупость. Но одной тупости мало. Напротив, правоверность в полной мере требует управлять ум-

ственными процессами подобно тому, как акробат управляет своим телом. Общество Океании, в конечном счете, зиждется на вере во всемогущество Большого Брата и непогрешимость Партии. Но поскольку в действительности Большой Брат не всемогущ, а Партия грешит несовершенством, нужна неустанная, ежесекундная гибкость в обращении с фактами. Здесь ключевое слово – *белочерный.* Как и многие слова новояза, оно имеет два противоположных значения. Применительно к противнику оно обозначает привычку бесстыдно утверждать, что черное – это белое, вопреки очевидным фактам. Применительно к члену Партии это слово означает лояльную готовность называть черное белым, когда того требует партийная дисциплина. И не только называть, но и *верить*, что черное – это белое, и даже точно *знать* это, забывая, что когда-то он мог считать иначе. Дисциплина требует постоянного изменения прошлого, что достигается при помощи системы взглядов, называемой на новоязе двоемыслием. По существу,

она охватывает вообще все.

Изменение прошлого необходимо по двум причинам, одна из которых второстепенная и, если можно так сказать, профилактическая. Она заключается в том, что член Партии, как и пролетарий, смиряется с условиями жизни из-за отсутствия возможности с чем-то их сравнить. Он должен быть отрезан от прошлого так же, как и от зарубежных стран, потому что ему необходимо верить, что он живет лучше своих предков, а средний уровень материального благосостояния неуклонно растет. Но гораздо более важная причина переделки прошлого состоит в необходимости защищать непогрешимость Партии. Дело не только в том, что нужно все время подгонять речи, статистику и всевозможные отчеты под текущий день, подтверждая тем самым верность всех прогнозов Партии. Важно, чтобы никогда нельзя было утверждать, будто партийная доктрина или политическая линия подвержены каким-либо изменениям. Ибо изменить свои воззрения или даже политические

взгляды значило бы признать собственную слабость. Если, к примеру, Евразия или Остазия (неважно кто) является врагом сегодня, значит, она была врагом всегда. А если факты говорят обратное, значит, надо изменить факты. Поэтому история постоянно переписывается. Эта ежедневная фальсификация прошлого, проводимая Министерством правды, не менее необходима для устойчивости режима, чем репрессии и шпионаж Министерства любви.

Пластичность прошлого – главный постулат Ангсоца. Он гласит, что события прошлого объективно не существуют, они остаются лишь в письменных документах и в человеческой памяти. Прошлое – это то, о чем свидетельствуют документы и воспоминания. А поскольку Партия полностью контролирует все документы, как и умы всех своих членов, прошлое становится таким, каким его желает видеть Партия. Также отсюда следует, что прошлое, при всей его изменчивости, ни в какой момент не меняли. Поскольку едва его пересоздают

в соответствии с текущим моментом, оно *тут же* становится единственным возможным прошлым. Это верно даже в тех нередких случаях, когда какое-то событие меняется до неузнаваемости по несколько раз за год. Партия всегда владеет абсолютной истиной, а абсолютная истина не может быть отличной от текущего момента. Управление прошлым, как можно догадаться, зависит прежде всего от тренировки памяти. Привести все документальные свидетельства в согласие с правоверностью текущего момента – задача чисто механическая. Но необходимо и *помнить*, что события происходили желаемым образом. А если необходимо перекраивать свою память и подделывать документы, значит, необходимо и *забывать*, что ты это делал. Освоить такой трюк не сложнее, чем любое другое умственное упражнение – это под силу большинству членов Партии, во всяком случае, тем, кто вместе с правоверностью обладает умом. На староязе это называлось прямо – «управление реальностью». На новоязе это называют *двоемыслием*,

хотя *двоемыслие* включает в себя и многое другое.

Двоемыслие – это умение придерживаться одновременно двух противоположных убеждений и верить в оба. Партийный интеллектуал знает, в каком направлении должны меняться его воспоминания, а потому не может не понимать, что подтасовывает реальность. Практикуя *двоемыслие*, он убеждает себя, что реальность не пострадала. Весь этот процесс требует сознательности, иначе не добиться нужной точности, но он же требует и бессознательности, иначе останется ощущение фальши, а значит – вины. *Двоемыслие* – это самая суть Ангсоца, поскольку главное занятие Партии – это сознательная дезинформация при твердом следовании своей цели с самым искренним видом. Говорить расчетливую ложь и искренне верить в нее, забывать ставший неудобным факт, а потом в случае нужды извлекать его из забвения на определенный срок, отрицать наличие объективной реальности и в то же время учитывать ее, несмотря на отрицание, –

все это абсолютно необходимо. Даже при использовании слова *двоемыслие* приходится применять *двоемыслие*. Ибо, используя это слово, вы признаете, что искажаете реальность, но прибегаете к *двоемыслию* и стираете память об этом – и так без конца, чтобы ложь всегда на один скачок опережала правду. В конечном счете, именно посредством *двоемыслия* Партии удалось – и, судя по всему, будет удаваться еще тысячелетиями – остановить историю.

Все олигархии прошлого теряли власть либо потому, что костенели, либо потому, что размякали. Иногда из-за собственной тупости и самонадеянности они не могли приспособиться к меняющимся обстоятельствам, и их свергали; иногда, напротив, они становились либеральными и трусливыми, шли на уступки, когда следовало применить силу, и опять же их свергали. Иначе говоря, их губила либо сознательность, либо ее отсутствие. Достижение Партии в том, что она выработала систему мышления, при которой оба состояния могут существовать

одновременно. Никакая другая интеллектуальная база не могла бы обеспечить перманентное могущество Партии. Тот, кто правит и желает править впредь, должен уметь искажать чувство реальности. Ибо секрет успешного правления кроется в сочетании веры в собственную непогрешимость с умением учиться на прошлых ошибках.

Едва ли нужно говорить, что искусней всех владеют *двоемыслием* его изобретатели, хорошо знающие, что *двоемыслие* – это целая система интеллектуального надувательства. В нашем обществе те, кто лучше всех знает, что происходит в действительности, хуже всех видят мир таким, каков он есть на самом деле. В общем, чем больше понимания, тем больше самообмана; чем больше ума, тем больше безумия. Яркий тому пример – военная истерия, нарастающая по мере восхождения по социальной лестнице. Самое разумное отношение к войне проявляют покоренные народы спорных территорий. Для них война – это не что иное, как бесконечное бедствие, которое бросает их

из стороны в сторону, точно приливная волна. Кто побеждает в этих войнах, им совершенно безразлично. Они понимают, что смена власти означает лишь, что им придется терпеть к себе прежнее отношение и работать, как и раньше, только на новых господ. Занимающие несколько лучшее положение рабочие, которых мы называем «пролами», сознают войну лишь урывками. При необходимости в них можно возбудить истерию страха и ненависти, но стоит оставить их в покое, как они надолго забывают о войне. Подлинный военный энтузиазм мы найдем лишь среди членов Партии, и прежде всего – Внутренней Партии. В завоевание мира тверже всего верят те, кто знает, что оно невозможно. Это, казалось бы, странное единство противоположностей – знания и незнания, цинизма и фанатизма – одна из самых характерных черт общества Океании. Официальная идеология изобилует противоречиями даже там, где это не несет практической пользы. Так, к примеру, Партия отрицает и чернит все принципы, за которые когда-то

боролись социалисты, но делает она это именем социализма. Она проповедует такое презрение к рабочему классу, какого не знала история, но в то же время одевает своих членов в форму, отличавшую когда-то людей физического труда и для этого предназначенную. Партия систематически подрывает единство семьи и в то же время дает вождю имя, прямо взывающее к чувству семейной близости. Даже названия четырех министерств, управляющих нами, обнаруживают своеобразную дерзость, умышленно искажая факты. Министерство мира отвечает за войну, Министерство правды – за ложь, Министерство любви – за пытки, а Министерство изобилия – за голод. Это вовсе не случайные противоречия и не результат обычного лицемерия – это *двоемыслие* в действии. Потому что, только примиряя противоречия, можно удерживать власть бесконечно. Никаким другим способом не разорвать извечный цикл. Если стоит задача навсегда избежать равенства людей, если Высшие, как мы их назвали, хотят удерживать свое место перманент-

но, то основным душевным состоянием должно стать управляемое безумие.

Но есть один вопрос, которого мы почти не касались до настоящего момента. А именно: зачем избегать равенства людей? Предположим, что механика процесса описана верно, но что стоит за этими масштабными, тщательно продуманными усилиями пресечь историю в конкретной временной точке?

Здесь мы подходим к главному секрету. Как мы уже поняли, таинственная сила Партии – прежде всего Внутренней – обусловлена *двоемыслием*. Но еще глубже кроется первопричина, никогда не подвергаемый сомнению инстинкт, который первым делом привел к захвату власти, а затем породил *двоемыслие*, Мыслеполицию, постоянную войну и весь прочий необходимый инструментарий. Первопричина эта в действительности состоит…

Уинстон обратил внимание на тишину, как на новый звук. Ему показалось, что Джулия уже какое-то время совсем не шевелится. Она лежала

на боку, голая выше пояса, подложив руку под голову. Темный локон вился поверх ее глаз. Грудь вздымалась медленно и размеренно.

— Джулия?

Нет ответа.

— Джулия, ты не спишь?

Нет ответа. Она спала. Он закрыл книгу, осторожно положил на пол, улегся и накрыл себя и девушку одеялом.

Он подумал, что так и не узнал главнейшего секрета. Он понимал *как*; не понимал только *зачем*. Первая глава, как и третья, по сути, не сообщила ему ничего такого, чего бы он не знал, она лишь систематизировала его знания. Но это чтение утвердило его в мысли, что он не безумец. Находиться в меньшинстве, хотя бы даже совсем одному, не означает безумия. Есть правда и есть неправда. Если ты держишься правды, пусть даже против всего мира, ты не безумен. Желтый луч заходящего солнца искоса лег от окна на подушку. Уинстон закрыл глаза. Солнце на лице и прикосновение гладкого женского тела давали ему сильное и дремотное чувство надежности. Он в безопасности, все в порядке. Он погрузился в сон, бормоча: «Здравомыслие — это не статистика», с чувством, что в этих словах кроется

глубокая мудрость.

X

Он проснулся с ощущением, что проспал много времени, но старинные часы показывали только двадцать тридцать. Уинстон еще подремал; а затем со двора раздалось знакомое грудное пение:

Давно уж нет мечтаний, сердцу милых.
Они прошли, как первый день весны,
Но позабыть я и теперь не в силах
Тем голосом навеянные сны!

Сентиментальная песенка, похоже, не вышла из моды. Ее все еще повсюду напевали. Она пережила «Песню Ненависти». Джулия проснулась от пения, сладко потянулась и встала с кровати.

— Я голодная, — сказала она. — Давай сварим еще кофе. Черт! Примус прогорел, и вода остыла. — Она взяла и встряхнула примус. — Керосин кончился.

— Полагаю, мы можем взять немного у старины Чаррингтона.

— Так странно — я была уверена, что примус полный, — протянула она и добавила: — Я, навер-

ное, оденусь. Кажется, похолодало.

Уинстон тоже встал и оделся. Голос за окном неутомимо выводил:

Пусть говорят мне: время все излечит.
Пусть говорят: страдания забудь.
Но музыка давно забытой речи
Мне и сегодня разрывает грудь!

Застегнув ремень комбинезона, он подошел к окну. Солнце, должно быть, зашло за дома; оно уже не заливало двор. Плиты были мокрыми, словно их только что мыли, и у него возникло чувство, что и небо тоже вымыли — так свежо и ясно голубело оно между дымоходами. Женщина во дворе все прохаживалась туда-сюда, закупоривая и раскупоривая себе рот, запевая и замолкая, развешивая пеленки все больше и больше. Он подумал, стирала ли она для заработка или просто обстирывала двадцать-тридцать внуков. К нему подошла Джулия; они вместе смотрели, словно зачарованные, на коренастую фигуру во дворе. Вот она снова встала в привычную позу, протянув толстые руки к веревке и выпятив мощный круп, и Уинстон впервые подумал, что она красива. Ему до этого никогда не приходило в голову, что тело женщины пятидесяти лет, которое чудовищно

раздалось от многих родов, а потом загрубело, затвердело от работы и сделалось плотным, как перезрелая репа, может быть красивым. Но оно было красиво — и Уинстон подумал: а что в этом такого? Мощное оплывшее тело, с шершавой красной кожей, точно гранитная глыба, напоминало девичью плоть не больше, чем ягода шиповника — розу. Но разве плод должен цениться меньше, чем цветок?

— Она красивая, — пробормотал он.

— У нее бедра метр шириной, — сказала Джулия, — запросто.

— Вот такая красота, — отозвался Уинстон.

Он легко обхватывал точеную талию Джулии. Они прижались друг к другу бедром к бедру. Их тела никогда не породят ребенка. Им никогда не стать родителями. Только изреченным словом, от разума к разуму, смогут они передать свой секрет. Женщина во дворе не отличалась умом, у нее были только крепкие руки, горячее сердце и плодоносное чрево. Он подумал, скольких детей она родила. Может, полтора десятка. Расцвет ее, как у дикой розы, был недолог — какой-нибудь год, — и вот она уже набухла, как завязь, отвердела, покраснела, загрубела, и жизнь ее превратилась в стирку, уборку, штопку, готовку, чистку, глажку,

починку, уборку, стирку — сперва за детьми, потом за внуками, тридцать лет без роздыху. И после этого она еще поет. Она внушала ему мистическое благоговение, которое каким-то образом накладывалось на ясное, безоблачное небо, простиравшееся за дымоходами в бесконечную даль. Странно было думать, что небо одно на всех — и в Евразии, и в Остазии, и здесь. Да и люди под небом довольно похожи — повсюду во всем мире есть сотни тысяч миллионов таких же людей, не ведающих друг о друге, разделенных стенами лжи и ненависти, но при этом почти одинаковых — люди, которых никогда не учили думать, но они копят в своих сердцах, чреслах и мышцах силу, что однажды перевернет мир. Если есть надежда, то она в пролах! Даже не дочитав *книгу*, Уинстон понял, что в этом и должно состоять последнее послание Голдштейна. Будущее за пролами. Но можно ли быть уверенным, что, когда придет их время перестроить мир, он не окажется таким же чужеродным для него, Уинстона Смита, как и мир Партии? Да, можно, потому что это будет как минимум мир здравомыслия. Где есть равенство, там и здравомыслие. Рано или поздно это случится — сила перейдет в сознательность. Пролы бессмертны — в этом нельзя усомниться, глядя

на молодецкую фигуру во дворе. В конце концов, настанет их пробуждение. А пока этого не случилось — пусть ждать еще тысячу лет, — они будут жить наперекор всему, точно птицы, передавая от тела к телу жизненную силу, которой Партия лишена и которую не может уничтожить.

— Ты помнишь, — спросил он, — как нам пел дрозд в наш первый день на опушке?

— Он пел не нам, — ответила Джулия. — Он пел самому себе. Даже не так. Он просто пел.

Поют птицы, поют пролы, а Партия не поет. Во всем мире — в Лондоне и Нью-Йорке, в Африке и Бразилии, в таинственных, запретных землях спорных территорий, на улицах Парижа и Берлина, в деревнях на бескрайних равнинах России, на базарах Китая и Японии — повсюду стоит такая вот коренастая, несокрушимая женщина, чудовищно расплывшаяся от родов и вековечного труда, и вопреки всему поет. Из таких могучих чресел должна однажды выйти раса сознательных существ. Ты — мертвец; будущее — за ними. Но ты можешь к нему причаститься, если сохранишь живым свой разум, как они сохраняют тело, и передашь дальше тайную доктрину, что дважды два — четыре.

— Мы мертвы, — сказал он.

— Мы мертвы, — покорно отозвалась Джулия.

— Вы мертвы, — раздался железный голос у них за спиной.

Они отпрянули друг от друга. Внутренности Уинстона словно превратились в лед. Он увидел, как дико расширились глаза Джулии. Лицо ее стало молочно-желтым. На скулах резко обозначились румяна, как нечто отдельное от кожи.

— Вы мертвы, — повторил железный голос.

— Это за картиной, — выдохнула Джулия.

— Это за картиной, — произнес голос. — Ни с места. Не двигаться, пока не прикажут.

Началось, наконец, началось! Они ничего не могли поделать — только стояли, уставившись в глаза друг другу. Спасаться бегством, выбраться из дома, пока не слишком поздно, — такая мысль не пришла им в голову. Немыслимо ослушаться железного голоса из стены. Что-то щелкнуло, как будто отодвинули щеколду, и звякнуло разбитое стекло. Картина упала на пол, открыв телеэкран.

— Теперь они нас видят, — сказала Джулия.

— Теперь мы вас видим, — подтвердил голос. — Встать в центре комнаты. Спиной к спине. Руки за голову. Не прикасаться друг к другу.

Они не прикасались, но ему показалось, что он чувствует, как дрожит Джулия. Или, возможно,

это он сам дрожал. Он мог стиснуть стучавшие зубы, но колени его не слушались. Снизу в доме и во дворе раздался топот сапог. Казалось, там полно людей. Что-то тащили по плитам. Пение женщины оборвалось. Кто-то пнул корыто, и оно, грохоча, покатилось по двору, затем поднялся галдеж, перешедший в стон боли.

— Дом окружен, — сказал Уинстон.

— Дом окружен, — эхом отозвался голос.

Он услышал, как Джулия с щелчком стиснула зубы.

— Похоже, мы можем попрощаться, — произнесла она.

— Похоже, вы можете попрощаться, — сказал голос.

А затем вмешался другой голос, тонкий и культурный, совсем непохожий на первый — Уинстон как будто уже слышал его прежде:

— Кстати, пока мы не закрыли тему: *Вот зажгу я пару свеч — ты в постельку можешь лечь; вот возьму я острый меч — и головка твоя с плеч.*

Что-то с хрустом рухнуло на кровать за спиной Уинстона. В окно втолкнули лестницу, выбив раму. Кто-то лез по ней снизу. А по лестнице в доме затопали сапоги. Комнату заполнили крепкие мужчины в черной форме, в кованых сапогах и с

дубинками наготове.

Уинстон больше не дрожал. Даже глаза почти не двигались. Теперь важно одно — не двигаться, не двигаться и не давать им повода бить тебя! Перед ним встал, поигрывая дубинкой, человек с литой челюстью боксера и щелью вместо рта. Глаза их встретились. Ощущение наготы, когда руки за головой, а лицо и тело открыты, стало почти невыносимым. Человек с дубинкой облизнул белым кончиком языка то место, где полагалось быть губам, и прошел дальше. Снова что-то разбилось. Кто-то взял со стола пресс-папье и вдребезги разбил его о каминную полку.

По половику покатился кусочек коралла — крошечная розовая веточка, словно сахарная розочка с торта. Какой маленький, подумал Уинстон, какой же он маленький! Сзади раздался глухой удар и судорожный всхлип, кто-то сильно пнул Уинстона в лодыжку, и он чуть не упал. Один из вошедших ударил Джулию в солнечное сплетение, сложив ее, как карманный метр. Она корчилась на полу, ловя ртом воздух. Уинстон не смел повернуть голову ни на миллиметр, но пару раз уловил краем зрения ее мертвенно-бледное лицо с разинутым ртом. Помимо ужаса он словно ощутил ее боль, чудовищную боль и еще более

мучительную жажду воздуха. Он знал это ощущение — не просто боль, но кошмарную агонию, которая охватит тебя, как только пройдет удушье. Потом двое подхватили Джулию под колени и плечи и вынесли из комнаты, точно мешок. Промелькнуло ее запрокинутое лицо — желтое, искаженное, с закрытыми глазами и следами румян на щеках. Больше Уинстон ее не видел.

Он стоял ни жив, ни мертв. Его еще никто не бил. Разум начали заполнять беспорядочные мысли, не вызывавшие у него ни малейшего интереса. Его волновало, что стало с мистером Чаррингтоном. Что сделали с женщиной во дворе. Он отметил, что ему очень хочется отлить, и слегка удивился, потому что отливал часа два-три назад. Часы на камине показывали девять, то есть двадцать один час. Но было до странного светло. Разве в августе уже не темно в двадцать один? А вдруг они с Джулией все же ошиблись и проспали двенадцать часов, проснувшись не в двадцать тридцать, как они подумали, а в восемь тридцать утра? Развивать эту мысль он не стал. Это уже не имело значения.

Опять послышались шаги на лестнице, теперь более легкие. В комнату вошел мистер Чаррингтон. Люди в черной форме вдруг подтянулись.

Что-то изменилось во внешности мистера Чаррингтона. Он взглянул на разбитое пресс-папье.

— Подберите осколки, — резко приказал он.

Один из мужчин послушно нагнулся. Уинстон отметил, что интонации кокни в речи Чаррингтона пропали, и вдруг понял, чей голос читал стишки с телеэкрана. Мистер Чаррингтон носил все ту же старую бархатную куртку, но волосы его, которые раньше казались почти белыми, стали черными. И очков на нем не было. Он бросил цепкий взгляд на Уинстона как бы для порядка и больше не обращал на него внимания. Внешне он почти не изменился, но это был другой человек. Он больше не сутулился и словно стал крупнее. Лицо осталось почти прежним и все же полностью преобразилось. Черные брови уже не лохматились, морщины пропали, все черты как-то сместились; даже нос казался короче. Настороженное и бесстрастное лицо человека лет тридцати пяти. Уинстон вдруг понял, что впервые в жизни с полной уверенностью может сказать, что видит перед собой сотрудника Мыслеполиции.

Часть третья

I

Он не знал, где находится. Вероятно, в Министерстве любви, но можно было только гадать. Уинстон сидел в камере без окон, с высоким потолком и белыми стенами из блестящего кафеля. Скрытые лампы заливали камеру холодным светом, и слышалось тихое ровное гудение, которое он отнес на счет вентиляции. Вдоль стен тянулась скамья, точнее сказать, уступ, на который можно было примоститься. Его перемежала дверь и толчок без стульчака у стены напротив. На всех четырех стенах установлены телеэкраны.

Живот ныл тупой болью. Боль не проходила с тех пор, как его закинули в закрытый фургон и повезли. А еще его мучил голод, какой-то грызущий нечестивый голод. Возможно, он не ел уже сутки, а то и больше. Он так и не знал и вряд ли теперь узнает, арестовали его утром или вечером. С тех пор его не кормили.

Он сидел на уступе, скрестив руки на колене и стараясь не шевелиться. Он уже усвоил, как надо сидеть. Если сделать неожиданное движение,

на тебя заорет телеэкран. Но ему все сильнее хотелось есть. Больше всего хотелось хлеба. Ему почудилось, что в карманах комбинезона могло заваляться несколько крошек. Или даже приличная корка — просто ему что-то натирало ногу сквозь ткань. В итоге желание выяснить это пересилило страх, и он сунул руку в карман.

— Смит! — рявкнул телеэкран. — 6079 Смит У.! Руки из карманов в камере!

Он снова сел неподвижно, скрестив руки на колене. Прежде чем доставить его сюда, Уинстона держали в другом месте — не то в обычной тюрьме, не то в камере предварительного заключения у патрульных. Сколько он пробыл там, неизвестно; сколько-то часов; трудно определять время без часов и окон. Шумная и страшно вонявшая камера была почти такой же, только дико грязной и битком набитой людьми. В большинстве своем — уголовниками, но было и несколько политических. Он тихо сидел, привалившись к стене, зажатый грязными телами, и ничего не замечал от страха и боли в животе, но все же ему бросалась в глаза разница в поведении партийцев и остальных. Партийцы были запуганы и молчаливы, а уголовники, похоже, на все и всех плевали. Они громко ругали охрану, лезли в

драку, когда у них отбирали пожитки, царапали похабщину на полу, извлекали из таинственных складок в одежде еду и жевали ее, а когда телеэкран пытался навести порядок, орали и на него. С другой стороны, кажется, кое-кто из них был на короткой ноге с охраной, знал их прозвища и клянчил сигареты через глазок. Охрана тоже обходилась с уголовниками по-свойски, даже когда приходилось их прижимать. Было много разговоров о трудовых лагерях, куда рассчитывали попасть большинство сокамерников. В лагере, как понял Уинстон, «все ровно», если имеешь связи и знаешь ходы-выходы. Там подкуп, блат и всяческое вымогательство, гомосячество, проституция и даже нелегальный самогон из картошки. На должностях сплошь уголовники, в основном гангстеры и убийцы, составляющие местную аристократию. Всю грязную работу дают политическим.

Через камеру то и дело проходили всевозможные заключенные: наркоторговцы, воры, бандиты, спекулянты, пьяницы, проститутки. Иногда пьяницы так бузили, что приходилось усмирять их общими усилиями. Четверо охранников втащили растерзанную бабищу, лет под шестьдесят, оравшую и дрыгавшую ногами. Баба

была с огромными грудями и густыми седыми космами, растрепавшимися в потасовке. Охранники стащили с нее ботинки, которыми она лягалась, и швырнули ее на Уинстона, чуть не переломав ему ноги. Она села и крикнула им вслед: «Скоты паскудные»! Затем заметила, что сидит на чем-то неровном, и сползла с ног Уинстона на скамью.

— Звиняй, милок, — сказала она. — Я не сама на тебя вскочила, эти мрази бросили. Они разве можут с ледей обращаться? — Она замолчала, похлопала себя по груди и рыгнула. — Звиняй, я еще сама не своя.

Она нагнулась и обильно проблевалась на пол.

— Так-то лучче, — сказала она, откинувшись к стене с закрытыми глазами. — Не надо в нутре держать, я те грю. Выпускай, пока не закисло в кишках, ага.

Она оживилась, повернулась к Уинстону и, похоже, сразу к нему прониклась. Толстой ручищей она обхватила его за плечи и притянула к себе, дыша в лицо пивом и рвотой.

— Тя как звать, милок? — спросила она.

— Смит, — ответил Уинстон.

— Смит? — удивилась она. — Смотри-ка. И я Смит. А шо, — произнесла она с чувством, — мо-

жет, я твоя мамка!

Она могла бы ей быть, подумал Уинстон. По годам и сложению вполне подходила, а двадцать лет на каторге, надо думать, отражаются на внешности.

Никто больше не заговаривал с ним. Даже странно, до чего уголовники сторонились партийцев, «политу», как они их называли с надменным презрением. А партийцы, похоже, боялись с кем-либо заговаривать, и больше всего между собой. Только раз, когда двух партийных женщин притиснули друг к дружке на скамье, он расслышал в общем гомоне, как одна быстро прошептала другой что-то про «сто первую комнату», озадачив его.

В одиночной камере он провел уже часа два или три. Ноющая боль в животе не отпускала, периодически то слабея, то усиливаясь, и его мысли растекались и собирались соответственно. Когда боль усиливалась, он думал только о ней и о еде. Когда же боль слабела, его охватывала паника. Случалось, он с такой ясностью представлял себе все ожидаемые пытки, что сердце выпрыгивало из груди и перехватывало дыхание. Он ощущал, как его бьют дубинкой по локтям, а подкованными сапогами — по щиколоткам, видел себя

ползающим по полу и молящим о пощаде, выплевывая зубы. Он почти не думал о Джулии. Не мог сосредоточиться на ней. Он любил ее и не собирался предавать, но это было сухим фактом, азбучной истиной. Он не ощущал любви к ней прямо сейчас и почти не думал, каково ей в данную минуту. Чаще возникали мысли об О'Брайене, давая зыбкую надежду. О'Брайен мог узнать о его аресте. Он говорил, что Братство никогда не пытается спасти своих. Но он говорил и о лезвиях; они переправят ему, если смогут. У него будет, наверное, секунд пять, прежде чем охранники ворвутся в камеру. Лезвие вопьется в него с обжигающим холодом, прорезав до кости сжимающие его пальцы. Все недуги вернулись в его измученное тело, и оно отзывалось лихорадочной дрожью на малейшую боль. Он не был уверен, что воспользуется лезвием, даже если представится случай. Природный закон велел растягивать существование секунду за секундой, выгадывая лишние десять минут, даже если ты уверен, что в конце тебя ждут пытки.

Иногда он пытался сосчитать число кафельных плиток в стенах камеры. Казалось бы, ничего сложного, но всякий раз он сбивался со счета. Чаще он думал о том, где находится и который

теперь час. В один момент он был совершенно уверен, что сейчас ясный день, а в другой — что кромешная тьма. Интуиция подсказывала, что здесь никогда не гасят свет. Здесь не бывает темноты — теперь он понял, почему О'Брайен так легко уловил намек в его словах. В Министерстве любви нет окон. И камера, в которой он сидел, могла быть как в самом центре здания, так и у внешней стены; она могла быть в десяти этажах под землей или в тридцати над ее поверхностью. Он мысленно перемещал себя с места на место и пытался определить по физическим ощущениям, висит ли он высоко в небе или погребен в недрах земли.

Снаружи послышался топот сапог. Стальная дверь с лязгом открылась. Проворно вошел молодой офицер в аккуратном черном мундире, блестевшем начищенной кожей, с бледным, правильным лицом, напоминавшим восковую маску. Он дал знак охране снаружи ввести заключенного. В камеру вошел, пошатываясь, поэт Эмплфорт. Дверь с грохотом закрылась.

Эмплфорт неуверенно ткнулся из стороны в сторону, словно выискивая другую дверь, чтобы выйти отсюда, а затем принялся мерять шагами камеру. Уинстона он не замечал. Его беспокой-

ный взгляд ощупывал стену в метре над головой Уинстона. Он был без обуви; из дырявых носков торчали большие грязные пальцы. Кроме того, он несколько дней не брился. Лицо, заросшее до скул щетиной, придавало ему разбойничий вид, который не вязался с его крупной нескладной фигурой и нервными движениями.

Уинстон решил выйти из анабиоза. Он должен заговорить с Эмплфортом, даже если заорет телеэкран. Возможно даже, что Эмплфорт принес ему лезвие.

— Эмплфорт, — позвал он.

Телекран не заорал. Эмплфорт остановился, чуть растерявшись. Взгляд его медленно сфокусировался на Уинстоне.

— А, Смит! — сказал он. — И вы тут!

— За что вас?

— Сказать по правде, — он неуклюже примостился на скамье напротив Уинстона, — преступление всегда одно, разве нет?

— И вы его совершили?

— Видимо, да. — Он поднес руки ко лбу и на миг сжал виски, словно пытаясь что-то вспомнить. — Такое случается, — начал он расплывчато. — Я могу припомнить один случай… возможный случай. Вне всякого сомнения, опрометчивый

поступок. Мы готовили каноническое издание стихов Киплинга. Я решился оставить в конце строки слово «молитва». Ничего не мог поделать! — добавил он почти с возмущением и поднял лицо на Уинстона. — Невозможно было изменить строку. Искал рифму для слова «битва». Вам известно, что с «битвой» рифмуются всего три слова? Несколько дней напрягал мозги. Остальные варианты не годились.

Выражение его лица поменялось. Досада ушла, и на секунду он показался почти довольным. Сквозь немытую щетину проступила интеллектуальная радость педанта, раскопавшего какой-то бесполезный факт.

— Вас никогда не посещала мысль, — сказал он, — что вся история нашей поэзии определяется бедностью английского на рифмы?

Нет, такая мысль никогда не посещала Уинстона. Учитывая обстоятельства, он не видел в ней ни смысла, ни интереса.

— Вы не знаете, который час? — спросил он.

Эмплфорт снова растерялся.

— Я как-то об этом не задумывался. Меня арестовали… пожалуй, дня два назад… или три. — Глаза его скользнули по стенам, словно еще надеясь отыскать окно. — Здесь день от ночи не отли-

чишь. Не представляю, как тут можно вычислить время.

Бессвязная беседа затянулась еще на несколько минут, а потом без видимой причины телеэкран велел им замолчать. Уинстон тихо уселся, сложив руки. Эмплфорт не помещался на узкой скамье и ерзал туда-сюда, обхватывая костлявыми руками то одно, то другое колено. Телеэкран рявкнул ему сидеть смирно. Время шло. Двадцать минут, час — трудно было сказать. Потом за дверью снова затопали сапоги. У Уинстона все сжалось. Скоро, очень скоро, может, через пять минут, может, прямо сейчас, эти сапоги придут за ним.

Дверь открылась. В камеру вошел молодой офицер с холодным лицом. Легким движением руки он указал на Эмплфорта.

— В сто первую, — приказал он.

Эмплфорт неуклюже вышел между охранниками со смутной тревогой и недоумением.

Прошло как будто еще много времени. Боль в животе вернулась с новой силой. В уме у Уинстона кружились все те же мысли, словно шар, проходящий через одни и те же пазы. Мыслей было всего шесть: боль в животе, кусок хлеба, кровь и крики, О'Брайен, Джулия, лезвие. Живот вновь скрутило — приближались тяжелые са-

поги. Открылась дверь, и волна воздуха внесла запах холодного пота. В камеру вошел Парсонс. В шортах цвета хаки и майке.

На этот раз Уинстон остолбенел.

– *Ты* здесь! — воскликнул он.

Парсонс смерил Уинстона горестным взглядом, без тени интереса или удивления. Он принялся нервно ходить взад-вперед, видимо, не в силах успокоиться. Всякий раз, как он распрямлял свои пухлые колени, становилось заметно, как сильно они дрожат. Широко раскрытые глаза его уставились куда-то вдаль, словно он отчаянно всматривался во что-то сквозь стену.

— За что тебя взяли? — спросил Уинстон.

— Мыслефелония! — ответил Парсонс, чуть не плача.

В голосе его слышалось полное признание вины и какой-то изумленный ужас, оттого что такое слово могло иметь у нему отношение. Он встал напротив Уинстона и затараторил сбивчиво и жалостливо:

— Как думаешь, меня ведь не расстреляют, а, старик? Они же не расстреливают, если ты ничего такого не сделал — только подумал. Ведь мыслям не прикажешь? Я знаю, будет объективное разбирательство. О, в этом я за них ручаюсь!

Они же знают про меня, знают же? *Ты-то* знаешь, какой я парень. Неплохой по-своему. Ума, конечно, немного, но я старательный. Я, как мог, для Партии трудился, разве нет? Отделаюсь пятью годами, как думаешь? Или пусть десятью? Парень вроде меня и в лагере найдет, чем пользу принести. Меня ж не расстреляют, если я разок слетел с катушек?

— Ты виноват? — спросил Уинстон.

— Конечно, виноват! — вскричал Парсонс, подобострастно взглянув на телеэкран. — Ты же не думаешь, что Партия арестует невиновного, а? — Его лягушачье лицо чуть успокоилось, вплоть до постного самодовольства. — Мыслефелония — кошмарная штука, старина, — сказал он наставительно. — Коварная. Она может овладеть тобой, а ты и знать не будешь. Знаешь, как мной овладела? Во сне! Да, это факт. Вот он я — работал вовсю, вносил свою лепту и думать не думал, что у меня какая-то дрянь в башке. А потом стал во сне разговаривать. Знаешь, что услышали, я говорил? — Он понизил голос, как человек, вынужденный признаться в непристойной болезни. — «Долой Большого Брата»! Да, я так сказал! И, похоже, не раз. Между нами, старик, я рад, что меня взяли, пока я ничего не натворил.

Знаешь, что я им скажу, когда предстану перед трибуналом? «Спасибо вам, я им скажу, спасибо, что спасли меня, пока не стало поздно».

— Кто на тебя донес? — спросил Уинстон.

— Дочурка моя, — сказал Парсонс со скорбной гордостью. — Подслушала через замочную скважину. Услышала, что болтаю, и шасть к патрульным на другой день. Умно для семилетней пигалицы, а? Я на нее зла не держу. По правде, горжусь. Это по-любому говорит, что я воспитал ее в правильном духе.

Он снова нервно прошелся по камере несколько раз, бросив томительный взгляд на толчок. А затем вдруг спустил шорты.

— Извини, старина, — сказал он. — Не могу терпеть. Это от волнения.

Он плюхнулся пухлыми ягодицами на толчок. Уинстон закрыл лицо руками.

— Смит! — гаркнул телеэкран. — 6079 Смит У.! Открыть лицо. В камере лицо не закрывать.

Уинстон открыл лицо. Парсонс облегчался громко и обильно. Смыв оказался неисправен, и в камере дико воняло не один час.

Парсонса увели. Новые заключенные продолжали появляться и загадочно исчезать. Одну женщину направили в «сто первую комнату», и

Уинстон заметил, как она при этом съежилась и изменилась в лице. Прошло немало времени, так что если его доставили утром, настал вечер; или, если его доставили вечером, настала ночь. В камере осталось шесть заключенных обоего пола. Все сидели очень смирно. Напротив Уинстона съежился человек с длинными зубами и совсем без подбородка, напоминавший крупного безобидного грызуна. Его толстые крапчатые щеки свисали брылями, как у хомяка, набравшего запасы. Светло-серые глаза пугливо обшаривали лица и тут же отворачивались, встретив чей-нибудь взгляд.

Открылась дверь, и ввели очередного заключенного, при виде которого Уинстон похолодел. Заурядный гаденький человечек, возможно, инженер или какой-нибудь техник. Пугало его изможденное лицо. Это был череп, обтянутый кожей. Из-за худобы рот и глаза выглядели непомерно большими, а в глазах застыла убийственная, неукротимая ненависть к кому-то или чему-то.

Вошедший сел на скамью чуть в стороне от Уинстона. Уинстон больше не смотрел на него, но измученное лицо-череп так и стояло перед глазами. Внезапно он понял, в чем дело. Этот человек

умирал от голода. Казалось, все в камере тоже подумали об этом. По всей скамье обозначилось едва заметное шевеление. Человек-хомяк то и дело бросал взгляд на человека-черепа и тут же виновато отводил глаза, и снова смотрел, влекомый неотвратимой силой. Затем начал ерзать. Наконец, встал, подошел вперевалку к скамье напротив, сунул руку в карман комбинезона и смущенно протянул замызганный кусок хлеба человеку-черепу.

Яростный оглушительный рык вырвался из теле-экрана. Человек-хомяк отскочил назад. Человек-череп быстро убрал руки за спину, как бы показывая всему миру, что не принял дар.

— Бамстед! — взревел голос. — 2713 Бамстед Джей! Брось на пол этот хлеб!

Человек-хомяк бросил хлеб на пол.

— Стой где стоишь, — приказал голос. — Лицом к двери. Не двигаться.

Человек-хомяк подчинился. Мешковатые брыли мелко дрожали. Дверь с лязгом открылась. Вошел молодой офицер и впустил низкорослого коренастого охранника с огромными ручищами и плечами. Он встал напротив человека-хомяка и по знаку офицера размахнулся и врезал тому в челюсть, вложив в удар весь свой вес. Несчаст-

ного словно сдуло. Он пролетел через всю камеру и грохнулся у самого толчка. Секунду он лежал оглушенный, а изо рта и носа текла темная кровь. Он издал, казалось, бессознательный и едва слышный полустон-полувсхлип. Затем перевалился на живот и неловко встал на четвереньки. Изо рта со слюной и кровью выпали две половинки зубного протеза.

Заключенные сидели неподвижно, скрестив руки на коленях. Человек-хомяк вернулся на свое место. Одна щека у него потемнела. Рот вспучился вишневой массой с черной дырой посередине. Время от времени на комбинезон капала кровь. Серые глаза все так же перескакивали между лицами с выражением еще большей вины, словно человек пытался понять, сильно ли другие презирают его за испытанное унижение.

Открылась дверь. Легким жестом офицер указал на человека-черепа.

— В сто первую, — указал он.

Рядом с Уинстоном раздался шумный вздох и возня. Заключенный упал на колени, умоляюще сложив ладони.

— Товарищ! Офицер! — воскликнул он. — Не надо меня туда! Разве я вам уже не все рассказал? Что еще вы хотите знать? Я во всем готов при-

знаться, во всем! Только скажите в чем, и я сразу признаюсь. Напишите сами, и я подпишу что угодно! Только не в сто первую!

— В сто первую, — повторил офицер.

И без того бледное лицо человека приняло такой оттенок, что Уинстон с трудом поверил своим глазам. Оно отчетливо позеленело.

— Что угодно со мной делайте! — завопил он. — Вы меня неделями голодом морите. Кончайте уже и дайте мне умереть. Застрелите меня. Повесьте. Дайте двадцать пять лет. Хотите, я еще кого выдам? Только укажите кого, и я скажу все, что хотите. Мне все равно, кто это и что вы с ними сделаете. У меня жена и трое детей. Старшему нет шести. Можете всех забрать и перерезать глотки на моих глазах, и я буду молча смотреть. Только не в сто первую!

— В сто первую, — произнес офицер.

Безумным взглядом человек-череп оглядел других заключенных, словно выискивая жертву вместо себя. Его глаза остановились на разбитом лице без подбородка. Он вскинул тощую руку.

— Вот кто вам нужен, не я! — закричал он. — Вы не слышали, что он говорил, когда ему вмазали. Позвольте, я вам все перескажу. Это *он* против Партии, а не я. — Приблизились охранники, и

голос взлетел до визга. — Вы не слышали его! — твердил он. — Телеэкран не сработал. Это *он* вам нужен. Его берите, не меня!

Два дюжих охранника нагнулись, чтобы взять его под руки. В тот же миг он бросился на пол и вцепился в железные ножки скамьи. Бессловесный вой его уже походил на животный. Охранники пытались оторвать его от скамьи, но он цеплялся с поразительной силой. Секунд двадцать они с ним возились. Другие заключенные сидели смирно, сложив руки на коленях и глядя перед собой. Вой стих; сил у человека оставалось только на то, чтобы держаться. Затем раздался крик другого рода. Ударом сапога охранник сломал ему пальцы. Его подняли на ноги.

— В сто первую, — сказал офицер.

Человека вывели, он поплелся, свесив голову и прижимая к себе изувеченную руку, — боевой дух покинул его.

Прошло много времени. Если человека-черепа увели ночью, теперь было утро; если увели утром, был вечер. Уинстон сидел в одиночестве уже несколько часов. Узкая скамья причиняла боль, так что он периодически вставал и прохаживался по камере. Телеэкран не возражал. Хлеб все так же лежал на месте, где его бросил

человек-хомяк. Сначала было трудно не смотреть на него, но потом голод пересилила жажда. Во рту было липко и противно. Гудение вентиляции и ровный белый свет вызывали дурноту, ощущение пустоты в голове. Он вставал, когда боль в костях становилась невыносимой, но всякий раз почти сразу садился, чтобы не упасть от головокружения. Когда же удавалось преодолеть физическую слабость, возвращался ужас. Время от времени он с угасающей надеждой думал об О'Брайене и лезвии. Лезвие, наверно, передадут в еде, если его вообще будут кормить. Более смутно думалось о Джулии. Где-то сейчас она страдает. Возможно, ей еще хуже, чем ему. Быть может, в этот самый миг она кричит от боли. «Если бы я мог спасти Джулию, удвоив собственные страдания, решился бы я на это? Да, решился бы». Но это было чисто умственным решением, которое он принял просто потому, что считал правильным. Он не мог его прочувствовать. Здесь вообще невозможно чувствовать ничего, кроме боли и страха перед ней. И потом, можно ли желать при ощущении боли ее усиления, ради чего бы то ни было? На этот вопрос он пока не мог ответить.

Снова послышался топот сапог. Открылась дверь. Вошел О'Брайен.

Уинстон вскочил на ноги. От изумления он лишился всякой предосторожности. Впервые за многие годы он забыл о телеэкране.

— И вас они взяли! — воскликнул он.

— Они меня взяли давным-давно, — сказал О'Брайен чуть иронично, словно бы сожалея.

Он посторонился. В камеру вошел охранник с мощным торсом и длинной черной дубинкой.

— Вам это известно, Уинстон, — сказал О'Брайен. — Не обманывайте себя. Давно известно — всегда было известно.

Да, теперь он это осознал. Но думать было некогда. Все, что он видел, это дубинку в руках охранника. Она могла ударить его куда угодно: по макушке, по краю уха, по плечу, по локтю…

По локтю! Он рухнул на колени, почти парализованный, сжимая разбитый локоть другой рукой. Все взорвалось желтым светом. Непостижимо, непостижимо, чтобы один удар принес такую боль! Свет прояснился, и он смог увидеть двоих людей, смотревших на него сверху. Охранник засмеялся, глядя, как он корчится. Так или иначе один вопрос он себе уяснил. Никогда, ни за что на свете ты не можешь желать усиления боли. От боли можно хотеть только одного — чтобы она кончилась. В мире нет ничего ужаснее физи-

ческой боли. Перед ее лицом нет героев, никаких героев, думал он снова и снова, корчась на полу и бессмысленно сжимая изувеченную левую руку.

II

Он лежал на чем-то очень напоминавшем койку, только высокую. Его привязали так туго, что он не мог шевелиться. Яркий свет бил ему в лицо. Рядом стоял О'Брайен, пристально глядя на него. С другой стороны стоял человек в белом халате, в руках которого Уинстон увидел шприц для подкожных инъекций.

Даже открыв глаза, Уинстон не сразу сумел воспринять окружающее. Создавалось впечатление, что он вплыл в эту комнату из какого-то совсем другого мира, вроде морского, глубоководного. Сколько он пробыл там, на глубине, он не знал. С тех пор как его арестовали, он не видел ни темноты, ни дневного света. Да и память его зияла провалами. Иногда сознание, смутное подобие сновидческого, исчезало и возвращалось после какого-то интервала. Но сколько занимали эти интервалы — дни, недели или всего лишь секунды, — он не представлял.

С того первого удара по локтю начался кошмар. Позже Уинстон понял, что все случившееся было

лишь предварительным, рутинным допросом, которому подвергали большинство заключенных. Имелся длинный список преступлений — шпионаж, саботаж и прочее подобное, — вменявшихся всем в обязательном порядке. Признание было формальностью в отличие от издевательств. Сколько раз его били, сколько продолжались эти избиения, он не помнил. Всегда его избивали пять-шесть человек в черной форме. Избивали кулаками, избивали дубинками, избивали стальными прутьями, избивали сапогами. Бывало, что он катался по полу, потеряв всякий стыд, как животное. Он извивался так и сяк, бесконечно и безнадежно пытаясь увернуться от ударов и только больше их провоцируя: по ребрам, по животу, по локтям, по щиколоткам, по паху, по яйцам, по копчику. Бывало, что это длилось и длилось, и верхом жестокости и непростительной подлости ему казалось не то, что его избивают, а что он не может заставить себя отключиться. Бывало, мужество оставляло его, и Уинстон начинал просить пощады еще до начала избиения, и было достаточно занесенного кулака, чтобы он затараторил признания в реальных и выдуманных преступлениях. Бывало и так, что он решал ни в чем не признаваться, и каждое слово из него

вырывали со стонами боли, а бывало, что он малодушно торговался с собой: «Я признаюсь, но не сразу. Я должен держаться, пока могу терпеть боль. Еще три удара, еще два, а потом скажу им, что хотят».

Иногда его, избитого так, что он едва мог стоять на ногах, швыряли на каменный пол камеры, как мешок картошки, и оставляли на несколько часов — отдышаться перед следующим избиением. Впрочем, случались передышки и подольше, но их он осознавал смутно, потому что спал или был в ступоре. Он помнил камеру с дощатой койкой вроде полки, закрепленной на стене, оловянной раковиной, горячим супом, хлебом, иногда кофе. Помнил угрюмого парикмахера, приходившего брить и стричь его, и деловитых неприятных людей в белых халатах, которые считали его пульс, проверяли рефлексы, поднимали веки, ощупывали грубыми пальцами на предмет сломанных ребер и кололи в руку снотворное.

Бить стали реже, все больше угрожая побоями и намекая на возвращение этого ужаса в любую секунду, если он не даст удовлетворительных ответов. Теперь его допрашивали не разбойники в черной форме, а партийные интеллектуалы. Упитанные проворные человечки, сверкавшие

очками, обрабатывали его попеременно — как долго, он не был уверен, но казалось, что по десять-двенадцать часов кряду. На этих допросах ему всегда старались причинять легкую боль, хотя боль не была главным средством воздействия. Его били по лицу, выкручивали уши, таскали за волосы, заставляли стоять на одной ноге и не пускали в туалет, направляли резкий свет в глаза, так что катились слезы; но целью всего этого было унизить его, лишив способности спорить и возражать. Их главным оружием стали безжалостные допросы, которые тянулись бесконечно, час за часом, когда они ловили его на слове, загоняли в ловушки, переиначивали сказанное, доказывали на каждом шагу, что он лжет и противоречит себе, и в итоге он начинал плакать от стыда и нервного истощения. Случалось, Уинстон рыдал по пять-шесть раз за допрос. Большую часть времени ему выкрикивали оскорбления и всякий раз, как он начинал колебаться, грозились снова отправить к охранникам. Но иногда они меняли тактику, обращались к нему «товарищ», взывали к нему во имя Ангсоца и Большого Брата и печально недоумевали: неужели он до сих пор не раскаялся перед Партией за все то зло, что причинил ей. После многочасовых допросов

нервы его сдавали, и даже такая простая уловка доводила до слез и соплей. В конечном счете, скорбные голоса ломали его быстрее, чем кованые сапоги и зуботычины охранников. Он стал просто ртом, выбалтывавшим все, что требуется, и рукой, подписывавшей все, что скажут. Его единственной заботой стало стремление вовремя догадаться, чего от него хотят, и поскорее сознаться, чтобы прекратить эти издевательства. Он уже признался в убийстве видных членов Партии, в распространении подрывной литературы, в присвоении общественных денег, в выдаче военных секретов и в ином вредительстве. Признался, что работал на разведку Остазии с 1968 года. Признался, что он верующий, поборник капитализма и сексуальный извращенец. Признался, что убил свою жену, хотя следователи должны были знать не хуже его, что она жива. Признался, что много лет подряд поддерживал связь с Голдштейном и был членом подпольной организации, в которую входили едва ли не все, кого он когда-либо знал. Так было проще — признаваться во всем и впутывать всех подряд. Тем более что это было правдой, по большому счету. Он действительно враг Партии, а в глазах Партии нет разницы между мыслью и делом.

Были воспоминания и другого рода. Они выделялись у него в сознании разрозненными сценами, окутанными чернотой.

Он находился в камере — непонятно, темной или светлой — и не видел ничего, кроме пары глаз. Где-то рядом медленно и размеренно тикал какой-то прибор. Глаза становились все больше и лучистей. Неожиданно Уинстон всплыл с места и нырнул в эти глаза, проглотившие его.

Его пристегнули к креслу под слепящим светом. Человек в белом халате считывал показания приборов. Послышался тяжелый топот сапог. Дверь с лязгом открылась. Вошел офицер с восковым лицом, за ним два охранника.

— В сто первую, — произнес офицер.

Человек в белом халате не оборачивался. На Уинстона он тоже не смотрел; он видел только приборы.

Уинстон катился по огромному коридору в километр шириной, залитому чудесным золотым светом. Он громогласно хохотал и во весь голос выкрикивал признания. Он признавался во всем, даже в том, о чем сумел умолчать под пыткой. Он излагал всю свою жизнь аудитории, и без того знавшей ее. Рядом были охранники, другие дознаватели, люди в белых халатах, О’Брайен,

Джулия, мистер Чаррингтон — все они катились по коридору и громко хохотали. В будущем было заложено нечто кошмарное, но они все каким-то образом сумели это проскочить, и кошмар уже не случится. Все в порядке, не было больше боли, он выложил последнюю подробность своей жизни, его поняли и простили.

Вздрогнув, он привстал с дощатой лежанки в смутной уверенности, что слышал голос О'Брайена. На всех допросах, хотя он никогда его не видел, у него проскальзывало чувство, что О'Брайен рядом, просто вне поля зрения. Это О'Брайен всем руководил. Это он напускал на него охранников, и он же не давал им забить его до смерти. Это он решал, когда Уинстон закричит от боли, когда получит передышку, когда ему есть, когда ему спать, когда колоть в руку наркотик. Это он задавал вопросы и предлагал ответы. Он был мучителем, он был защитником, он был инквизитором, он был другом. И один раз — Уинстон не мог вспомнить, было ли это в наркотическом сне или в обычном, а может, даже наяву — голос чуть слышно прошептал ему на ухо: «Не волнуйся, Уинстон; ты на моем попечении. Семь лет я наблюдал за тобой. Теперь настал поворотный момент. Я спасу тебя, я тебя сделаю совершенным». Он не был уверен,

что голос принадлежал О'Брайену; но именно этот голос семь лет назад сказал ему в другом сне: «Мы встретимся там, где нет темноты».

Он не помнил, как кончались допросы. Наступала чернота, а затем вокруг постепенно возникала камера или комната, в которой он находился сейчас. Он лежал почти навзничь и не мог пошевелиться. Тело его удерживалось во всех ключевых местах. Даже затылок что-то сжимало. На него сверху вниз взирал О'Брайен, хмуро и не без грусти. Лицо его в таком ракурсе казалось грубым и усталым, с мешками под глазами и вялыми складками вокруг рта. Он был старше, чем помнилось Уинстону, — должно быть, лет под пятьдесят. Рука его касалась прибора с рычагом сверху и круговым циферблатом.

— Я говорил вам, — сказал О'Брайен, — что если мы встретимся снова, то здесь.

— Да, — подтвердил Уинстон.

Без всякого предупреждения, не считая легкого движения руки О'Брайена, Уинстона затопила боль. Она вызвала ужас, поскольку он не понимал, в чем дело, но чувствовал, что ему наносят какую-то смертельную травму. Он не знал, реально ли это ощущение или оно вызывается электричеством; тело его кошмарно корчилось,

а суставы медленно разрывались. От боли лоб покрылся испариной, но хуже всего был страх, что его хребет вот-вот треснет. Он стиснул зубы и напряженно задышал носом, стараясь как можно дольше не кричать.

— Вы боитесь, — сказал О'Брайен, глядя на его лицо, — что в следующий миг у вас что-нибудь сломается. Особенно опасаетесь за ваш хребет. Вы так и представляете, как позвонки раскалываются и из них сочится спинной мозг. Вы ведь об этом думаете, Уинстон?

Уинстон не отвечал. О'Брайен вернул рычаг на место. Волна боли схлынула почти моментально.

— Это сорок, — пояснил О'Брайен. — Вы видите, что деления на этой шкале доходят до сотни. Извольте помнить в ходе нашей беседы, что в моих силах в любой момент причинить вам боль такой интенсивности, какую я сочту нужной. Если вы хоть в чем-нибудь солжете мне, попытаетесь как-то уклониться от ответа или хотя бы прикинуться менее сообразительным, чем вы есть на самом деле, вы тут же закричите от боли. Вы это понимаете?

— Да, — сказал Уинстон.

Манера О'Брайена чуть смягчилась. Он задум-

чиво поправил очки и пару раз прошелся по комнате. Когда он заговорил, голос его был мягок и терпелив. Он выглядел врачом, учителем, даже священником, стремившимся скорее убеждать, нежели наказывать.

— Я трачу на вас силы, Уинстон, — сказал он, — потому что вы того стоите. Вы и сами прекрасно знаете, что с вами такое. Вы знаете это уже долгие годы, просто не хотите признавать. Вы умственно больны. Вы страдаете расстройством памяти. Вы не в состоянии запомнить реальных событий и убеждаете себя, что помните вещи, которых никогда не было. К счастью, это лечится. Вы до сих пор не вылечились просто потому, что не хотели. Требовалось небольшое усилие воли, совершить которое вы были не готовы. Даже сейчас — ничуть не сомневаюсь — вы цепляетесь за свою болезнь, считая ее добродетелью. Вот вам такой пример. В данный момент с какой державой воюет Океания?

— Когда меня арестовали, Океания воевала с Ост-азией.

— С Остазией. Хорошо. Океания всегда воевала с Остазией, верно?

Уинстон поглубже вдохнул. Он открыл рот, собираясь заговорить, но не произнес ни слова.

Он не мог отвести глаз от шкалы прибора.

— Правду, пожалуйста, Уинстон. *Вашу* правду. Скажите мне, что, по-вашему мнению, вы помните.

— Я помню, что всего за неделю до моего ареста мы воевали вовсе не с Остазией. Мы были с ней в союзе. Война шла с Евразией. Так было четыре года. До этого…

О'Брайен остановил его движением руки.

— Другой пример, — продолжил он. — Несколько лет назад вы впали в поистине серьезное заблуждение. Вы полагали, что трое человек, одно время состоявших в Партии, которых звали Джонс, Аронсон и Рузерфорд — их казнили за измену и вредительство после самого исчерпывающего признания, — были невиновны во вмененных им преступлениях. Вы полагали, что видели документ, который безусловно доказывал ложность их признаний. Имелась некая фотография, вызвавшая у вас галлюцинацию. Вы полагали, что на самом деле держали ее в руках. Фотография была вроде этой.

В пальцах О'Брайена возникла продолговатая газетная вырезка. Около пяти секунд она была в поле зрения Уинстона. Это оказалась фотография, и он узнал ее безошибочно. ТА САМАЯ фотогра-

фия. Другой экземпляр изображения Джонса, Аронсона и Рузерфорда на партийных торжествах в Нью-Йорке, на которое он наткнулся одиннадцать лет назад и почти сразу уничтожил. Всего секунду фото было у него перед глазами и снова пропало. Но он увидел его, несомненно, увидел! Отчаянным, мучительным усилием он попытался высвободить верхнюю часть тела. Ни в какую сторону невозможно было сдвинуться больше чем на сантиметр. На миг он даже забыл про прибор со шкалой. Он только хотел снова подержать в руках эту вырезку или хотя бы мельком взглянуть на нее.

— Она существует! — воскликнул он.

— Нет, — сказал О'Брайен.

Он пересек комнату. В стене напротив находился провал памяти. О'Брайен поднял решетку. Невидимая жалкая бумажка уносилась прочь в потоке теплого воздуха, чтобы исчезнуть в пламени. О'Брайен отвернулся от стены.

— Пепел, — сказал он. — Даже пепла не распознать. Пыль. Фото не существует. Никогда не существовало.

— Фотография существовала! И существует! Существует в памяти. Я помню ее. Вы помните ее.

— Я не помню ее, — сказал О'Брайен.

Сердце Уинстона упало. Это же *двоемыслие*. Им овладело чувство мертвящей беспомощности. Если бы он был уверен во лжи О'Брайена, все это не имело бы особого значения. Но было совершенно возможно, что О'Брайен действительно забыл эту фотографию. А если так, значит, он уже забыл и свое отрицание воспоминания, забыл и само забывание. Как можно быть уверенным, что это просто фокус? Может, действительно иногда происходит такой безумный выверт в мозгах, как у него, — вот что приводило Уинстона в отчаяние.

О'Брайен смотрел на него в раздумьях. Больше, чем когда-либо, он напоминал учителя, который не жалеет сил на своенравного, но способного ребенка.

— Есть партийный лозунг, относящийся к управлению прошлым, — сказал он. — Будьте добры повторить его.

— Кто управляет прошлым, управляет будущим; кто управляет настоящим, управляет прошлым, — послушно сказал Уинстон.

— Кто управляет настоящим, управляет прошлым, — повторил за ним О'Брайен, медленно кивая с одобрением. — Считаете ли вы, Уинстон, что прошлое реально существует?

Снова Уинстоном овладело чувство беспомощ-

ности. Глаза его метнулись к шкале. Он не только не знал, какой ответ — «да» или «нет» — убережет его от боли; он даже не знал, какой ответ считает верным.

О'Брайен чуть улыбнулся.

— Вы не метафизик, Уинстон, — продолжил он. — До этого момента вы никогда не задумывались, что значит существовать. Выражу мысль точнее. Существует ли прошлое конкретным образом в пространстве? Есть ли где-то такое место, мир твердых объектов, где прошлое все еще происходит?

— Нет.

— Тогда где же прошлое существует, если вообще существует?

— В записях. Оно записано.

— В записях. И?..

— В уме. В человеческой памяти.

— В памяти. Что ж, хорошо. Мы, Партия, управляем всеми записями, как и всей памятью. Значит, мы управляем прошлым, не так ли?

— Но как вы можете заставить людей не помнить чего-то? — выкрикнул Уинстон, снова на миг забыв про шкалу. — Это непроизвольно. Само по себе. Как вы можете управлять памятью? Моей же вы не управляете!

О’Брайен снова посуровел. Он положил руку на рычаг.

— Напротив, — сказал он, — это вы ею не управляете. Поэтому вы здесь и оказались. Вы здесь потому, что вам не хватило смирения и самодисциплины. Вы не стали подчиняться, а за это платят здравомыслием. Вы предпочли стать безумцем, меньшинством в единственном числе. Только дисциплинированный разум, Уинстон, может видеть реальность. Вы полагаете, что реальность — это нечто объективное, внешнее, существующее независимо от вас. Вы также полагаете, что природа реальности самоочевидна. Когда вы впадаете в иллюзию, что видите что-то, вы считаете, что и все остальные видят то же самое. Но говорю вам, Уинстон, реальность не вовне. Реальность существует в человеческом разуме и больше нигде. Не в индивидуальном разуме, который может допускать ошибки и в любом случае недолговечен, но только в разуме Партии, коллективном и бессмертном. Что бы Партия ни признала истиной — истинно. Невозможно видеть реальность иначе, кроме как глазами Партии. Этот факт вам придется усвоить, Уинстон. Он требует акта саморазрушения, волевого усилия. Вы должны смириться, прежде чем

обретете здравомыслие.

Он ненадолго замолчал, как бы давая время осознать услышанное.

— Вы помните, — продолжил он, — как записали в своем дневнике: «Свобода — это свобода говорить, что дважды два — четыре»?

— Да, — ответил Уинстон.

О'Брайен поднял левую руку тыльной стороной к Уинстону, загнув большой палец и выставив остальные.

— Сколько пальцев я показываю, Уинстон?

— Четыре.

— А если Партия говорит, что не четыре, а пять — тогда сколько?

— Четы…

Он задохнулся от боли. Стрелка на шкале подскочила до пятидесяти пяти. Уинстона по всему телу прошиб пот. Воздух врывался в его легкие и выходил глубокими стонами, которых он не мог сдержать, даже стиснув зубы. О'Брайен наблюдал за ним, все так же выставляя пальцы. Он отвел назад рычаг. На этот раз боль лишь слегка утихла.

— Сколько пальцев, Уинстон?

— Четыре.

Стрелка поднялась до шестидесяти.

— Сколько пальцев, Уинстон?

— Четыре! Четыре! Что еще я могу сказать? Четыре!

Стрелка, должно быть, поднялась снова, но он не смотрел на нее. Он видел только тяжелое суровое лицо и четыре пальца. Пальцы стояли перед ним, точно колонны — огромные, расплывчатые, словно бы дрожащие, — но их было только четыре.

— Сколько пальцев, Уинстон?

— Четыре! Хватит, хватит! Как вы можете? Четыре! Четыре!

— Сколько пальцев, Уинстон?

— Пять! Пять! Пять!

— Нет, Уинстон, так не пойдет. Вы лжете. Вы все еще думаете, что их четыре. Пожалуйста, сколько пальцев?

— Четыре! Пять! Четыре! Сколько вам нужно. Только хватит, уберите боль!

Внезапно он уже сидел, а О'Брайен обнимал его за плечи. Должно быть, он потерял сознание на несколько секунд. Ослабили ремни, которые его держали. Ему было очень холодно, его била дрожь, зубы стучали, слезы катились по щекам. На миг он как ребенок прильнул к О'Брайену, находя странное утешение в тяжелой руке, обнимавшей его за плечи. У него возникло ощущение,

что О'Брайен его защитник, что боль приходила откуда-то со стороны, от другого источника, а О'Брайен спасал его от нее.

— Ты тугодум, Уинстон, — мягко отметил О'Брайен.

— Что я могу поделать? — промямлил он. — Как я могу не видеть того, что у меня перед глазами? Дважды два — четыре.

— Иногда, Уинстон. А иногда — пять. Иногда и три. Иногда все вместе. Ты должен еще постараться. Нелегко обрести здравомыслие.

Он уложил Уинстона на койку. Ремни снова затянулись, но боль угасла, и дрожь прошла, оставив только слабость и холод. О'Брайен кивнул человеку в белом халате, который все это время стоял неподвижно. Человек в халате склонился над Уинстоном и всмотрелся ему в глаза, пощупал пульс, приложил ухо к груди, простукал в разных местах, затем кивнул О'Брайену.

— Еще раз, — сказал О'Брайен.

Боль затопила тело Уинстона. Стрелка достигла, наверное, семидесяти, если не больше. На этот раз он закрыл глаза. Он знал, что пальцы никуда не делись и их по-прежнему четыре. Куда важнее было пережить судороги. Он уже не замечал, плачет или нет. Боль снова уменьшилась. Он открыл

глаза. О’Брайен вернул рычаг назад.

— Сколько пальцев, Уинстон?

— Четыре. Я думаю, что четыре. Я бы увидел пять, если б мог. Я пытаюсь увидеть пять.

— Чего вы хотите: убедить меня, что вы видите пять пальцев, или действительно их увидеть?

— Действительно увидеть.

— Еще раз, — сказал О’Брайен.

Стрелка подскочила до восьмидесяти-девяноста. Уинстон не сразу вспомнил, откуда берется боль. За его прищуренными веками мельтешил лес пальцев, качаясь туда-сюда словно в танце, исчезая один за другим и снова появляясь. Он пытался сосчитать их, но уже не помнил зачем. Знал только, что сосчитать их невозможно и что это как-то связано с загадочной тождественностью пяти и четырех. Боль снова отступила. Открыв глаза, он понял, что видит все то же. Бесчисленные пальцы, как шевелящиеся деревья, все так же волновались во всех направлениях, пересекаясь так и сяк. Он снова закрыл глаза.

— Сколько у меня поднято пальцев, Уинстон?

— Я не знаю. Я не знаю. Вы меня убьете, если еще раз так сделаете. Четыре, пять, шесть — честное слово, не знаю.

— Лучше, — сказал О’Брайен.

В руку Уинстону вонзилась игла. Почти тут же по телу разлилось блаженное, целительное тепло. Боль почти забылась. Он открыл глаза и благодарно посмотрел на О'Брайена. При виде тяжелого морщинистого лица, такого страшного и такого интеллигентного, сердце его словно перевернулось. Если бы он мог, то протянул бы руку и коснулся руки О'Брайена. Никогда еще он не любил его так сильно, и не только потому, что тот убрал боль. Вернулось прежнее чувство: не так уж важно, друг ему О'Брайен или враг. С ним можно говорить. Человек, быть может, не столько ждет любви, сколько понимания. О'Брайен мучил его, едва не довел до безумия и скоро, по всей вероятности, пошлет на смерть. Это неважно. В каком-то смысле их близость глубже дружбы: так или иначе, пусть даже никто из них вслух этого не признает, где-то существует такое место, где они могут встретиться и поговорить. О'Брайен смотрел на него сверху с выражением, словно думал о том же. И заговорил тоном светской беседы.

— Вы знаете, где находитесь, Уинстон? — сказал он.

— Я не знаю. Могу догадываться. В Министерстве любви.

— Вам известно, как давно вы здесь?

— Я не знаю. Дни, недели, месяцы… Думаю, месяцы.

— А почему, как вы считаете, мы приводим сюда людей?

— Добиться от них признаний.

— Нет, не поэтому. Попробуйте еще.

— Наказать их.

— Нет! — воскликнул О'Брайен и продолжил совершенно изменившимся голосом, с выражением суровой оживленности на лице. — Нет! Не просто, чтобы вытянуть из вас признания, не просто наказать вас. Объяснить вам, зачем мы вас сюда доставили? Чтобы вылечить! Сделать здравомыслящим! Можете вы понять, Уинстон, что никто из доставленных сюда не покидает нас, пока не вылечится? Нам не важны глупые преступления, которые вы совершили. Партии не интересен проступок; мысль — вот все, о чем мы радеем. Мы не просто уничтожаем наших врагов — мы их меняем. Вы понимаете, что я под этим имею в виду?

Он нависал над Уинстоном. Лицо его так приблизилось, что казалось огромным и в таком ракурсе отвратительно страшным. Кроме того, он кипел какой-то экзальтацией, безумной одер-

жимостью. Сердце Уинстона опять сжалось. Будь такое возможно, он бы глубже зарылся в койку. Он не сомневался, что О'Брайен сейчас дернет рычаг из чистого озорства. Однако в следующий миг О'Брайен отвернулся. Он пару раз прошелся по комнате. И продолжил более спокойным тоном:

— Прежде всего вам нужно понять, что здесь не бывает великомучеников. Вы читали о религиозных гонениях прошлого. В Средние века была инквизиция. Провальная затея. Она стремилась истребить ереси, а в итоге увековечила их. На месте каждого сожженного еретика возникали тысячи новых. В чем же дело? В том, что инквизиция убивала своих врагов открыто и без их раскаяния: фактически она их убивала за то, что они не раскаивались. Люди умирали, потому что не отказывались от своих подлинных убеждений. Естественно, вся слава доставалась жертвам, а весь позор — сжигавшим их инквизиторам. Позднее, в двадцатом веке, возникли тоталитарные режимы, как их называли. Были немецкие нацисты и русские коммунисты. Русские преследовали ересь более безжалостно, чем инквизиция. Они считали, что усвоили ошибки прошлого; по крайней мере, понимали, что нельзя делать из людей мучеников. Прежде чем вывести своих жертв на

открытый процесс, они целенаправленно лишали их всякого достоинства. Они изматывали их пыткой и одиночеством, пока не превращали в жалких, презренных тварей, которые признавались во всем, в чем им велели, обливали себя грязью, переваливали вину друг на друга и выгораживались, вымаливая пощаду. Однако через несколько лет случилось то же самое. Мертвые стали мучениками, и их падение забылось. Опять же, почему? Прежде всего потому, что сделанные признания были явно вырваны силой и являлись ложными. Мы не допускаем подобных ошибок. Все признания, которые делают здесь, истинны. Мы делаем их истинными. И самое главное, мы не позволяем мертвым восстать против нас. Вам надо перестать воображать, что будущие поколения оправдают вас, Уинстон. Будущее никогда о вас не услышит. Вы будете начисто изъяты из потока истории. Мы превратим вас в газ и распылим в стратосфере. От вас ничего не останется — ни имени в документах, ни воспоминания в живом мозгу. Вы будете уничтожены как в прошлом, так и в будущем. Вы никогда не будете существовать.

«К чему тогда пытать меня»? — подумал Уинстон, проникшись горьким чувством. О'Брайен

остановился, словно бы услышал его. Он приблизил к нему свое крупное страшное лицо, чуть прищурившись.

— Вы думаете, — сказал он, — что раз мы намерены полностью вас уничтожить, не оставив ни малейшего следа от ваших слов и дел, к чему в таком случае нам утруждать себя вашим допросом? Об этом вы думали, разве нет?

— Да, — признался Уинстон.

О'Брайен чуть улыбнулся.

— Вы — изъян в системе, Уинстон. Пятно, которое нужно стереть. Не говорил ли я вам только что, чем мы отличаемся от гонителей прошлого? Мы не довольствуемся вынужденным послушанием и даже самой унизительной покорностью. Когда вы, наконец, нам подчинитесь, то сделаете это добровольно. Мы уничтожаем еретика не потому, что он нам противостоит. Напротив, пока он противостоит, мы его не уничтожаем. Мы обращаем его, проникаем в подсознание, переделываем. Мы выжигаем в нем все зло и заблуждения, перетягиваем на свою сторону, причем не просто внешне, а искренне, всей душой. Прежде чем мы убьем еретика, он должен стать одним из нас. Для нас недопустимо, чтобы где-либо в мире существовала неверная мысль, какой

бы тайной и бессильной она ни была. Даже в миг смерти мы не можем допустить ни малейшего отклонения. В старину еретик шел на костер, оставаясь еретиком, проповедуя свою ересь, восторгаясь ею. Даже жертва русских чисток могла хранить непокорность в глубине своего черепа, шагая по коридору в ожидании пули. Мы же, прежде чем вышибить мозги, приводим их в идеальный порядок. Заповеди деспотических режимов прошлого начинались словами: «Не смей». Заповеди тоталитарных режимов — «Ты должен». Наша заповедь — «Ты *есть*». Все доставленные сюда становятся нашими в полном смысле слова. Всех мы отмываем дочиста. Даже тех троих жалких предателей, в невиновность которых вы когда-то верили, — Джонса, Аронсона и Рузерфорда, — мы в конце концов сломали. Я лично принимал участие в их допросах. Я видел, как их постепенно перетирали, как они скулили, пресмыкались, рыдали, но уже не от боли и страха, а от раскаяния. Когда мы с ними закончили, от них остались лишь оболочки, под которыми не было ничего, кроме раскаяния в содеянном и любви к Большому Брату. Трогательно было видеть, как они возлюбили его. Они умоляли поскорее их расстрелять, пока их разум еще чист.

Голос О'Брайена стал почти мечтательным. Лицо его все так же полнилось экзальтацией и безумным рвением. Он не притворяется, подумал Уинстон, не лицемерит, он верит каждому своему слову. Больше всего Уинстона угнетало сознание своей интеллектуальной немощи. Он смотрел, как грациозно прохаживалась взад-вперед грузная фигура, периодически исчезая из поля его зрения. О'Брайен во всех отношениях превосходил его. Не было и не могло быть в уме Уинстона такой идеи, какую бы О'Брайен не вычислил, рассмотрел и отверг. Его разум полностью *вмещал* в себя разум Уинстона. Но если так, разве можно считать О'Брайена сумасшедшим? Должно быть, это Уинстон сумасшедший. О'Брайен остановился и взглянул на него сверху. Голос его опять посуровел.

— Не воображайте, что вы спасетесь, Уинстон, как бы полно вы ни подчинились нам. Никто, хоть раз сбившийся с пути, не избежит расплаты. И даже если мы решим позволить вам дожить до естественной смерти, вы все равно не уйдете от нас. Что случится с вами здесь, останется навсегда. Поймите это наперед. Мы сокрушим вас до точки невозврата. С вами случится такое, что вам не оправиться, проживи вы хоть тысячу лет. Вы

больше никогда не будете способны на обычное человеческое чувство. Внутри вас все будет мертво. Вы больше никогда не будете способны на любовь, на дружбу, на радость жизни, на смех, на любопытство, на храбрость или искренность. Вы станете пустым. Мы все из вас выдавим, а потом заполним собой.

Он умолк и сделал знак человеку в белом халате. Уинстон почувствовал, как к его голове подкатили какой-то тяжелый прибор. О'Брайен уселся рядом с койкой, так что Уинстон видел его лицо прямо над собой.

— Три тысячи, — сказал он через голову Уинстона человеку в халате.

К вискам Уинстона прижали две чуть влажные подушечки. Он съежился. Приближалась боль, новый вид боли. О'Брайен спокойно накрыл его руку своей, почти по-доброму.

— На этот раз больно не будет, — успокоил он. — Смотрите мне в глаза.

Тут раздался сокрушительный взрыв или нечто, очень на него похожее, хотя Уинстон как будто не слышал шума. Несомненно, ослепительно вспыхнул свет. Боли Уинстон не почувствовал, только бессилие. Несмотря на то что он уже лежал на спине, у него возникло странное ощущение, что

его опрокинуло. Жуткий безболезненный удар распластал его. Что-то случилось у него в голове. Когда зрение сфокусировалось, он вспомнил, кто он и где находится. Он узнал смотревшее на него лицо, но ощутил непонятную пустоту в голове, словно ему вырезали кусок мозга.

— Это пройдет, — сказал О'Брайен. — Смотрите мне в глаза. С какой страной воюет Океания?

Уинстон задумался. Он знал, что такое Океания и что он является гражданином Океании. Он также вспомнил Евразию и Остазию; но кто с кем воюет, он не знал. Более того, он даже не сознавал, что идет какая-то война.

— Я не помню.

— Океания воюет с Остазией. Теперь вы это припоминаете?

— Да.

— Океания всегда воевала с Остазией. С самого начала вашей жизни, с возникновения Партии, с начала истории война продолжается без перерыва, все та же война. Вы помните это?

— Да.

— Одиннадцать лет назад вы сочинили легенду о троих людях, осужденных на смерть за измену. Вы притворились, будто видели бумажку, которая доказывала их невиновность. Такой бумажки

никогда не существовало. Вы ее выдумали, а потом в нее поверили. Теперь вы вспоминаете тот момент, когда впервые ее придумали. Вы это помните?

— Да.

— Только что я показывал вам пальцы. Вы видели пять пальцев. Вы это помните?

— Да.

О'Брайен поднял пальцы левой руки, загнув большой.

— Здесь пять пальцев. Вы видите пять пальцев?

— Да.

И он их и вправду увидел на мимолетное мгновение, прежде чем разум расставил все по местам. Он ясно и четко рассмотрел пять пальцев. Затем все стало как прежде, и в душу снова закрался страх, ненависть и замешательство. Но был такой период — возможно, секунд тридцать — лучезарной убежденности, когда каждое новое утверждение О'Брайена заполняло пустоты и становилось абсолютной истиной, когда дважды два, если так нужно, легко могло равняться трем или пяти. Теперь это прошло, но не раньше, чем О'Брайен убрал руку; и хотя Уинстон не мог вернуть наваждение, он его помнил, как помнишь

яркое впечатление из прошлой жизни, когда ты был, в сущности, другим человеком.

— Теперь вы видите, — сказал О'Брайен, — что это, во всяком случае, возможно.

— Да, — сказал Уинстон.

О'Брайен встал с довольным видом. Уинстон увидел слева, как человек в белом халате надломил ампулу и набрал из нее шприц. О'Брайен повернулся к Уинстону с улыбкой. Он поправил очки почти в своей прежней манере.

— Вы помните, как написали в дневнике, — сказал он, — что неважно, друг я или враг, если я хотя бы понимаю вас и могу с вами поговорить? Вы были правы. Мне нравится говорить с вами. Мне симпатичен ваш склад ума. Напоминает мой собственный, с той только разницей, что вы безумны. Прежде чем мы завершим наш сеанс, вы можете при желании задать мне несколько вопросов.

— Любой вопрос, какой захочу?

— Любой. — Он заметил, что Уинстон смотрит на шкалу. — Прибор отключен. Какой ваш первый вопрос?

— Что вы сделали с Джулией? — спросил Уинстон.

О'Брайен снова улыбнулся.

— Она предала вас, Уинстон. Сразу же — безоговорочно. Я редко видел, чтобы кто-то так охотно шел нам навстречу. Вы бы вряд ли ее узнали. Все ее бунтарство, ее лживость, ее сумасбродство, ее испорченность — все это выжгли из нее. Идеальное обращение, словно для учебников.

— Вы ее пытали?

На это О'Брайен не ответил.

— Следующий вопрос, — сказал он.

— Большой Брат существует?

— Конечно, существует. Партия существует. Большой Брат — воплощение Партии.

— Он существует в том же смысле, что и я?

— Вы не существуете, — сказал О'Брайен.

Снова им овладело чувство беспомощности. Он знал или мог представить, какими аргументами ему будут доказывать, что он не существует; но все это галиматья, пустая игра слов. Разве само утверждение «Вы не существуете» не является логически абсурдным? Но к чему было говорить об этом? Разум его съежился при мысли о неоспоримых, безумных аргументах, которыми О'Брайен разгромит его.

— Я думаю, что существую, — сказал он устало. — Я сознаю свою личность. Я родился, и я умру. У меня есть руки и ноги. Я занимаю определен-

ное место в пространстве. Никакое твердое тело не может занимать это место одновременно со мной. Большой Брат существует в таком смысле?

— Это неважно. Он существует.

— Большой Брат когда-нибудь умрет?

— Конечно, нет. Как он может умереть? Следующий вопрос.

— Существует ли Братство?

— А этого, Уинстон, вы никогда не узнаете. Если мы решим отпустить вас по завершении, то доживи вы хоть до девяноста лет, все равно не узнаете ответа на этот вопрос: да или нет. Пока живете, это останется для вас неразрешимой загадкой.

Уинстон лежал молча. Его дыхание участилось. Он все еще не задал вопроса, который первым пришел ему на ум. Он должен был спросить об этом, но у него словно язык присох. На лице О'Брайена читалась легкая насмешка. Даже его очки поблескивали иронично. Он знает, подумал вдруг Уинстон, знает, что я собираюсь спросить! И тут же сами собой вырвались слова:

— Что в сто первой комнате?

Лицо О'Брайена не изменилось. Он ответил сухо:

— Вы знаете, что в сто первой комнате, Уинстон. Все знают, что в сто первой комнате.

Он поднял палец человеку в белом халате. Очевидно, сеанс подошел к концу. В руку Уинстона вонзилась игла. Почти сразу он погрузился в глубокий сон.

III

— В вашем восстановлении три этапа, — сказал О'Брайен. — А именно: обучение, понимание и принятие. Пришло время перейти ко второму этапу.

Уинстон, как всегда, лежал на спине. С некоторых пор ремни были ослаблены. Они все так же удерживали его на койке, но он мог слегка шевелить коленями, крутить головой и двигать нижней частью рук. Да и прибор со шкалой уже не внушал прежнего ужаса. Если Уинстон отвечал достаточно быстро, он мог не опасаться разрядов; в основном О'Брайен дергал за рычаг, когда считал его ответы глупыми. Иногда за весь сеанс прибор ни разу не включали. Уинстон уже не помнил, сколько сеансов они провели. Казалось, весь процесс растянулся на долгое неопределенное время — возможно, недели, — и интервалы между сеансами могли составлять как дни, так и пару часов.

— Пока вы здесь лежите, — сказал О'Брай-

ен, — вы часто думаете — и даже спрашивали меня, — зачем Министерство любви тратит на вас столько времени и сил. И на свободе вы задавались, по существу, тем же вопросом. Вы могли постичь механику общества, в котором жили, но не его скрытые мотивы. Помните, как вы написали в дневнике: «Я понимаю *как*; не понимаю *зачем*»? Как раз при мысли об этом «зачем» вы и сомневались в своем разуме. Вы читали *книгу*, книгу Голдштейна, хотя бы некоторые части. Нашли там что-нибудь, чего уже не знали?

— Вы ее читали? — спросил Уинстон.

— Я ее писал. Точнее сказать, участвовал в написании. Никакая книга, как вам известно, не пишется в одиночку.

— Это правда — что там написано?

— В описательной части — да. А изложенная программа — чушь. Тайное накопление знаний — постепенное распространение просвещения — в итоге пролетарское восстание — низвержение Партии. Вы и сами догадывались, что там будет дальше. Все это чушь. Пролетарии никогда не восстанут, ни через тысячу лет, ни через миллион. Не могут они восстать. Мне не нужно вам объяснять почему — вы и сами знаете. Если вы когда-либо тешились мечтами о насильствен-

ном перевороте, вы должны оставить их. Нет никакого способа свергнуть Партию. Правление Партии вечно. Сделайте это отправной точкой ваших размышлений. — Он подошел к койке и повторил: — Вечно! А теперь давайте вернемся к вопросам «как» и «зачем». Вы достаточно хорошо понимаете, *как* Партия удерживает власть. Теперь скажите мне, *зачем* мы держимся за власть. Каков наш мотив? Зачем нам желать власти? Ну же, говорите, — подбодрил он молчавшего Уинстона.

И все же Уинстон медлил с ответом. На него навалилась усталость. Лицо О'Брайена вновь озарилось безумной одержимостью. Уинстон заранее знал, что тот скажет. Что Партия стремится к власти не в собственных интересах, а только в интересах большинства. Скажет, что Партия пришла к власти, потому что люди в массе своей слабы и трусливы, не готовы к свободе и боятся правды, а значит, ими должен управлять сильнейший, систематически обманывая. Что перед человечеством стоит выбор между свободой и счастьем и для большей части человечества счастье лучше свободы. Что Партия — вечный защитник слабых, орден самоотверженных, творящих зло во имя добра, жертвуя личным

счастьем ради счастья других. Самое ужасное, думал Уинстон, самое ужасное, что в этом рассказе О'Брайен будет искренне во все верить. Это было видно по его лицу. О'Брайен все знает. Он в тысячу раз лучше Уинстона знает, каков на самом деле мир, в каком моральном разложении живут человеческие массы, какой ложью и варварством Партия удерживает их в этом состоянии. Он давно понял и взвесил все факты, но это ничего не меняло — все оправдывала конечная цель. Как держать себя против безумца, подумал Уинстон, который умнее тебя, который спокойно выслушивает твои аргументы, но продолжает настаивать на своем безумии?

— Вы правите нами ради нашего блага, — нетвердо начал он. — Вы полагаете, что люди не способны править собой, и потому…

Он вздрогнул, едва сдержав крик. Тело пронзила боль. О'Брайен выжал рычаг до тридцати пяти.

— Это было глупо, Уинстон, глупо! — сказал он. — Вы могли бы дать ответ получше.

Вернув рычаг в прежнее положение, он продолжил:

— Теперь я сам отвечу на мой вопрос. Вот так. Партия стремится к власти всецело в своих ин-

тересах. Нас не интересует благо других; нас интересует одна власть. Не богатство, не роскошь, не долголетие, не счастье — только власть, власть в чистом виде. Что такое власть в чистом виде, вы сейчас поймете. Мы отличаемся от всех олигархий прошлого, потому что знаем, что делаем. Все прочие, даже похожие на нас, были трусами и лицемерами. Немецкие нацисты и русские коммунисты приблизились к нашим методам, но им никогда не хватало смелости признать собственные побуждения. Они притворялись, а может, даже верили, что захватили власть невольно и на время. Что за углом человечество ждет рай земной, где все будут свободны и равны. Мы не такие. Мы знаем: никто и никогда не захватывал власть, чтобы потом отказаться от нее. Власть не средство, а цель. Не диктатуру устанавливают, чтобы защитить революцию; революцию делают, чтобы установить диктатуру. Цель насилия — насилие. Цель пытки — пытка. Ну а цель власти — власть. Теперь ты начинаешь понимать меня?

Уинстон уже не в первый раз поразился усталости лица О'Брайена. Это было сильное, мясистое и жестокое лицо, выражавшее ум и обузданную страсть, — Уинстон перед ним чувствовал себя беспомощным; но это было очень усталое лицо.

Мешки под глазами, обвислые щеки. О'Брайен навис над ним, намеренно приблизив свою изнуренную физиономию.

— Ты думаешь, — сказал он, — что у меня старое и усталое лицо. Думаешь, я говорю о власти, а сам не могу предотвратить распад моего тела. Разве ты не понимаешь, Уинстон, что индивид — это лишь клетка? Износ клетки — это живость организма. Разве ты умираешь, когда стрижешь ногти?

Он отвернулся от койки и снова зашагал по комнате, убрав одну руку в карман.

— Мы — жрецы власти, — продолжил он. — Бог есть власть. Но в твоем случае власть — это пока лишь слово. Пора тебе начать постигать, что значит власть. Первое, что ты должен усвоить: власть коллективна. Индивид обладает властью настолько, насколько он перестал быть индивидом. Ты знаешь лозунг Партии: «Свобода — это рабство». А ты не думал, что верно и обратное? Рабство — это свобода. В одиночестве — на свободе — человек всегда проигрывает. Это неизбежно, потому что всякий человек обречен на смерть, а это величайшее поражение. Но если он сумеет полностью, безоговорочно подчиниться, если он избавится от своей индивидуальности, если

сольется с Партией, так что сам станет Партией, тогда он станет всесильным и бессмертным. Второе, что ты должен усвоить: власть — это всегда власть над людьми. Не просто над их телами, но главным образом над умами. Власть над материей — внешней реальностью, как ты ее называешь — неважна. Материю мы уже подчинили полностью.

На миг Уинстон забыл о шкале. Он отчаянно дернулся в попытке сесть, но только болезненно изогнулся всем телом.

— Да как вы можете подчинить материю? — выпалил он. — Вы не подчинили даже климат или закон тяготения. А есть еще болезни, боль, смерть…

О'Брайен поднял руку, велев ему замолчать.

— Мы подчинили материю, поскольку подчинили разум. Реальность находится внутри черепной коробки. Ты усвоишь это постепенно, Уинстон. Нет ничего, что нам не под силу. Невидимость, левитация — что угодно. Я мог бы взмыть сейчас в воздух, как мыльный пузырь, если бы захотел. Я этого не хочу, поскольку этого не хочет Партия. Тебе надо избавиться от этих идей о законах природы девятнадцатого века. Мы творим законы природы.

— Но это не так! Вы даже не хозяева нашей планеты. Как насчет Евразии и Остазии? Вы их еще не завоевали.

— Неважно. Завоюем, когда нам будет удобно. А если даже нет, какая разница? Мы можем считать, что их нет. Океания — это мир.

— Но весь мир — лишь пылинка. А человек ничтожен и беспомощен! Долго ли он существует? Миллионы лет Земля была необитаема.

— Чушь. Земля — наша ровесница, не старше. Как она может быть старше? Ничто не существует иначе, как в человеческом сознании.

— Но в скалах полно костей вымерших животных — мамонтов, мастодонтов и огромных рептилий, которые жили задолго до того, как человек появился на свет.

— Ты когда-нибудь видел эти кости, Уинстон? Разумеется, нет. Их выдумали биологи девятнадцатого века. До человека не было ничего. После человека, если ему когда-нибудь придет конец, тоже не будет ничего. Вне человека ничего нет.

— Но вся вселенная вне нас. Посмотрите на звезды! До некоторых из них миллионы световых лет. Нам никогда их не достичь.

— Что такое звезды? — сказал О'Брайен безразлично. — Огненные точки в нескольких

километрах от нас. Мы могли бы их достичь, если бы хотели. Или избавиться от них. Земля — центр вселенной. Солнце и звезды вращаются вокруг нее.

Уинстон снова дернулся. На этот раз он ничего не сказал. О'Брайен продолжил, словно отвечая на возражение:

— Для некоторых целей этот факт, конечно, не годится. Прокладывая курс по океану или прогнозируя затмение, мы часто находим удобным считать, что Земля вращается вокруг Солнца, а до звезд миллионы миллионов километров. Но что с того? По-твоему, нам не под силу создать дуальную систему астрономии? Звезды могут быть близко или далеко в зависимости от наших потребностей. По-твоему, наши математики с этим не справятся? Ты забыл *двоемыслие*?

Уинстон обмяк на койке. Что бы он ни сказал, быстрый ответ сокрушал его, точно дубина. И все же он знал, просто знал, что правда на его стороне. Верить, что ничего не существует за пределами твоего разума? Наверняка есть способ показать ложность этого убеждения. Разве его уже давно не опровергли? У него даже есть название, только он его забыл. О'Брайен взглянул на него свысока, чуть скривив губы в усмешке.

— Я говорил тебе, Уинстон, — сказал он, — что метафизика не твой конек. Слово, которое ты пытаешься вспомнить, — солипсизм. Но ты ошибаешься. Это не солипсизм. Коллективный солипсизм, если хочешь. Но это другое — фактически его противоположность. Мы отклонились от темы, — сказал он другим тоном. — Настоящая власть, за которую мы боролись денно и нощно, это власть не над вещами, но над людьми. — Он выдержал паузу и на миг опять стал похож на школьного учителя, задающего вопрос способному ученику: — Как один человек утверждает свою власть над другим, Уинстон?

Уинстон подумал.

— Заставляя его страдать, — ответил он.

— Именно. Заставляя его страдать. Одного подчинения недостаточно. Если он не страдает, как ты можешь быть уверен, что он подчиняется твоей воле, а не своей? Властвовать значит мучить и унижать. Властвовать значит рвать на куски человеческий разум и собирать его заново в тех формах, какие тебе нужны. Теперь ты начинаешь понимать, что за мир мы создаем? Это полная противоположность глупым гедонистическим утопиям, которые воображали старые реформаторы. Мир страха, предатель-

ства и мучений, мир, где одни попирают других, мир, который на пути к совершенству становится не менее, а БОЛЕЕ безжалостным. Развитие нашего мира будет развитием страданий. Старые цивилизации заявляли, что основаны на любви или справедливости. Наша основана на ненависти. В нашем мире не будет чувств, кроме страха, ярости, ликования, низкопоклонства. Все остальное мы уничтожим — все! Мы уже ломаем привычку мыслить, которая досталась нам с дореволюционных времен. Мы разорвали узы: семейные, дружеские, любовные. Никто больше не смеет верить ни жене, ни ребенку, ни другу. А в будущем не будет ни жен, ни друзей. Детей начнут забирать у матерей сразу после родов, как яйца из-под несушки. Мы вырвем с корнем половой инстинкт. Деторождение станет ежегодной формальностью, вроде возобновления продовольственных карточек. Мы устраним оргазм. Наши неврологи работают над этим. Не будет верности, кроме верности Партии. Не будет любви, кроме любви к Большому Брату. Не будет смеха, кроме смеха торжества над поверженным врагом. Не будет литературы, искусства, науки. Когда мы станем всемогущими, наука больше не понадобится. Не будет различия между красотой

и уродством. Не будет любознательности, не будет радости от самой жизни. Всяческие удовольствия будут истреблены. Но всегда — помни это, Уинстон, — всегда будет опьянение властью, все более сильное и более утонченное. Всегда, в любой момент будет трепет победы и упоение от попирания беспомощного врага. Если хочешь вообразить себе образ грядущего, представь сапог, наступающий на лицо человека — вечно.

Он смолк, словно ожидая возражений. Уинстон снова попытался вжаться в койку, к которой был привязан. Он ничего не мог сказать. Сердце его словно замерзло. О'Брайен продолжил:

— И помни — это навечно. Всегда найдется лицо, чтобы припечатать его сапогом. Всегда найдется еретик, враг народа, чтобы снова побеждать его и унижать. Все, через что ты прошел, попав в наши руки, все это — и хуже этого — будет продолжаться. Слежки, предательства, аресты, пытки, казни, исчезновения не прекратятся никогда. Это будет в той же мере мир террора, как и мир ликования. Чем сильнее будет Партия, тем менее терпима — чем слабее оппозиция, тем суровей деспотизм. Голдштейн и его ереси тоже будут жить вечно. Ежедневно, поминутно их будут разоблачать, уничтожать, высмеивать,

оплевывать — и все равно они останутся. Тот спектакль, который я разыгрывал с тобой семь лет, будут разыгрывать снова и снова, из поколения в поколение, и каждый раз все более утонченно. Всегда в наших руках будет еретик, кричащий от боли — сломленный, презренный и в итоге полностью раскаявшийся, спасенный от себя самого, ползущий к нашим ногам по доброй воле. Вот мир, который мы построим, Уинстон. Мир победы за победой, мир триумфа, триумфа и еще раз триумфа, чтобы бесконечно щекотать, щекотать, щекотать нерв власти. Я вижу, ты начинаешь постигать, каким станет наш мир. Но под конец ты его не только постигнешь — ты примешь его и будешь приветствовать, ты станешь его частицей.

Уинстон нашел в себе силы заговорить.

— Вы не сможете! — сказал он слабо.

— Что ты имеешь в виду, Уинстон?

— Вы не сможете создать такой мир, какой описали. Это сон. Это невозможно.

— Почему?

— Невозможно построить цивилизацию на страхе, ненависти и жестокости. Она не продержится долго.

— Почему же?

— В ней не будет жизни. Она разложится. Совершит самоубийство.

— Чушь. У тебя создалось впечатление, что ненависть изнурительней любви. С чего бы это? А если даже так, какая разница? Допустим, мы пойдем на то, чтобы дряхлеть быстрее. Допустим, мы ускорим темп жизни, так что люди будут впадать в маразм к тридцати. Пусть так — какая разница? Можешь ты понять, что смерть индивида — это не смерть? Партия бессмертна.

Как обычно, этот голос разделывал Уинстона под орех. К тому же он опасался, что, если продолжит настаивать на своем, О'Брайен снова нажмет на рычаг. И все же он не мог молчать. Не имея никаких доводов в свою пользу, ничего, кроме немого ужаса перед словами О'Брайена, он несмело возобновил атаку.

— Я не знаю… все равно. Вы просто проиграете. Что-то победит вас. Жизнь победит.

— Уинстон, мы управляем жизнью на всех уровнях. Ты воображаешь, будто есть некая человеческая природа, которая возмутится нашими действиями и обернется против нас. Но это мы создаем человеческую природу. Люди бесконечно податливы. Или ты, возможно, вернулся к своей старой идее, что пролетарии или рабы восстанут

и свергнут нас. Выбрось это из головы. Они беспомощны, как скот. Человечество — это Партия. Остальные, снаружи, не в счет.

— Все равно. В итоге они вас побьют. Рано или поздно увидят, кто вы такие, и разорвут вас в клочья.

— Ты видишь какие-то признаки этого? Или какую-то причину?

— Нет. Я в это верю. Я *знаю*, что вы проиграете. Есть что-то во вселенной — не знаю, некий дух, некий принцип, — который вам никогда не одолеть.

— Ты веришь в бога, Уинстон?

— Нет.

— Тогда что это за принцип, который победит нас?

— Я не знаю. Дух человеческий.

— А себя ты считаешь человеком?

— Да.

— Если ты человек, Уинстон, то последний. Твой вид вымер; мы — преемники. Ты понимаешь, что ты *один*? Ты за бортом истории, тебя не существует. — Манера его сменилась на более суровую: — И ты себя считаешь морально выше нас, с нашей ложью и жестокостью?

— Да, я считаю себя выше.

О’Брайен ничего не сказал. Заговорили два других голоса. Вскоре Уинстон узнал в одном голосе свой. Это была запись его разговора с О’Брайеном в тот вечер, когда он вступал в Братство. Он услышал, как обещает лгать, красть, совершать подлоги, убивать, поощрять наркоманию и проституцию, разносить венерические заболевания, плеснуть в лицо ребенку серной кислотой. О’Брайен нетерпеливо повел рукой, как бы говоря, что все и так понятно. Затем повернул выключатель, и голос смолк.

— Вставай с койки, — приказал он.

Ремни ослабли и отпустили Уинстона. Он свесил ноги на пол и неустойчиво встал.

— Ты последний человек, — сказал О’Брайен. — Ты хранитель человеческого духа. Сейчас ты увидишь, каков ты есть. Снимай одежду.

Уинстон развязал бечевку, которая поддерживала комбинезон. Молнию с него давно сорвали. Он не помнил, когда со времени ареста он полностью раздевался. Под комбинезоном на его теле висели грязные желтоватые тряпки, в которых угадывались остатки белья. Сбросив их на пол, он увидел в дальнем конце комнаты трельяж. Подойдя к нему, он замер и невольно вскрикнул.

— Ну же, — сказал О’Брайен. — Встань между

створками зеркала. Увидишь себя сбоку.

Он остановился от испуга. Из зеркала к нему приближался скрюченный скелетоподобный урод с серой кожей. Сам вид его внушал ужас, и не только от осознания, что Уинстон смотрит на себя самого. Он подошел поближе. Лицо этой твари выдавалось вперед, поскольку тело сгорбилось. Изможденное лицо узника с выпуклым лбом, переходящим в лысину, заострившийся нос, разбитые скулы и свирепый, настороженный взгляд. Щеки изрезаны морщинами, рот запал. Не приходилось сомневаться, что это он, но ему показалось, что внешне он изменился гораздо сильнее, чем внутренне. Чувства, которые отражались на этом лице, не соответствовали его собственным. Он частично облысел. Сначала ему почудилось, что он к тому же поседел, но это лысина просвечивала серым. Все его тело, кроме рук и лица, покрылось застарелой въевшейся грязью. Повсюду из-под грязи виднелись красные рубцы, а варикозная язва на лодыжке распухла и шелушилась. Но сильнее всего пугало истощение. Грудная клетка высохла, как у скелета, туго обтянутого кожей; ноги исхудали до того, что колени выглядели толще бедер. И еще он понял, зачем О'Брайен велел ему посмотреть на себя

сбоку. Позвоночник кошмарно искривился. Тощие плечи выдавались вперед, грудь ввалилась, а высохшая шея кривилась под тяжестью черепа. Ему казалось, что он видит шестидесятилетнего старика, страдающего какой-то неизлечимой болезнью.

— Ты иногда думаешь, — сказал О'Брайен, — что мое лицо — лицо члена Внутренней Партии — выглядит старым и усталым. А что ты скажешь о своем?

Он взял Уинстона за плечо и резко повернул к себе.

— Посмотри, в каком ты состоянии! — сказал он. — Посмотри на эту жуткую въевшуюся грязь. Посмотри на грязь между пальцами ног. Посмотри на эту мерзкую мокрую язву на ноге. Ты знаешь, что воняешь козлом? Принюхался, наверно. Гляди, как ты отощал. Видишь? Я могу обхватить твой бицепс двумя пальцами. Я мог бы сломать тебе шею, как морковку. Ты знаешь, что похудел на двадцать пять килограммов с тех пор, как попал к нам в руки? Даже волосы у тебя лезут клочьями. Смотри! — Он дернул Уинстона за волосы и вырвал клок. — Открой рот. Девять, десять, одиннадцать зубов. Сколько было, когда ты к нам попал? Да и те, что остались, сами выпа-

дают. Смотри-ка!

Он залез двумя сильными пальцами в рот Уинстону. Десну пронзила боль. О'Брайен вывернул ему один из передних зубов с корнями и бросил на пол.

— Ты гниешь, — сказал он, — разлагаешься заживо. Что ты такое? Мешок мерзостей. А ну-ка, повернись и посмотри еще раз в зеркало. Видишь эту образину? Это последний человек. Если ты человек, то вот оно, человечество. А теперь одевайся.

Уинстон стал натягивать одежду, с трудом двигая руками. Похоже, до сих пор он не замечал, как исхудал и ослаб. В уме крутилась только одна мысль: видимо, он пробыл здесь дольше, чем ему казалось. И вдруг, расправляя на себе грязное тряпье, он проникся жалостью к своему загубленному телу. Не успев ничего сообразить, он опустился на табуретку у койки и разрыдался. Он сознавал свое уродство — как он сидит раскорякой и скулит в ярком свете, мешок с костями в загаженных обносках — и не мог ничего поделать. О'Брайен почти сочувственно положил руку ему на плечо.

— Это не навечно, — сказал он. — Ты можешь прекратить все по собственному выбору. Все

зависит от тебя самого.

— Это все вы! — всхлипнул Уинстон. — Вы довели меня до такого.

— Нет, Уинстон, это ты довел себя до такого. Ты решился на этот шаг, когда пошел против Партии. Все содержалось в том первом шаге. Ничто из случившегося не было для тебя неожиданностью.

Выдержав паузу, он продолжил:

— Мы били тебя, Уинстон. Мы тебя ломали. Ты видел, каким стало твое тело. Твой разум такой же. Не думаю, что в тебе осталось много гордости. Тебя пинали, пороли, оскорбляли, ты кричал от боли, катался по полу в собственной крови и блевотине. Ты скулил о пощаде, ты предал всех и вся. Ты можешь помыслить хотя бы единое разложение, какое тебя не коснулось?

Уинстон перестал плакать, хотя слезы еще продолжали течь из глаз. Он поднял взгляд на О'Брайена.

— Я не предал Джулию, — сказал он.

О'Брайен вдумчиво посмотрел на него.

— Да, — сказал он, — да; это чистая правда. Джулию ты не предал.

Сердце Уинстона снова преисполнилось особого и, вероятно, неизбывного почтения к О'Брайену. Сколько ума, подумал он, сколько ума! Ни

разу не было такого, чтобы О'Брайен не сумел его понять. Любой другой возразил бы без колебаний, что он, *конечно же,* предал Джулию. Ибо не было такого, чего бы из него не вырвали под пыткой. Он рассказал им все, что знал о ней: ее привычки, ее характер, ее прошлую жизнь; он сознался в мельчайших подробностях их отношений, их разговоров — как они питались с черного рынка, как занимались любовью, как плели туманные заговоры против Партии — рассказал обо всем. И все же в том смысле, в каком он понимал это слово, он ее не предал. Он не перестал любить ее; его чувства к ней не изменились. О'Брайен понял, что он имел в виду, без объяснений.

— Скажите, скоро меня расстреляют? — спросил Уинстон.

— Возможно, что не скоро, — сказал О'Брайен. — Ты трудный случай. Но не теряй надежду. Каждого вылечивают рано или поздно. В конце концов мы тебя расстреляем.

IV

Ему стало гораздо лучше. С каждым днем — если можно было говорить о днях — он набирал вес и силы.

Яркий свет и гудение остались, но обстанов-

ка была чуть удобней, чем в прежних камерах. Теперь на дощатой койке появились подушка и матрас, а рядом стоял табурет. Уинстона сводили в баню и довольно часто разрешали мыться в жестяной бадье. Ему даже приносили теплую воду. Ему выдали новое белье и чистый комбинезон. Варикозную язву забинтовали с болеутоляющей мазью. Оставшиеся зубы вырвали и вставили протезы.

Прошло несколько недель или даже месяцев. Теперь он мог вести счет времени, если бы это его хоть немного заботило, поскольку кормили его, кажется, через равные интервалы. Он предполагал, что еду приносят три раза в сутки; иногда он гадал, днем или ночью. Еда была на удивление хорошей, каждый третий раз давали мясо. Однажды выдали даже пачку сигарет. У него не было спичек, но молчаливый охранник, который приносил еду, давал прикурить от зажигалки. От первой затяжки его замутило, но он проявил настойчивость и надолго растянул пачку, выкуривая полсигареты после каждого приема пищи.

Ему выдали белую грифельную доску с огрызком карандаша, привязанным к углу. Первое время он ее не трогал. Даже если он не спал, им владела апатия. Часто он только и делал, что ел

и лежал, почти не шевелясь, и сны сменялись мутным забытьем, в котором он не утруждался открывать глаза. Он давно привык спать с сильным светом в лицо. Спалось ему примерно так же, разве что сны стали более связными. Все это время он видел множество снов — и всегда счастливых. Он оказывался в Золотой стране или сидел среди огромных величественных руин, залитых солнцем, с матерью, Джулией, О'Брайеном — они ничего не делали, просто сидели на солнце и говорили о мирных вещах. Когда он не спал, почти все его мысли были об этих сновидениях. Он словно бы утратил способность к умственной деятельности, как только прекратилась болевая стимуляция. Он не скучал и не испытывал нужды ни в общении, ни в развлечениях. Лишь бы только оставаться одному, чтобы его не били и не допрашивали, лишь бы хватало еды и давали мыться.

Постепенно он стал меньше спать, но все равно не испытывал желания вставать. Ему хотелось только тихо лежать и чувствовать, как тело набирает силы. Он ощупывал себя в разных местах, убеждаясь, что мышцы в самом деле округляются, а кожа становится упругой. Наконец, он удостоверился, что набирает вес: бедра стали

определенно толще коленей. Тогда он начал регулярно упражняться, поначалу с неохотой. Довольно скоро Уинстон уже нагуливал по три километра, меряя шагами камеру, и сутулые плечи начали распрямляться. Он попробовал упражнения посложнее и, к своему изумлению и стыду, выяснил, что почти ничего не может. Он не мог передвигаться иначе, кроме как шагом, не мог держать табуретку на вытянутой руке или стоять на одной ноге, не заваливаясь. Присев на корточки, он выяснил, что может встать без помощи только ценой дикой боли в бедрах и икрах. Он лег на живот и попытался отжаться. Безнадежно, он не смог оторваться от пола ни на сантиметр. Но всего через несколько дней — через несколько кормежек — он справился и с этим. Пришло время, когда он смог отжаться шесть раз подряд. Он начал даже гордиться своим телом, и его стала посещать надежда, что и лицо постепенно возвращается к норме. Но всякий раз, как он касался лысой головы, в памяти всплывало лицо, смотревшее на него из зеркала — измятое и безжизненное.

Разум его постепенно пробуждался. Уинстон садился на койку спиной к стене, укладывал грифельную доску на колени и сознательно зани-

мался перевоспитанием.

Он признал поражение, ясное дело. В действительности — теперь он это понимал — он был готов признать поражение задолго до того, как все произошло. Едва оказавшись в Министерстве любви — да что там, с той минуты, как они с Джулией беспомощно стояли, слушая команды железного голоса из телеэкрана, — он постиг всю вздорность и легковесность своих попыток противостоять Партии. Теперь он понимал, что Мыслеполиция уже семь лет наблюдала за ним, точно за жуком в лупу. Ни одно его действие, ни одно сказанное слово не осталось для них незамеченным, ни одно умозаключение — неразгаданным. Даже белесую пылинку на обложке его дневника они аккуратно снимали и возвращали обратно. Они включали ему аудиозаписи, показывали фотографии. В том числе фотографии их с Джулией. Да, даже те, где они… Он больше не мог бороться с Партией. К тому же Партия была права. Должна быть права; разве может ошибаться бессмертный коллективный мозг? Каким внешним критерием можно проверить его суждения? Здравомыслие — это статистика. Вопрос состоял лишь в том, чтобы научиться думать, как они. Только!..

Карандаш в пальцах показался толстым и неудобным. Уинстон начал записывать мысли, приходившие ему в голову. Прежде всего он написал большими неровными буквами:

СВОБОДА – ЭТО РАБСТВО

И почти сразу под этим:

ДВАЖДЫ ДВА – ЧЕТЫРЕ

Затем произошла какая-то заминка. Разум его, словно пасуя перед чем-то, казалось, не мог сосредоточиться. Он понимал, что следует дальше, но никак не мог вспомнить. А когда вспомнил, это случилось не само собой, а только путем логических рассуждений. Он написал:

БОГ – ЭТО ВЛАСТЬ

Он принял все. Прошлое изменяемо. Прошлое никогда не меняется. Океания воюет с Остазией. Океания всегда воевала с Остазией. Джонс, Аронсон и Рузерфорд виновны в преступлениях, в которых их обвиняли. Он никогда не видел фотографии, доказывавшей их невиновность. Ее никогда не существовало, он ее выдумал. Он знал,

что помнил другое, но то были ложные воспоминания, следствие самообмана. Как все просто! Только сдайся, и все последует само собой. Это как плыть против течения, которое отбрасывает тебя назад, как бы ты ни старался, а затем вдруг развернуться и поплыть по течению без всяких усилий. Ничто не менялось, кроме твоего отношения: чему быть, того не миновать. Он с трудом понимал, с чего вообще бунтовал. Все было просто, кроме!..

Что угодно может быть правдой. Так называемые законы природы — это чушь. Закон тяготения — чушь.

«Если бы я захотел, — сказал О'Брайен, — я бы взмыл сейчас в воздух, как мыльный пузырь». Уинстон обосновал это. «Если он *думает*, что взмывает с пола, и если я одновременно *думаю*, что вижу это, значит, так и есть».

Внезапно, как обломок кораблекрушения, всплывший из-под воды, в сознание ворвалась мысль: «А вот и нет. Мы это воображаем. Это галлюцинация, само-внушение». Он тут же затолкал эту мысль поглубже. Ошибочность ее была очевидна. Она предполагала, что где-то вне тебя существует «реальный» мир, где случаются «реальные» вещи. Но откуда взяться такому ми-

ру? Разве можем мы познать что-то иначе, чем нашим умом? Все случается в уме. Что случается во всех умах, случается на самом деле.

Он разделался со своей ошибкой без труда, она ему больше не грозила. Тем не менее он сознавал, что она никогда не должна возникать у него. Всякий раз, как появится опасная мысль, разум должен включать слепое пятно. Нужно делать это автоматически, инстинктивно. На новоязе это называется *самостоп.*

Он принялся упражняться в *самостопе*. Он предлагал себе утверждения — «Партия говорит, что Земля плоская», «Партия говорит, что лед тяжелее воды» — и тренировался не видеть или не понимать доводов, им противоречивших. Непростое занятие. Требовалась большая сила убеждения и изобретательность. К примеру, арифметические задачи, такие как «дважды два — четыре», выходили за пределы его умственных способностей. С ними, кроме прочего, требовалась определенная гибкость ума, способность в один момент проводить тончайшие логические заключения, а в другой — не сознавать грубейших логических ошибок. Не меньше интеллекта требовалась тупость, и достичь ее было не так-то легко.

Между тем его продолжал занимать вопрос, когда же его расстреляют. «Все зависит от тебя», — сказал О'Брайен; но Уинстон знал, что нет такого сознательного действия, которое могло бы приблизить его к этому. Возможно, ему осталось жить десять минут; возможно — десять лет. Его могли держать годами в одиночном заключении, могли отправить в трудовой лагерь, могли ненадолго выпустить, как иногда делали. Вполне возможно, что перед расстрелом с ним заново разыграют драму с арестом и допросом. Одно он знал доподлинно: смерть не приходит тогда, когда ее ждешь. Традиция — негласная, ты знал ее каким-то образом, хотя никогда не слышал о ней — была такова, что стреляли сзади; всегда в затылок, без предупреждения, пока ты идешь по коридору из одной камеры в другую.

В один прекрасный день — хотя «день» стал понятием условным; с не меньшей вероятностью была глубокая ночь; словом, однажды — он впал в странное, блаженное забытье. Он шел по коридору, ожидая выстрела. Он знал, что это вот-вот случится. Все было улажено, заглажено, согласовано. Не осталось никаких сомнений, доводов, не осталось боли, страха. Тело его стало здоровым и крепким. Он шел легко, радуясь движению и чув-

ствуя солнечный свет. Он шагал уже не по узкому коридору Министерства любви, а по огромной, залитой солнцем галерее в километр шириной, как с ним бывало в наркотическом бреду. Он был в Золотой стране и шел по тропе через старое пастбище, выщипанное кроликами. Под ногами пружинил дерн, пригревало ласковое солнце. По краю луга тянулись вязы, слегка покачиваясь, а где-то неподалеку журчал ручей, и в зеленых заводях под ивами плескалась плотва.

Он вздрогнул и в ужасе очнулся. Пот прошиб его вдоль хребта. Он услышал свой крик:

— Джулия! Джулия! Джулия, любимая! Джулия!

На миг его охватила уверенность, что она здесь. Казалось, она не просто с ним, а внутри него. Словно проникла ему под кожу. В тот миг он любил ее сильнее, чем на свободе, когда они были вместе. А еще он понял, что она жива, неведомо где и нуждается в его помощи.

Уинстон лежал на спине и пытался собраться с мыслями. Что он наделал? На сколько лет затянул свое рабство из-за этого момента слабости?

Сейчас он услышит топот сапог за дверью. Такой срыв не останется безнаказанным. Теперь они поймут, если не поняли раньше, что он нару-

шает условия заключенного с ними соглашения. Он подчинился Партии, но все еще ненавидел ее. В прежние дни он скрывал свое инакомыслие под личиной конформизма. Теперь он отступил еще на шаг: умом он сдался, но на-деялся сберечь душу. Он знал, что не прав, но эта неправота была дорога ему. Они догадаются — О'Брайен догадается. Один глупый крик выдал его с потрохами.

Ему придется начать все сначала. На это могут уйти годы. Он провел рукой по лицу, пытаясь свыкнуться со своим новым обликом. Глубокие морщины на щеках, заострившиеся скулы, приплюснутый нос. Кроме того, с тех пор как он видел себя в зеркале, ему поставили зубные протезы. Нелегко сохранять непроницаемый вид, когда не знаешь, как выглядит твое лицо. В любом случае одного выражения лица недостаточно. Он впервые осознал, что, если хочешь сохранить секрет, надо прятать его даже от себя самого. Следует всегда помнить о тайне, но не давать ей без лишней необходимости возникать в сознании в узнаваемом виде. Отныне он должен не только правильно думать — он должен правильно чувствовать и видеть правильные сны. Должен всегда держать ненависть глубоко внутри, как некий ком, неотделимый от тела и вместе с тем

чужеродный ему, вроде какой-нибудь кисты.

Когда-нибудь они решат расстрелять его. Нельзя сказать, когда это случится, но наверняка можно почувствовать за несколько секунд. Стреляют всегда сзади, когда идешь по коридору. Десяти секунд должно хватить. За это время мир внутри его может перевернуться. И тогда внезапно, без единого слова, не сбившись с шага, не изменившись в лице, он резко скинет камуфляж и — бабах! — грохнут батареи его ненависти. Ненависть взметнется в нем, точно ревущее пламя. И почти в тот же миг — бабах! — ударит пуля, слишком поздно или слишком рано. Они вышибут ему мозги, не успев навести в них порядок. Еретическая мысль избежит наказания, умрет без покаяния — ускользнет от них навсегда. Они продырявят собственное совершенство. Умереть с ненавистью к ним — вот она, свобода.

Он закрыл глаза. Это потруднее, чем усвоить умственную дисциплину. Тут требуется самоунижение, саморазложение. Нужно окунуться в мерзейшую мерзость. Что самое ужасное, самое отвратное из всего? Он подумал о Большом Брате. В сознании невольно всплыло огромное лицо (он так часто видел его на плакатах, что представлял не иначе, как в метр шириной) с густыми чер-

ными усами и глазами, неотступно следившими за ним. Что он на самом деле испытывал к Большому Брату?

Из коридора послышался тяжелый топот сапог. Стальная дверь с лязгом распахнулась. В камеру вошел О'Брайен. За ним стояли офицер с восковым лицом и охрана в черной форме.

— Вставай, — велел О'Брайен. — Подойди.

Уинстон встал напротив него. О'Брайен взял Уинстона за плечи своими сильными руками и внимательно посмотрел на него.

— Ты думал обмануть меня, — сказал он. — Это было глупо. Встань ровнее. Смотри мне в лицо.

Он помолчал и продолжил, смягчив тон:

— Ты идешь на поправку. В умственном плане ты почти в полном порядке. А вот в плане чувств прогресса не наблюдается. Скажи, Уинстон — и помни, врать нельзя: ты знаешь, я всегда сумею распознать ложь, — скажи, что ты на самом деле чувствуешь к Большому Брату?

— Я ненавижу его.

— Ты ненавидишь его. Хорошо. Тогда пришло время сделать последний шаг. Ты должен полюбить Большого Брата. Подчиниться ему недостаточно — нужно полюбить его.

Он отпустил Уинстона, слегка подтолкнув его

к охране.

— В сто первую, — приказал он.

V

На каждом этапе своего заключения Уинстон знал, или так ему казалось, в какой части безоконного здания он находится. Возможно, сказывались легкие перепады в атмосферном давлении. Камеры, где его избивала охрана, были под землей. Комната, где его допрашивал О'Брайен, находилась под самой крышей. А сейчас он оказался на предельной глубине, глубже некуда.

Камера оказалась самой просторной из всех, где ему приходилось бывать. Из обстановки он заметил только два столика, покрытых зеленым сукном. Один стоял в паре метров от него, а другой подальше, у двери. Его привязали к креслу так туго, что он не мог пошевелить даже головой. Затылок был схвачен зажимом, и Уинстону приходилось смотреть прямо перед собой.

Вскоре открылась дверь и вошел О'Брайен.

— Ты как-то спросил меня, — сказал О'Брайен, — что в сто первой комнате. Я сказал, что ты уже знаешь ответ. Все его знают. В сто первой комнате — самое страшное на свете.

Дверь снова открылась. Вошел охранник, дер-

жа в руках что-то решетчатое, какую-то коробку или корзину. Он поставил ее на дальний столик. О'Брайен загораживал вид, и Уинстон не мог разглядеть, что внутри.

— Самое страшное на свете, — продолжил О'Брайен, — у каждого свое. Иногда это погребение заживо или сожжение, утопление или сажание на кол, и еще полсотни смертей. А бывает, что это какие-то тривиальные вещи, даже не смертельные.

Он шагнул в сторону, чтобы Уинстон смог лучше разглядеть, что на столе. Там стояла вытянутая металлическая клетка с ручкой сверху для переноски. На передней стенке крепилось нечто наподобие фехтовальной маски, причем вогнутой стороной наружу. И хотя до клетки было три-четыре метра, Уинстон рассмотрел, что она разделена на две продольные части. В каждой что-то шевелилось. Это были крысы.

— В твоем случае, — сказал О'Брайен, — самое страшное на свете — это крысы.

Едва увидев клетку, Уинстон ощутил непонятную дрожь предчувствия, безотчетный страх перед неведомым. Но только сейчас он вдруг понял назначение странной маски, приделанной спереди. Его внутренности словно растворились.

— Вы не сделаете этого! — выкрикнул он надтреснутым фальцетом. — Вы не станете, не станете! Это невозможно!

— Помнишь, — сказал О'Брайен, — тот момент паники в твоих снах? Ты на пороге тьмы, в ушах стоит рев. По другую сторону тьмы что-то ужасное. Ты понимал, что там, но не смел себе признаться. Там были крысы.

— О'Брайен! — сказал Уинстон, стараясь контро-лировать голос. — Вы знаете, в этом нет необходимости. Что вы хотите, чтобы я сделал?

О'Брайен не дал прямого ответа. Он заговорил в манере школьного учителя, как делал иногда. Взгляд его устремился вдаль, словно он обращался к аудитории за спиной Уинстона.

— Одной боли, — сказал он, — не всегда достаточно. Бывают случаи, когда человек выдержит любую боль, даже вплоть до смерти. Но у каждого есть что-то непереносимое — что-то, чего он не может видеть. Храбрость и трусость тут ни при чем. Если ты падаешь с высоты, хвататься за веревку — не трусость. Если ты вынырнул с большой глубины, жадно глотать воздух — не трусость. Это лишь инстинкт, который не искоренишь. Точно так же с крысами. Для тебя они непереносимы. Давление, которого тебе не выне-

сти при всем желании. Ты сделаешь, что от тебя требуется.

— Но что это, что? Как я могу сделать то, чего не знаю?

О'Брайен взял клетку и перенес на столик поближе. Он аккуратно поставил ее на сукно. Уинстон слышал, как кровь гудит в ушах. Он чувствовал себя бесконечно одиноким. Он находился посреди бескрайней равнины, плоской пустоши, залитой солнцем, и все звуки доносились до него из далекой дали. А в паре метров от него стояла клетка с крысами. Крысы были огромными, в том возрасте, когда морда становится плоской и свирепой, а шерсть из серой делается бурой.

— Крыса, — сказал О'Брайен, все так же обращаясь к невидимой аудитории, — хоть и грызун, но плотоядный. Тебе это известно. Ты слышал, что бывает в бедных кварталах города. Есть улицы, где женщина не может оставить ребенка в доме даже на пять минут. Крысы тут же нападут. Им немного нужно времени, чтобы обглодать ребенка до костей. Они также атакуют больных и умирающих. У них поразительное чутье на беспомощных людей.

Крысы пронзительно завизжали. Уинстону показалось, что звуки доносятся издалека. Крысы

злобно кидались на перегородку, пытаясь добраться друг до друга. Уинстон услышал глубокий стон отчаяния, который тоже, казалось, донесся издали.

О'Брайен поднял клетку и что-то на ней нажал. Раздался резкий щелчок. Уинстон безумным рывком попытался вскочить с кресла. Бесполезно; он был намертво привязан, включая голову. О'Брайен с клеткой приближался. До лица Уинстона оставалось меньше метра.

— Я нажал первый рычажок, — пояснил О'Брайен. — Устройство клетки тебе понятно. Маска обхватит тебе голову, не оставив выхода. Когда я нажму другой рычажок, дверца клетки поднимется. Эти голодные хищники вылетят, как пули. Ты видел, как прыгает крыса? Они наскочат тебе на лицо и сразу вцепятся в него. Иногда они первым делом выгрызают глаза. Иногда прорывают щеки и сжирают язык.

Клетка приближалась, надвигалась на него. Уинстон услышал прерывистый визг, доносившийся словно откуда-то сверху. Но он отчаянно боролся с паникой. Думать, думать, даже в последнюю долю секунды вся надежда — на мысль. Вдруг в нос ударил гнусный звериный запах. Рвотный спазм сдавил горло, и Уинстон едва не

отключился. Все окуталось чернотой. На миг он обезумел, издав животный крик. Но он вынырнул из черноты, ухватившись за идею. Был один-единственный способ спастись. Надо поставить между собой и крысами другого человека, другое человеческое *тело*.

Окружность маски уже заслоняла все вокруг. Решетчатая дверца была в двух пядях от его лица. Крысы знали, что их ждет. Одна из них скакала на месте, другая — шелудивый старожил сточных канав — привстала, держась розовыми лапками за прутья и потягивая носом воздух. Уинстон видел усы и желтые зубы. Снова его захлестнула черная паника. Он был слеп, беспомощен, безумен.

— Такая казнь широко применялась в Императорском Китае, — сказал О'Брайен в своей наставительной манере.

Маска легла Уинстону на лицо. Проволока царапала щеки. Как вдруг — нет, это не было решением, лишь надеждой, слабым проблеском надежды. Пожалуй, уже поздно, слишком поздно. Но он внезапно понял, что во всем мире есть только *один* человек, на которого он мог переложить наказание, *одно* тело, которое он мог впихнуть между собой и крысами. И он неистово закричал,

повторяя на все лады:

— Возьмите Джулию! Возьмите Джулию! Не меня! Джулию! Мне все равно, что вы с ней сделаете. Оторвите ей лицо, обдерите до костей. Не меня! Джулию! Не меня!

Он падал спиной в бездонные глубины, удаляясь от крыс. Он был по-прежнему привязан к креслу, но проваливался сквозь пол, сквозь стены здания, сквозь землю, сквозь океаны, сквозь атмосферу, в космическое пространство, в межзвездные бездны — все дальше, дальше, дальше от крыс. Между ними стояли световые годы, но О'Брайен все так же находился рядом с ним. А щека все так же ощущала холодное прикосновение проволоки. Через тьму, которая его окутала, он услышал еще один металлический щелчок и понял, что дверца клетки не открылась, а закрылась.

VI

«Под каштаном» было почти пусто. Косые лучи солнца падали на пыльные столешницы. Пятнадцать часов — затишье. Телеэкраны издавали отрывистую музыку.

Уинстон сидел в своем обычном углу, уставившись в пустой стакан. Периодически он

поднимал глаза на большущее лицо, смотревшее на него с дальней стены. «БОЛЬШОЙ БРАТ СМОТРИТ ЗА ТОБОЙ», гласила надпись. Сам по себе подошел официант и наполнил стакан джином «Победа», затем добавил несколько капель из другой бутылки с трубочкой сквозь пробку. Жидкий сахарин с ароматом гвоздики, фирменная добавка заведения.

Уинстон слушал телеэкран. Пока звучала только музыка, но в любой момент могли передать особые сводки Министерства мира. Новости с африканского фронта были крайне тревожными. Уинстон весь день переживал. Евразийская армия (Океания воевала с Евразией; Океания всегда воевала с Евразией) продвигалась к югу с пугающей быстротой. В полуденной сводке не назвали конкретного района боевых действий, но, по всей вероятности, бои шли уже в устье Конго. Браззавиль и Леопольдвиль оказались в опасности. Не нужно смотреть на карту, чтобы понять, что это значит. Дело не просто в потере Центральной Африки; впервые за всю войну угроза нависла над территорией самой Океании.

На него то накатывало, то отпускало бурное чувство — не то чтобы страх, а какое-то безотчетное возбуждение. Он перестал думать о войне.

Он теперь не мог подолгу думать о чем-то одном. Он поднял стакан и залпом осушил. Джин, как всегда, отозвался дрожью и даже слабой тошнотой. Мерзкое пойло. Гвоздика с сахарином, и без того порядочная дрянь, не заглушали маслянистого запаха; но хуже всего, что вонь джина, не оставлявшая его ни днем ни ночью, неразрывно связывалась у него с вонью этих…

Он никогда не называл их, даже мысленно, и, насколько это удавалось, старался не вспоминать их облик. Нечто полусознательное — шорох у самого лица, запах, щекотавший ноздри. Джин подействовал, и он рыгнул сквозь синюшные губы. С тех пор как его выпустили, он располнел, и цвет лица восстановился — даже более чем. Черты лица огрубели, нос и скулы стали красными и шершавыми, даже лысина отливала густо-розовым. Снова сам по себе подошел официант и принес шахматную доску и свежий номер «Таймс», открытый на странице с шахматной задачей. Заметив, что стакан Уинстона пуст, он принес бутылку джина и наполнил его. Не надо было ничего заказывать. Здесь отлично знали его предпочтения. Его всегда ждала шахматная доска и столик в углу. И даже когда кафе было переполнено, он сидел в одиночестве, потому что

никто не решался подсаживаться. Он пил и не считал выпитого. Время от времени ему вручали грязную бумажку и говорили, что это счет, но у него сложилось впечатление, что с него берут меньше, чем положено. Впрочем, даже если бы его обсчитывали, его это нисколько не заботило. Он теперь всегда был при деньгах. Ему даже сделали должность — синекуру — и платили больше, чем на прежнем месте.

Музыка с телеэкрана сменилась голосом диктора. Уинстон поднял голову, вслушиваясь. Нет, это не сводка с фронта, а короткое сообщение Министерства изобилия. Сообщалось, что в предыдущем квартале норму Десятой Трехлетки по производству шнурков перевыполнили на девяносто восемь процентов.

Он изучил шахматную задачу и расставил фигуры. Тут было хитрое окончание, задействовавшее пару коней. «Белые начинают и ставят мат в два хода». Уинстон поднял взгляд на портрет Большого Брата. Белые всегда ставят мат, подумал он со смутным мистическим чувством. Всегда, без исключений, так уж заведено. Ни в одной шахматной задаче с начала времен черные никогда не выигрывали. Разве это не символ вечной, неизменной победы Добра над Злом? Огромное

лицо ответило ему спокойным, властным взглядом. Белые всегда ставят мат.

Голос с телеэкрана выдержал паузу и добавил другим, гораздо более серьезным тоном: «Примите к сведению: в пятнадцать тридцать будет передано важное сообщение. В пятнадцать тридцать! Новость чрезвычайной важности. Постарайтесь не пропустить. В пятнадцать тридцать!» Снова заиграла отрывистая музыка.

Сердце Уинстона дрогнуло. Это сводка с фронта. Интуиция подсказывала, что новости будут плохие. Весь день на него накатывала, взвинчивая нервы, мысль о крупном поражении в Африке. Он так и видел, как Евразийская армия пересекает границу, которая всегда была неприкосновенной, наводняя, точно полчища муравьев, оконечность континента. Почему нельзя было ударить их с фланга? Он ясно представлял себе очертания побережья Западной Африки. Взяв белого коня, он двинул его через доску. *Вот* правильный ход. Он видел устремлявшиеся на юг черные орды, но заметил и другое: как у них в тылу тайно скапливаются иные силы, перерезая им коммуникации на суше и на море. Он чувствовал, что своим желанием вызывает эти силы к жизни. Только надо действовать быстро. Если враги захватят

всю Африку, если создадут аэродромы и базы подлодок у мыса Доброй Надежды, Океания окажется разрезанной надвое. Это может означать что угодно: поражение, развал страны, переделку мира, крушение Партии! Он глубоко вздохнул. В нем боролась несусветная мешанина чувств — точнее, даже не мешанина; скорее, чувства его расслоились, и невозможно было сказать, какой слой глубже всех.

Спазм прошел. Он поставил белого коня обратно, но не сразу смог сосредоточиться на шахматной задаче. Мысли опять разбежались. Он почти бессознательно вывел пальцем на пыльной столешнице:

2 x 2 =

«Они не могут влезть в тебя», — сказала она. Но они влезли. «Что случится с вами здесь, останется *навсегда*», — сказал О'Брайен. Это была правда. От каких-то вещей — от своих поступков — никогда нельзя оправиться. Что-то убито в твоей груди, вытравлено, выжжено.

Он виделся с ней; он с ней даже говорил. Никакой опасности. Интуиция подсказывала ему, что теперь он потерял для них почти всякий интерес. Он мог бы договориться с ней о новой

встрече, но ни ему, ни ей этого не хотелось. Они столкнулись в парке. Это случилось промозглым мартовским днем, когда земля была как железо, вся трава казалась мертвой, и нигде не было ни одной зеленой почки, только торчали несколько крокусов, ободранных ветром. Он спешил, руки мерзли, глаза слезились — и вдруг увидел Джулию метрах в десяти. Его сразу поразила в ней какая-то смутная перемена. Они почти разминулись, как чужие, затем он повернулся и пошел за ней без особого желания. Он знал, что ему ничего не грозило, никому до него не было дела. Она ничего не сказала ему, но пошла наискось по траве, как бы пытаясь отделаться от него, а затем, похоже, смирилась с его присутствием. Вскоре они очутились среди голого кустарника, не защищавшего ни от ветра, ни от посторонних глаз. Остановились. Холод стоял зверский. Ветер свистел сквозь ветки и трепал редкие грязные крокусы. Он положил руку ей на талию.

Телеэкранов не было, но где-то скрывались микрофоны; к тому же их могли увидеть. Но это не имело значения, ничто не имело значения. Они могли бы лечь на землю и заняться *этим*, если бы хотели. При мысли о сексе его сковал ужас. Она оставила без внимания его руку, даже

не попыталась высвободиться. И тогда он понял, что в ней изменилось. Лицо ее стало землистым, а через лоб и висок тянулся шрам, прикрытый волосами; но это было не главное. Талия у нее раздалась, и, как ни странно, отвердела. Он вспомнил, как однажды помогал выносить труп из развалин после бомбежки и поразился не столько его тяжести, сколько твердости и неудобству. Казалось, у него в руках не плоть, а камень. Таким же стало ее тело. Он подумал, что и кожа у нее теперь, наверное, не такая, как раньше.

Он не попытался поцеловать ее, и они по-прежнему молчали. Когда они пошли обратно по траве, она впервые взглянула ему в лицо. Этот беглый взгляд был полон презрения и неприязни. Он подумал, вызвана ли эта неприязнь только их прошлым или еще его оплывшим лицом и слезящимися глазами. Они присели на два железных стула, бок о бок, но не слишком близко друг к другу. Он понял, что она сейчас заговорит. Джулия шевельнула несуразной туфлей и нарочно смяла травинку. Он заметил, что ступни у нее тоже располнели.

— Я предала тебя, — сказала она прямо.

— А я — тебя, — отозвался он.

Она снова окинула его неприязненным взгля-

дом.

— Иногда, — продолжила она, — они угрожают тебе чем-то таким… чего ты не можешь вытерпеть, даже подумать не смеешь. И тогда ты говоришь: «Не делайте это со мной, сделайте с кем-то другим, с таким-то». И пусть ты потом притворяешься, что просто схитрила, сказала им, чтобы они перестали, а сама так не думала. Но это неправда. Когда это происходит, ты думаешь именно так. Думаешь, что нет другого способа спастись и согласна спастись таким способом. Ты *хочешь*, чтобы это сделали с другим. Тебе начхать на чужие страдания. Ты думаешь только о себе.

— Думаешь только о себе, — эхом отозвался он.

— А после этого твои чувства к тому человеку уже не те.

— Да, — сказал он, — уже не те.

Больше как будто говорить было не о чем. Ветер приминал тонкие комбинезоны к их телам. Почти сразу молчание стало тягостным; к тому же сидеть без движения было слишком холодно. Она пробормотала, что ей пора на поезд, и встала.

— Нам надо встретиться еще, — сказал он.

— Да, — сказала она, — надо встретиться еще.

Он поплелся за ней, отставая на полшага, решив немного проводить. Они больше не разговарива-

ли. Джулия не пыталась отделаться от него, но шла так быстро, что он не мог поравняться с ней. Он собирался проводить ее до метро, но затем подумал, что тащиться за ней в такой холод — бессмысленное мучение. Ему ужасно захотелось не столько оставить Джулию, сколько поскорее вернуться в кафе «Под каштаном», показавшееся ему как никогда притягательным. Он проникся ностальгией к своему угловому столику с газетами, шахматами и нескончаемым джином. Но главное, там будет тепло. Тут же группка людей, как бы помимо его воли, вклинилась между ними. Он сделал слабую попытку догнать Джулию, но потом замедлил шаг, развернулся и двинулся в другую сторону. Метров через пятьдесят он оглянулся. Народу на улице было немного, но он не мог уже различить ее. Кто угодно из десятка человек, спешащих по тротуарам, мог быть Джулией. Он сомневался, что смог бы узнать со спины ее раздавшуюся огрубевшую фигуру.

«Когда это происходит, — сказала она, — ты думаешь именно так». Он думал именно так. Он не просто сказал то, что сказал, он этого желал. Желал, чтобы ее вместо него отдали на…

Отрывистая музыка с телеэкрана изменилась. В ней зазвучал надтреснутый и глумливый тон,

бульварный тон. А затем — может, этого и не было, может, это просто память сыграла с ним шутку — голос запел:

Под развесистым каштаном
Продали средь бела дня:
Я – тебя, а ты – меня.

На глаза у него навернулись слезы. Проходивший мимо официант заметил, что стакан его пуст, и вернулся с бутылкой джина.

Он поднял напиток и втянул носом воздух. С каждым глотком пойло делалось все более отвратным. Но джин стал частью его существования — его жизнью, его смертью, его воскресением. Именно джин помогал ему проваливаться в забытье по ночам и оживать по утрам. Стоило ему проснуться — обычно после одиннадцати ноль-ноль — со слипшимися веками, пересохшим ртом и словно сломанной спиной, как он понимал, что не встанет без приготовленной с вечера бутылки и чашки. Первую половину дня он сидел с потухшим взглядом и бутылкой под рукой, слушая телеэкран. С пятнадцати часов и до закрытия он прирастал к своему столику в кафе «Под каштаном». Никому теперь не было дела, чем он занимается, его не будил свисток,

не наставлял телеэкран. Пару раз в неделю он наведывался в пыльный заброшенный кабинет в Министерстве правды и немного работал, если можно было назвать это работой. Его назначили в подкомиссию подкомиссии, образованную в одном из множества комитетов, занимавшихся решением мелких проблем, возникавших при составлении одиннадцатого издания словаря новояза. Они трудились над написанием так называемого Предварительного доклада, но о чем именно им следовало доложить, он так и не смог выяснить. Что-то связанное с вопросом, где нужно ставить запятые, — внутри или снаружи скобок. В подкомиссию входило еще четверо человек, и все — вроде него. Бывали дни, когда едва собравшись, они сразу расходились, откровенно признаваясь друг другу, что заниматься им в общем-то нечем. Но случалось, что они брались за работу с налетом энтузиазма, изображая увлеченность от составления протоколов и написания длинных меморандумов, которые они никогда не заканчивали. Они спорили, о чем же они, собственно, спорят, углублялись в запутанные смысловые дебри, изощренно препирались об определениях и делали пространные отступления с руганью и даже угрозами обратиться

в более высокие инстанции. Затем вдруг вся энергия улетучивалась, и они сидели за столом, глядя друг на друга потухшими глазами, словно призраки, исчезавшие с первым криком петуха.

Телеэкран ненадолго смолк. Уинстон снова поднял голову. Сводка! Но нет, просто сменилась музыка. Он видел перед собой карту Африки. Движение армий представлялось ему в виде схемы: черная стрелка устремлялась вниз, на юг, а белая стрелка вбок, на восток, поверх хвоста черной. Словно в поисках поддержки он поднял взгляд на невозмутимое лицо на портрете. Мыслимо ли, чтобы второй стрелки вообще не существовало?

Интерес его опять увял. Хорошенько глотнув джина, он взял белого коня и сделал пробный ход. Шах. Но ход был явно неверный, поскольку…

Непрошеное воспоминание пришло на ум. Он увидел комнату в свете свечи, с огромной кроватью под белым покрывалом, и себя, мальчика лет девяти-десяти, сидящего на полу и трясущего коробочку с костяшками. Он заливисто смеялся. Перед ним сидела мама и тоже смеялась.

Должно быть, до ее исчезновения оставался где-то месяц. Момент примирения, когда он забыл гложущий голод и в нем снова всколыхнулась сыновняя любовь. Он хорошо помнил тот ненаст-

ный, дождливый день, когда по оконной раме струилась вода, и в комнате было слишком темно, чтобы читать. Два ребенка в темной тесной спальне сходили с ума от скуки. Уинстон ныл и капризничал, бестолково требовал еды, слонялся по комнате, стаскивал с места все вещи и пинал стенные панели, пока соседи не застучали в стену, а младшая сестренка то и дело хныкала. В итоге мама сказала: «Давай, будь умницей, и я куплю тебе игрушку. Прекрасную игрушку — ты обрадуешься»; она сбегала под дождем в ближайший магазинчик, который работал время от времени, и вернулась с картонной коробкой. В ней была игра «Змейки и лесенки». Он до сих пор помнил запах влажного картона. Игра имела жалкий вид. Доска вся в трещинах, а крохотные деревянные костяшки до того неровные, что с трудом лежали на одном боку. Уинстон смотрел на игру на-дувшись, без всякого интереса. Но затем мама зажгла свечу, и они уселись на пол играть. Вскоре его захватил азарт, и он заливисто смеялся, наблюдая, как фишки несмело карабкались по лесенкам, а затем съезжали по змейкам чуть ли не до самого старта. Они сыграли восемь конов, выиграв каждый по четыре. Младшая сестренка еще не понимала правил игры, но сидела

у изголовья кровати и тоже смеялась вместе со всеми. До самого вечера они были счастливы, как когда-то в его раннем детстве.

Он отогнал воспоминание. Оно было ложным. Ложная память беспокоила его время от времени. Он знал, что это ничего не значит. Есть вещи реальные, есть — нереальные. Он вернулся к шахматам и снова взялся за белого коня. Почти сразу конь стукнулся о доску. Уинстон вздрогнул, словно его что-то пронзило.

Воздух прорезали фанфары. Это была сводка! Победа! Фанфары перед новостями всегда означали победу. Словно электрический разряд пронесся по кафе. Даже официанты встрепенулись, навострив уши.

Вслед за фанфарами поднялся невообразимый гвалт. С телеэкрана захлебывался возбужденный голос диктора, но слова его тонули в восторженном реве толпы. Новость как по волшебству уже облетела улицы. Уинстон достаточно расслышал диктора, чтобы понять — все произошло именно так, как он предполагал: тайно стянулась огромная морская армада и нанесла удар в тыл противнику. Белая стрелка перерезала хвост черной. Сквозь шум прорывались обрывки восторженных фраз: «Грандиозный стратеги-

ческий маневр… безупречная координация… беспорядочное бегство… полмиллиона пленных… полностью деморализован… контроль над всей Африкой… приблизить завершение войны в обозримом будущем… величайшая победа в истории человечества… победа, победа, победа!»

Ноги Уинстона под столом судорожно дергались. Он не вскочил с места, но в воображении своем бежал, стремительно летел по улицам вместе с толпой, оглушая себя воплями восторга. Он снова поднял взгляд на портрет Большого Брата. Вот он, колосс, вознесшийся над миром! Скала, о которую разбивались азиатские орды! Он подумал, как всего десять минут назад — да, всего десять минут — у него в сердце еще были сомнения и он гадал, что принесут новости с фронта: победу или поражение. Но ныне пала не только Евразийская армия! Многое в нем переменилось с первого дня в Министерстве любви, но окончательная, обязательная, целительная перемена настала лишь сейчас.

Голос диктора продолжал восторженно рассказывать о пленных, трофеях и кровопролитии, но шум на улице понемногу стихал. Официанты вернулись к своим обязанностям. Один из них подошел к Уинстону с бутылкой джина. Но он

сидел в блаженном забытьи и не видел, как ему наполняют стакан. Он уже никуда не бежал, не кричал с толпой. Он снова был в Министерстве любви: ему все простили, душа его бела, как снег. Он сидел на скамье подсудимых, признаваясь во всем и выдавая всех. Он шел по белому кафельному коридору, словно залитому солнцем, а за ним — вооруженный охранник. Мозг ему прошивала долгожданная пуля.

Он поднял взгляд на огромное лицо. Сорок лет ушло на то, чтобы понять, какая улыбка скрывалась в темных усах. О жестокая, напрасная размолвка! О упрямый, своенравный блудный сын! Две слезы, сдобренные джином, скатились по его щекам. Но все хорошо, все хорошо, борьба кончена. Он одержал победу над собой. Он полюбил Большого Брата.

1949

КОНЕЦ

Приложение
Принципы новояза

Новояз, официальный язык Океании, был разработан в соответствии с идеологическими нуждами Ангсоца, или английского социализма. В 1984 году никто еще не пользовался новоязом как единственным средством общения — устного или письменного. На нем писались передовицы «Таймс», но то был *tour de force*[5], под силу лишь специалистам. Ожидалось, что новояз окончательно заменит старояз (или обычный английский в нашем понимании) примерно к 2050 году. Пока же он укреплял свои позиции благодаря стремлению всех членов Партии как можно чаще использовать слова и грамматические конструкции новояза в повседневной речи. Вариант, имевший хождение в 1984 году и закрепленный в девятом и десятом изданиях «Словаря новояза», являлся переходным и содержал много лишних слов и устаревших форм, которые предполагалось постепенно упразднить. Здесь мы рассмотрим

---

[5] Примечания: 5
Tour de force (*фр.*) — подвиг, проявление силы, сложное дело.

окончательный, усовершенствованный вариант, закрепленный в одиннадцатом издании словаря.

Назначение новояза состояло не только в том, чтобы обеспечить выразительными средствами мировоззрение и моральные установки, присущие приверженцам Ангсоца, но и чтобы сделать невозможными все другие способы мышления. Предполагалось, что окончательное утверждение новояза и забвение старояза сделают еретическое мышление — то есть мышление, отклоняющееся от принципов Ангсоца, — буквально немыслимым, во всяком случае в той мере, в какой мышление определяется словами. Словарный состав подобрали таким образом, чтобы придать точное и часто весьма тонкое выражение каждому понятию, которое могло понадобиться члену Партии, отсекая при этом другие значения вместе с возможностью их случайного возникновения. Частично это достигалось образованием новых слов, но главным образом — исключением нежелательных и избавлением оставшихся слов от неортодоксальных и по возможности всех прочих значений. Приведем один пример. В новоязе осталось слово «свободный», но употребить его можно было только в таких выражениях, как: «Свободный ошейник» или «Проезд свободен».

Но не в старом значении, как то: «политическая свобода» или «свобода мысли», поскольку ни то, ни другое не существовало на уровне понятий и, следовательно, не требовало выражения. Помимо избавления от однозначно еретических слов, сокращение словарного запаса рассматривалось как самоцель, и никакое слово, без которого можно было обойтись, не имело права на существование. Новояз был призван не расширить, но *сузить* горизонт мышления, и этой цели способствовало урезание выбора слов до минимума.

За основу новояза был взят английский язык, известный нам сегодня, хотя многие предложения новояза, даже не содержащие новых словообразований, едва ли были бы понятны нашим современникам. Слова новояза подразделялись на три четко очерченных класса: Лексикон А, Лексикон В (также называемый сложносоставным) и Лексикон С. Для удобства лучше рассмотреть каждый из них по отдельности, но в разделе, посвященном Лексикону А, мы также разберем грамматические особенности новояза, поскольку их правила остаются в силе для всех трех категорий.

Лексикон А. Лексикон А состоял из слов, которые использовались в повседневной жизни в

таких областях, как еда, питье, работа, одевание, подъем и спуск по лестнице, поездка в транспорте, садоводство, кулинария и т. п. Почти все эти слова известны нам сегодня — *бить, бежать, собака, дерево, сахар, дом, поле,* — но по сравнению с сегодняшним языком численность их была крайне мала, а значения гораздо конкретнее. Всякая двусмысленность и смысловые оттенки были вычищены. Новоязовские слова этого класса выражали по возможности *одно* общепринятое понятие, а самые распространенные сокращались до одного слога. Использовать Лексикон А в литературных целях, равно как и в политических или философских, не представлялось возможным. Он предназначался для выражения исключительно простых, целенаправленных мыслей, обычно связанных с конкретными объектами или физическими действиями.

Грамматика новояза имела две характерные особенности. Первая из них состояла в почти полной взаимозаменяемости различных частей речи. Любое слово в языке (это принципиально применялось даже к самым абстрактным словам, таким как *если* и *когда*) могло использоваться как глагол, существительное, прилагательное или наречие. Между однокоренными глаголами

и существительными не допускались никакие вариации, что привело к избавлению от многих устаревших форм. Например, в новоязе не было слова *думать*. Его место заняло слово *мысль*, служившее как существительным, так и глаголом. Здесь не соблюдался никакой этимологический принцип: в одних случаях предпочтение отдавалось существительному, в других — глаголу. Даже при наличии близких по смыслу существительного и глагола, не связанных между собой этимологически, оставляли, как правило, что-то одно. Например, было выброшено такое слово, как *резать*, а его значение успешно выражалось существительным-глаголом *нож*. От таких *сущеглагов* путем добавления соответствующих суффиксов образовывались прилагательные и наречия. Так, синонимический ряд *красивый, прекрасный, прелестный, миловидный, дивный, чудесный* сужался до слова *красый* с набором суффиксов. Ряд знакомых нам прилагательных — *хороший, сильный, большой, черный, мягкий* — сохранился, но их общая численность резко сократилась. В них отпала почти всякая надобность, поскольку большинство прилагательных образовывалось добавлением того или иного суффикса к сущеглагу. Из всех наречий сохрани-

лись лишь те, чьи окончания соответствовали новой грамматике; реформа не терпела полумер. Например, слово *припеваючи* было заменено на *хорно*.

Кроме того, любое слово — это опять же принципиально применялось ко всем словам в языке — могло переводиться в отрицательную форму с помощью частицы *не-* или усиливать значение с помощью приставок *плюс—* и *дубльплюс—* для максимальной степени. Так, например, слово *нехолод* означало «тепло», а *плюсхолод* и *дубльплюсхолод* означали, соответственно, «очень холодно» и «крайне холодно». Также было возможно, как и в современном английском, модифицировать значения почти любого слова с помощью иных приставок, таких как *пред-*, *пост-*, *до-*, *от-* и т. п. Такими способами достигалось огромное сокращение словарного запаса. Например, в случае со словом *хороший* не было необходимости в слове *плохой*, поскольку нужное значение давало с равным — и даже с большим — успехом слово *нехор*. Если два слова составляли естественную пару противоположностей, достаточно было решить, какое из них исключить. Например, слово тьма могло быть заменено словом *несвет*, а слово *свет* — словом

нетьма, по предпочтению.

Второй характерной особенностью грамматики новояза было единообразие. За вычетом отдельных случаев, упоминаемых далее, все исключения и разночтения были устранены. Так, исчезла двойная *н (оловяный, деревяный, подлиник)* и двойная *с (сесия, професия, прогресия)*; безударная *о* сменились на *а (малако, шакалат, бальшой); ю* в иностранных словах сменилась на *у (жури, брашура, парашут)* и т. п. Множественное число стали образовывать по одной схеме с помощью окончаний *и* или *ы* у всех существительных (стул — стулы, носок — носоки, пальто — пальты).

Единственными классами слов, для которых допускалось отступление от общих правил, остались местоимения, в том числе притяжательные, указательные прилагательные и модальные глаголы. Все они использовались, как и прежде, кроме форм *нему, ней*, изъятых за ненадобностью, подобным же образом формы *мог бы* и *следует* уступили место формам *может* и *сделает*. Также некоторые вольности допускались при словообразовании, вследствие необходимости быстрой и удобной речи. Слово труднопроизносимое или допускавшее возможность неправильного по-

нимания, считалось *ipso facto* [6] плохим словом; поэтому в некоторых случаях, во имя благозвучия, в слово вставлялись дополнительные буквы или сохранялись устаревшие формы. Но это требовалось главным образом в отношении слов Лексикона В. *Почему* такая огромная важность уделялась легкости произношения, будет разъяснено далее.

Лексикон В. Лексикон В состоял из слов, специально сконструированных для нужд политики, то есть из слов, не только имевших безусловное политическое значение, но и вызывавших в тех, кто их использовал, определенную ментальную установку. Правильное использование этих слов требовало полного понимания принципов Ангсоца. В некоторых случаях их можно было перевести на старояз или даже на слова из Лексикона А, но это обычно требовало длинного парафраза и всегда сопрягалось с потерей смысловых оттенков. Слова В представляли собой что-то вроде вербальной стенограммы, часто вмещавшей целый круг идей в несколько слогов и при этом имевшей более точное и выразительное значение, чем обычный язык.

---

[6] Примечания: 6
Ipso facto — (*лат.*) в силу самого факта, само по себе.

Все слова В были составными. Они состояли из двух и более слов или частей слов [7], составленных в удобопроизносимой форме. Итоговый сплав всегда представлял собой сущеглаг, склонявшийся и спрягавшийся по обычным правилам. Рассмотрим один пример: слово *хоромысль*, означающее в самом общем смысле «правоверность», или, при использовании в качестве глагола, «правоверно мыслить». Это слово *склогается* следующим образом: сущеглаг — *хоромысль*; прошедшее время — *хоромыслил*; причастие прошедшего времени — *хоромысливший*; причастие настоящего времени — *хоромыслящий*; прилагательное — *хоромысленный*; наречие — *хоромысленно*; отглагольное существительное — *хоромысл*.

Слова В конструировались без какого-либо этимологического плана. Исходные слова могли относиться к любой части речи, составляться в любом порядке и препарироваться любым образом для достижения благозвучия при сохранении узнаваемости. Например, в слове *феломыслие* (мыслефелония) *мысль* стоит на втором месте,

---

[7] Примечания: 7

Составные слова, такие как речепис, имелись, разумеется, и в Лексиконе А, но то были просто удобные сокращения, не имевшие особой идеологической окраски. (*Прим. авт.*)

тогда как в слове *мыслепол* (Мыслеполиция) оно на первом, а слово *полиция* сокращено до одного слога. Учитывая большую сложность сохранения благозвучия, отклонения от общих правил встречались в Лексиконе В чаще, чем в Лексиконе А. Например, прилагательными от слов *Миниправ, Минимир* и *Минилюб* были, соответственно, *Миниправный, Минимирный* и *Минилюбный*, просто потому, что — *правый*, — *мирный* и — *любый* имели несколько нелепое звучание. Впрочем, все слова В принципиально могли склогаться — и склогались в обычной манере.

Некоторые слова В несли такие оттенки смысла, которые едва ли можно было уловить, не освоив в полной мере новояз. Взять, к примеру, такое типичное предложение из передовицы «Таймс», как: «Старомыслы не нутрят Ангсоц». Наиболее емкий вариант, в который это можно развернуть на староязе, будет таким: «Те, чье мышление сформировалось до Революции, не могут в полной мере прочувствовать принципы английского социализма». Но этот перевод неадекватен. Прежде всего, чтобы постичь все значение приведенного здесь предложения на новоязе, требуется иметь ясное представление, что же такое *Ангсоц*. К тому же только человек,

по-настоящему укорененный в Ангсоце, мог бы оценить всю мощь слова *нутрить*, означавшего слепое восторженное приятие, с трудом вообразимое сегодня; как и смысл слова *старомысл*, неотделимого от таких понятий, как порок и декаданс. Но особая роль отдельных слов новояза, таких как *старомысл*, состояла не столько в выражении значений, сколько в их уничтожении. Значения этих немногочисленных слов расширялись настолько, что включали в себя целые наборы понятий — это позволяло охватить должным образом все смыслы одним всеобъемлющим термином, а затем отбросить их и забыть. Величайшей трудностью, с которой сталкивались составители Словаря новояза, было не изобретение новых слов, а определение их значения с целью решить, отмену каких групп слов оправдывает их существование.

Как мы уже видели на примере слова *свободный*, слова, имевшие когда-то еретическое значение, иногда сохранялись из соображений удобства, но прежде очищались от нежелательных значений. Множество слов — в их числе *честь*, *справедливость*, *мораль*, *интернационализм*, *демократия*, *наука* и *религия* — просто перестали существовать. Их покрывали несколько обобщающих слов,

тем самым оправдывая их отмену. Например, все слова, группировавшиеся вокруг понятий свободы и равенства, выражались одним словом *мыслефелония*, а слова, группировавшиеся вокруг понятий объективности и рационализма, содержались в одном слове *старомысл*. Более высокая точность была нежелательна. Член Партии по своим воззрениям напоминал древнего еврея, знавшего, не вдаваясь в детали, что все нации, кроме его собственной, превозносили «ложных богов». Ему не нужно было знать, что эти боги назывались Ваал, Осирис, Молох, Астарта и т. п.; чем меньше он знал о них, тем крепче, по всей вероятности, была его правоверность. Он знал Иегову и заветы Иеговы, из которых следовало, что все другие боги, с другими именами и атрибутами, являлись ложными. Примерно так же член Партии знал, в чем состояло примерное поведение, но крайне смутно, лишь в общих чертах представлял, какие отклонения от него возможны. Например, его сексуальная жизнь всецело регулировалась двумя словами новояза: *сексфелония* (сексуальная безнравственность) и *хоросекс* (целомудрие). *Сексфелония* охватывала все возможные нарушения в сексуальной сфере, как то: распущенность, неверность, гомосексу-

альность и прочие извращения, а также обычное совокупление, но практикуемое как самоцель. Незачем было перечислять их по отдельности, поскольку все они были равно преступны и все принципиально карались смертью. В лексиконе С, состоявшем из научных и технических слов, могла возникать необходимость давать специальные названия некоторым сексуальным отклонениям, но рядовому гражданину они были ни к чему. Он знал, что значит *хоросекс*, то есть обычное совокупление между мужем и женой с единственной целью зачатия детей и без физического удовольствия со стороны женщины; все прочее причислялось к *сексфелонии*. В новоязе редко удавалось проследить еретическую мысль дальше самой идеи, что она *еретична*; за этой чертой отсутствовали нужные слова.

Ни одно слово в Лексиконе В не было идеологически нейтральным. Огромное множество составляли эвфемизмы. Например, такие слова, как *лаград* (лагерь радости, он же каторжный лагерь) или *Минимир* (Министерство мира, оно же Министерство войны), означали свою почти полную противоположность. С другой стороны, некоторые слова отражали откровенное и презрительное понимание подлинной природы

общества Океании. Возьмем для примера слово *пролпит*, обозначавшее грубые развлечения и псевдоновости, которыми Партия питала массы. Другие слова опять-таки были двусмысленны: с «хорошим» оттенком применительно к Партии и с «плохим» применительно к ее врагам. Кроме того, существовало множество слов, которые на первый взгляд казались простыми сокращениями. Они получили идеологическую окраску не по смыслу, а по своей структуре.

Насколько это было достижимо, все, что имело или могло иметь хоть сколь-нибудь политическое значение, входило в Лексикон В. Названия всех организаций, сообществ, доктрин, стран, институтов и общественных зданий неукоснительно составлялись по знакомой схеме, бравшей за основу одно легко произносимое и как можно более короткое слово, сохраняя связь с исходным словосочетанием. Например, Отдел документации Министерства правды, в котором работал Уинстон Смит, назывался *докот*; Художественный отдел — *худот*; Отдел телепрограмм — *телот* и т. д. Это делалось не только из соображений краткости. Даже в первые десятилетия двадцатого века политическую речь отличали, в числе прочего, спресованные

слова и выражения. Следует также отметить, что наиболее отчетливо тенденция к использованию подобных сокращений проявилась в тоталитарных странах и организациях. Возьмем для примера такие слова, как *нацi, гестапо, коминтерн, инпрекорр, агитпроп*. Первое время практика носила инстинктивный характер, но в новоязе она применялась целенаправленно. Было установлено, что такое сокращение названия сужает и неуловимо меняет его значение, заодно обрезая большую часть ассоциативных связей, неизбежных в ином случае. Например, слова *коммунистический интернационал* вызывают в сознании мозаику из образов всеобщего человеческого братства, красных флагов, баррикад, Карла Маркса и Парижской коммуны. Тогда как слово *коминтерн* отсылает лишь к крепко спаянной организации с четко обозначенной доктриной. Образ этого слова почти столь же однозначен и ограничен в использовании, как в случае слов *стул* или *стол*. Слово *коминтерн* почти не требует работы мысли, тогда как словосочетание *коммунистический интернационал* заставляет хотя бы на миг задуматься. Подобным же образом, ассоциации от слова *Миниправ* малочисленней и легче контролируются, чем те, что

вызывает *Министерство правды*. В этом проявляется не только склонность сокращать все, что только можно, но и почти чрезмерная забота о легкости произношения.

В новоязе соображение благозвучия уступает лишь смысловой точности. Грамматическое единообразие приносилось в жертву при всякой необходимости. И не без основания, ведь политические цели требуют в первую очередь краткости и ясности, чтобы слова произносились быстро и не смущали говорящих оттенками смысла. Поэтому единообразие большей части слов Лексикона В только прибавляло им значимости. Почти неизбежно эти слова — *хоромысл, Минимир, пролпит, сексфелония, лаград, Ангсоц, нутрить, мыслепол* и бессчетное множество других — отличались краткостью, а ударение почти всегда падало на первый и последний слог. Все это побуждало говорить скороговоркой, отрывисто и монотонно. Как раз это и требовалось. Задача новояза заключалась в том, чтобы речь по возможности не зависела от сознания, а в особенности речь на любую тему с идеологическим подтекстом. В повседневной жизни само собой хотя бы иногда требуется думать, прежде чем что-то сказать, но если к члену Партии обращались с вопросом по-

литического или этического свойства, он должен был выдавать правильные суждения автоматически, как пулемет — пули. Партийцев этому обучали, а новояз предоставлял почти безотказный инструментарий. Словесная текстура, грубая на слух и нарочито корявая в согласии с духом Ангсоца, еще более тому способствовала.

Как и то обстоятельство, что выбор слов был крайне невелик. Скудный по сравнению с нашим словарный запас новояза постоянно сокращался. В самом деле, новояз отличался от большинства других языков уменьшением, а не увеличением словарного запаса с каждым годом. Каждое сокращение становилось достижением, поскольку чем меньше выбор слов, тем меньше искушение задумываться. Конечная цель состояла в том, чтобы членораздельная речь возникала в гортани, минуя высшие нервные центры. Эта цель откровенно признавалась в новоязовском слове *гусояз*, означающем «гогочущий, как гусь». Как и многие слова Лексикона В, *гусояз* имел двусмысленное значение. Если *гусоязили* в правоверном смысле, это было не чем иным, как похвалой, и когда «Таймс» называла партийного оратора *дубльплюсхор гусоязом*, она тем самым делала ему лестный комплимент.

Лексикон С. Лексикон С был вспомогательным и целиком состоял из научных и технических терминов. Они напоминали сегодняшние научные термины и образовывались от тех же корней, но на них налагались обычные смысловые ограничения, отсекавшие нежелательные значения. Грамматически они подчинялись тем же правилам, что и слова двух других лексиконов. Очень немногие слова С имели хождение в повседневной или политической речи. Любой научный работник или технолог мог найти все нужные ему слова в особом перечне, посвященном его специальности, но ему редко удавалось обнаружить обрывки слов из других списков. Лишь очень немногие слова встречались во всех перечнях, и не было лексикона, определявшего функцию науки в качестве мировоззрения или метода мышления безотносительно отдельных отраслей. Более того, в новоязе не было самого слова «наука», а все его возможные значения должным образом выражались словом *Ангсоц*.

Из вышесказанного следует, что выражение на новоязе неправоверных мнений за исключением самого примитивного уровня, было практически невозможно. Конечно, можно было ляпнуть какую-нибудь низкопробную ересь, нечто вроде

богохульства. Можно было, например, сказать: «Большой Брат нехор». Но для правоверного уха подобное заявление показалось бы не более чем самоочевидным абсурдом, который нельзя подкрепить разумными доводами из-за отсутствия нужных слов. Враждебные Ангсоцу идеи могли всплывать в сознании лишь в смутной бессловесной форме, и обозначить их можно было лишь в самых общих понятиях, клеймивших все ереси разом, не давая им определений. Теоретически использовать новояз для неправоверных целей можно было только путем незаконного перевода отдельных слов обратно на старояз. К примеру, новояз позволял сказать: «Все люди равны», но только подобно тому, как старояз говорил: «Все люди рыжие». Грамматически все верно, но это очевидная неправда, а именно, что все люди равны по росту, весу и силе. Такого понятия, как политическое равенство, больше не существовало, а значит, это вторичное значение слова «равенство» было вычищено. В 1984 году, когда старояз еще оставался нормативным средством общения, существовала теоретическая опасность, что кто-то мог вспомнить исходные значения слов, пользуясь новоязом. Но на практике любому человеку, укорененному в *двоемыслии*,

несложно было этого избежать, а через пару поколений предполагалось, что сама возможность такой опасности исчезнет. Человек, не знавший с рождения другого языка кроме новояза, не мог подумать, что «равенство» когда-то имело вторичное значение *политического равенства* или что свобода могла быть *интеллектуальной*, так же как человек, никогда не слышавший о шахматах, не мог знать о вторичных значениях слов «королева» и «ладья». Он был застрахован от многих преступлений и ошибок, просто потому что у них не было названий, а значит, они были за гранью воображения. Ожидалось также, что со временем отличительные особенности новояза станут проявляться все отчетливей: словарный запас будет неуклонно сокращаться, значения слов будут упрощаться, а возможность их ненадлежащего использования устремится к нулю.

После окончательного упразднения старояза должна была порваться последняя связь с прошлым. Историю уже давно переписали, но кое-где еще сохранялись фрагменты литературы прошлого, упущенные цензурой, а пока хоть кто-то сохранял знание старояза, сохранялась и возможность их прочесть. В будущем подобные фрагменты, даже если бы они и сохранились,

стали бы непонятными и не поддающимися переводу. Перевести что-либо со старояза на новояз было невозможно, если только это не касалось какого-то технического процесса, простейшего бытового действия или чего-то, так или иначе тяготевшего к правоверности (*хоромысленного*, как сказали бы на новоязе). На деле это означало, что никакую книгу, написанную приблизительно до 1960 года, невозможно было перевести полностью. Дореволюционная литература могла быть предметом только идеологического перевода, когда с заменой языка заменялся и сам смысл. Возьмем для примера известный фрагмент Декларации независимости:

«Мы исходим из самоочевидных истин, что все люди сотворены равными и наделены своим творцом определенными неотъемлемыми правами, к которым принадлежат жизнь, свобода и стремление к счастью. Для защиты этих прав люди учреждают правительства, черпающие свои полномочия в согласии управляемых. Всякий раз, когда та или иная форма правительства становится губительной для этих целей, народ вправе изменить или свергнуть его и учредить новое правительство…»

Передать это на новоязе с сохранением исход-

ного смысла не представлялось возможным. Наиболее осуществимым вариантом стало бы втиснуть весь абзац в одно слово — *феломыслие*. Полный перевод мог быть только идеологическим, при котором слова Джефферсона превратились бы в панегирик абсолютной власти.

Заметим, к слову, что значительную часть литературы прошлого уже переработали подобным образом. Из соображений престижа желательно было сохранить память о некоторых исторических фигурах, при этом приведя их сочинения в согласие с философией Ангсоца. Поэтому предпринимались переводы таких писателей, как Шекспир, Мильтон, Свифт, Байрон, Диккенс и некоторых других; по завершении этих трудов исходные сочинения, как и все, что сохранилось от литературы прошлого, подлежали уничтожению. Это была трудная и кропотливая работа, и ожидалось, что она завершится не ранее чем в первых десятилетиях двадцать первого века. Кроме того, имелись значительные объемы чисто прикладной литературы — обязательных технических руководств и т. п. — которые требовали аналогичного подхода. Собственно, трудоемкость предварительных работ по переводу и стала главным фактором, потребовавшим отложить

окончательный переход на новояз до 2050 года.

КОНЕЦ
1949